

*НОВЫЙ
Журнал*

85

*THE NEW
REVIEW*

STATEMENT OF OWNERSHIP, MANAGEMENT AND CIRCULATION

(Act of October 23, 1962: Section 4369, Title 39, United States Code)

1. Date of Filing—Oct. 1, 1966.
2. Title of Publication—The New Review.
3. Frequency of issue—4 issues yearly (March, June, September, December).
4. Location of known office of publication—2700 Broadway, New York, N. Y. 10025.
5. Location of the headquarters of general business offices of the publishers—2700 Broadway, New York, N. Y. 10025.
6. Names and addresses of Publisher, Editor and Managing Editor—

Publisher, New Review, Inc., 2700 Broadway, New York, N. Y. 10025; Editor, Prof. Nicolas S. Timasheff, 140 West 86 St., New York, N. Y. 10024; Managing Editor, Roman B. Goul, 506 West 113th St., New York, N. Y. 10025.

7. Owner (If owned by a corporation, its name and address must be stated and also immediately thereunder the names and addresses of stockholders owning or holding 1 percent or more of total amount of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the individual owners must be given. If owned by a partnership or other unincorporated firm, its name and address, as well as that of each individual must be given).

New Review, Inc. No stocks. 2700 Broadway, New York, N. Y. 10025; President, Nicolas S. Timasheff, 140 West 86 St., New York, N. Y. 10024; Secretary, Alexis Goldenweiser, 523 West 112 St., New York, N. Y. 10025; Treasurer, David Shub, 920 Riverside Drive, New York, N. Y. 10032.

8. Known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of bonds, mortgages, or other securities (If there are none, so state).—None.

9. Paragraphs 7 and 8 include, in cases where the stockholders or security holder appears upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, the name of the person or corporation for whom such trustee is acting, also the statements in the two paragraphs show the affiant's full knowledge and belief as to the circumstances and conditions under which stockholders and security holders who do not appear upon the books of the company as trustees, hold stock and securities in a capacity other than that of a bona fide owner. Names and addresses of individuals who are stockholders of a corporation which itself is a stockholder or holder of bonds, mortgages or other securities of the publishing corporation have been included in paragraphs 7 and 8 when the interests of such individuals are equivalent to 1 percent or more of the total amount of the stock or securities of the publishing corporation.

10. This item must be completed for all publications except those which do not carry advertising other than the publisher's own and which are named in sections 132.231, 132.232, and 132.233, Postal Manual.

	<i>Average No. copies each issue during preced- ing 12 months</i>	<i>Single issue nearest to filing date</i>
A. Total No. copies printed	1300	1300
B. Paid circulation		
1. Sales through dealers and carriers, street vendors and counter sales	405	380
2. Mail subscriptions	856	856
C. Total paid circulation	1261	1236
D. Free distribution/including samples/by mail, carrier or other means	35	40
E. Total distribution/sum of C and D/	1296	1276
F. Office use, left-over, unaccounted spoiled after printing	4	23
G. Total/sum of E & F—should equal net press run shown in A/	1300	1300
I certify that the statements made by me above are correct and complete. Roman Goul, Managing Editor		

THE
NEW REVIEW
Новый Журнал

Основатели
М. Алданов и М. Цетлин

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович
С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

Двадцать пятый год издания

РЕДАКТОР: РОМАН ГУЛЬ

СЕКРЕТАРЬ: З. О. ЮРЬЕВА

NEW REVIEW, December 1966

Quarterly, No. 85

2700 Broadway, New York, N. Y. 10025

Subscription Price \$9. — for one year

Publisher: New Review, Inc.

Second Class Mail postage paid

at New York, N. Y.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>В. Шаламов</i> — Колымские рассказы	5
<i>Н. Моршен</i> — Стихи	35
<i>Г. Адамович</i> — Начало повести	40
<i>И. Елагин</i> — Четыре угла	49
<i>Н. Ульянов</i> — Русская сказка	54
<i>Н. Юрлова</i> — Стихи	65
<i>Л. Алексеева</i> — Стихи	67
<i>С. Карлинский</i> — Вещественность Анненского	69
<i>Д. Кленовский</i> — Стихи	80
<i>Н. Берберова</i> — Советская критика сегодня	82
<i>Г. Глинка</i> — Стихи	107
<i>Р. Плетнев</i> — О лирике Тютчева	109
<i>Я. Бергер</i> — Стихи	127
ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:	
<i>Письма Н. Телешова к И. Бунину</i>	129
<i>А. Левитин и В. Шавров</i> — Очерки по истории русской церковной смуты	141
<i>И. Ильин</i> — На службе у японцев	179
ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:	
<i>Г. Ловцкий</i> — Философ библейского откровения	207
<i>Из записной тетради Н. А. Бердяева</i>	231
<i>Н. Тимашев</i> — Как я стал социологом	242
<i>Д. Анин</i> — Юбилейные размышления	251
ПАМЯТИ УШЕДШИХ:	
<i>Р. Гуль</i> — Вера Александрова	261
СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ:	
<i>Т. Чугунов</i> — Эксплоатация рабочих в СССР. <i>Н. Валентинов</i> — Встреча с Б. Савинковым. <i>А. Кашина-Еврейнова</i> — Найденое письмо П. И. Чайковского. <i>С. Зауер</i> — М. Михайлов. <i>Р. П.</i> — Заметки	263
БИБЛИОГРАФИЯ:	
<i>А. Небольсин</i> — Две книги о Достоевском. <i>D. Fanger. Do-stoyevsky and Romantic Realism. R. Jackson. Dostoyevsky's Quest for Form.</i> <i>В. Завалишин</i> — Ю. Анненков. Дневник моих встреч. <i>Г. Керн</i> — В. Каверин. Здравствуй, брат, писать очень трудно. <i>Прот. Д. Константинов</i> — Арх. Иоанн Сан-Францисский. Листья древа. <i>Сотник</i> — Н. Туроверов. Стихи. <i>Я. Гурский</i> — А. Кокорев. Хрестоматия по русск. лит. 18 в. <i>С. Крыжицкий</i> — Е. Kostka. Schiller in Russian Literature. <i>К. Вершинин</i> — Тарсис и эмиграция. — <i>Письма в редакцию</i>	282

КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗЫ*

СЕНТЕНЦИЯ

Надежде Яковлевне Мандельштам.

Люди возникали из небытия — один за другим. Незнакомый человек ложился по соседству со мной на нары, приваливался ночью к моему костлявому плечу, отдавая свое тепло — капли тепла, и получая взамен мое. Были ночи, когда никакого тепла не доходило до меня сквозь обрывки бушлата, телогрейку, и по-утру я глядел на соседа, как на мертвеца, и чуть-чуть удивлялся, что мертвец жив, встает по окрику, одевается и выполняет покорно команду. У меня было мало тепла. Немного мяса осталось на моих костях. Этого мяса было достаточно только для злости — последнего из человеческих чувств. Не равнодушие, а злость была последним человеческим чувством, — тем, которое ближе к костям. Человек, возникший из небытия исчезал днем — на угольной разведке было много участков — и исчезал навсегда. Я не знаю людей, которые спали рядом со мной. Я никогда не задавал им вопросов и не потому, что следовал арабской пословице: «Не спрашивай и тебе не будут лгать». Мне было все равно — будут мне лгать или не будут, я был вне правды, вне лжи. У блатных на сей предмет есть жесткая поговорка, пронизанная глубоким пре-

* Рукопись этих рассказов мы получили с оказией из СССР. Автор их В. Т. Шаламов, поэт и прозаик, проведенный в концентрационных лагерях около 20 лет. Мы печатаем «Колымские рассказы» без согласия и ведома автора. В этом мы приносим В. Т. Шаламову наши извинения. Но мы считаем нашей общественной обязанностью опубликовать «Колымские рассказы», как человеческий документ исключительной ценности. Первый рассказ «Сентенция» посвящен Н. Я. Мандельштам — жене погибшего в концлагере поэта Осипа Мандельштама. РЕД.

зрением к задающему вопрос: «Не веришь — прими за сказку». Я не расспрашивал и не выслушивал сказок.

Что оставалось со мной до конца? — Злоба. И, храня эту злобу, я рассчитывал умереть. Но смерть, такая близкая совсем недавно, стала понемногу отодвигаться. Не жизнью была замещена смерть, а полусознанием, существованием, которому нет формул и которое не может называться жизнью. Каждый день, каждый восход солнца приносил опасность нового, смертельного толчка. Но толчка не было. Я работал кипятильщиком — легчайшая из всех работ, легче, чем быть сторожем, но я не успевал нарубить дров для «Титана», кипятильника системы «Титан». Меня могли выгнать — но куда? Тайга далеко, поселок наш, «командировка» по-колымскому, — это как остров в таежном мире. Я еле таскал ноги, расстояние в двести метров от палатки до работы казалось мне бесконечным, и я не один раз садился отдыхать. Я и сейчас помню все выбоины, все ямы, все рытвины на этой смертной тропе; ручей, перед которым я ложился на живот и лакал холодную вкусную целебную воду. Двуручная пила, которую я таскал то на плече, то волоком, держа за одну ручку, казалась мне грузом невероятной тяжести.

Я никогда не мог вовремя вскипятить воду, добиться, чтобы «Титан» закипал к обеду.

Но никто из рабочих — из вольняшек, — все они были вчерашними заключенными, не обращал внимания, кипела ли вода или нет. Колыма научила нас всех различать питьевую воду только по температуре. Горячая, холодная, а не кипячая и сырая.

Я ел, равнодушно стараясь съесть все, что попадалось на глаза, — обрезы, обломки съестного, прошлогодние ягоды на болоте.

В палатке нашей было два ружья, два дробовика. Куропатки не боялись людей, и первое время птицу били прямо с порога палатки. Добыча запекалась целиком в золе костра или варилась, когда очищалась бережно. Пух-перо — на подушку, — тоже коммерция, верные деньги — приработок вольных хозяев ружей и таежных птиц. Выпотрошенные, ошипанные

куропатки варились в консервных банках трехлитровых, подвешенных к кострам. От этих таинственных птиц я никогда не находил никаких остатков. Голодные вольные желудки мельчили, мололи все птичьим кости без остатка. Это тоже было одно из чудес тайги.

Я никогда не попробовал ни кусочка от этих куропаток. Мое — были ягоды, корни травы, пайка. И я — не умирал. Я стал все более равнодушно, без злобы, смотреть на холодное красное солнце, на горы-гольцы, где все: скалы, повороты ручья, лиственницы, тополя — было угловатым и недружелюбным. По вечерам с реки поднимался холодный туман — и не было часа в таежных сутках, когда мне было бы тепло.

Отмороженные пальцы рук и ног ныли, гудели от боли. Ярко-розовая кожа пальцев так и оставалась розовой, легко ранимой. Пальцы были вечно замотаны в какие-то грязные тряпки, оберегая руку от новой раны, от боли, но не от инфекции. Из больших пальцев на обеих ногах сочился гной, и не было гною конца.

Меня будили ударом в рельс. Ударом в рельс снимали с работы. После еды я сразу ложился на нары, не раздеваясь, конечно, и засыпал. Палатка, в которой я спал, и жил, виделась мне как сквозь туман — где-то двигались люди, слышалась громкая матерная брань, возникали драки, наступало мгновенно безмолвие перед опасным ударом. Драки быстро угасали — сами по себе, — никто не удерживал, не разнимал, просто глохли моторы драки и наступала ночная холодная тишина с бледным высоким небом сквозь дырки брезентового потолка, с храпом, хрипом, стонами, кашлем и беспамятной руганью спящих.

Однажды ночью я ощутил, что слышу эти стоны и хрипы. Ощущение было внезапным, как озарение, и не обрадовало меня. Позднее, вспоминая эту минуту удивления, я понял, что потребность сна, забытья, беспамятства стала меньше — я «выспался», — как говорил Моисей Моисеевич Кузнецов, наш кузнец, умница из умниц.

Появилась настойчивая боль в мышцах. Какие уж у меня были тогда мышцы — не знаю, но боль в них была, злила

меня, не давала отвлечься от тела. Потом появилось у меня нечто иное, чем злость или злоба. Появилось равнодушие — бесстрашие. Я понял, что мне все равно — будут меня бить или нет, будут давать обед и «пайку» — или нет. И хотя в разведке, на бесконвойной командировке, меня не били — бьют только на приисках, — я, вспоминая прииск, мерил свое мужество мерой прииска. Этим равнодушием, этим бесстрашием был переброшен мостик какой-то от смерти. Сознание, что бить здесь не будут, не бьют, рождало новые силы, новые чувства.

За равнодушием пришел страх — не очень сильный страх — боязнь лишиться этой спасительной жизни, этой спасительной работы кипятильщика, высокого холодного неба и ноющей боли в изношенных мускулах. Я понял, что боюсь уехать отсюда на прииск. Боюсь, и все. Я никогда не искал лучшего от хорошего в течение всей своей жизни. Мясо на моих костях день ото дня росло. Зависть — вот как называлось следующее чувство, которое вернулось ко мне. Я позавидовал мертвым своим товарищам — людям, которые погибли в тридцать восьмом году. Я позавидовал и живым соседям, которые что-то жуют, соседям, которые что-то закуривают. Я не завидовал начальнику, прорабу, бригадиру — это был другой мир.

Любовь не вернулась ко мне. Ах, как далека любовь от зависти, от страха, от злости. Как мало нужна людям любовь. Любовь приходит тогда, когда все человеческие чувства уже вернулись. Любовь приходит последней, возвращается последней, да и возвращается ли она? Но не только равнодушие, зависть и страх были свидетелями моего возвращения к жизни. Жалость к животным вернулась раньше, чем жалость к людям.

Как самый слабый в этом мире шурфов и разведочных канав, я работал с топографом — таскал за топографом рейку и теодолит. Бывало, что для скорости передвижения топограф прилаживал ремни теодолита за свою спину, а мне доставалась только легчайшая раскрашенная цифрами рейка. Топограф был из заключенных. С собой для смелости — тем летом было много беглецов в тайге — топограф таскал мелкокалиберную винтовку, выпросив оружие у начальства. Но винтовка нам

только мешала. И не только потому, что была лишней вещью в нашем трудном путешествии. Мы сели отдохнуть на поляне и топограф, играя мелкокалиберной, прицелился в красногрудого снегиря, подлетевшего рассмотреть поближе опасность, увести в сторону. Если надо — пожертвовать жизнью. Самочка снегиря сидела где-то на яйцах — только этим и объяснялась безумная смелость птички. Топограф вскинул винтовку, и я отвел ствол в сторону.

Убери ружье!

— Да ты что? С ума сошел?

— Оставь птицу и всё.

— Я начальнику доложу.

— Черт с тобой и с твоим начальником.

Но топограф не захотел ссориться и ничего начальнику не сказал. Я понял: что-то важное вернулось ко мне.

Не один год я не видел газет и книг и давно выучил себя не сожалеть об этой потере. Все пятьдесят моих соседей по палатке, по брезентовой рваной палатке, чувствовали так же — в нашем бараке не появилось ни одной газеты, ни одной книги. Высшее начальство — прораб, начальник разведки, десятник — спустились в наш мир без книг.

Язык мой, приисковый грубый язык, был беден — как бедны были чувства, еще живущие около костей. Подъем, развод по работам, обед, конец работы, отбой, гражданин начальник, разрешите обратиться, лопата, шурф, слушаюсь, бур, кайло, на улице холодно, дождь, суп холодный, суп горячий, хлеб, пайка, оставь покурить — двумя десятками слов обходился я не первый год. Половина из этих слов была ругательствами. Богатство русской ругани, ее неисчерпаемая оскорбительность, раскрылись передо мной не в детстве и не в юности. Но я не искал других слов. Я был счастлив, что не должен искать какие-то другие слова. Существуют ли эти другие слова, я не знал. Не умел ответить на этот вопрос.

Я был испуган, ошеломлен, когда в моем мозгу, вот тут — я это ясно помню — под правой теменной костью — родилось слово вовсе не пригодное для тайги, слово, которого

и сам я не понял, не только мои товарищи. Я прокричал это слово:

— Сентенция! Сентенция!

Я захохотал.

— Сентенция! — кричал я прямо в северное небо, в двойную зарю, еще не понимая значения этого родившегося во мне слова. А если это слово возвратилось — тем лучше! Великая радость переполнила меня.

Сентенция!

Вот псих!

Псих и есть! Ты — иностранец, что-ли? — язвительно спрашивал горный инженер Вронский, тот самый Вронский. Три табачинки.

— Вронский, дай закурить.

Нет, у меня нету.

— Ну, хоть три табачинки.

— Три табачинки? Пожалуйста.

Из кисета полного махорки извлекались грязным ногтем три табачинки.

— Иностранец? — Вопрос переводил нашу судьбу в мир провокаций и доносов, следствий, и добавок срока.

Но мне не было дела до провокационного вопроса Вронского. Находка была огромной.

Чувство злости — последнее чувство, с которым человек уходил в небытие, в мертвый мир. Мертвый ли? Даже камень не казался мне мертвым, не говоря уже о траве, деревьях, реке. Река была не только воплощением жизни, не только символом жизни, но и самой жизнью. Ее вечное движение, покой, неумолчный, свой какой-то разговор, свое дело, которое заставляет воду бежать вниз по течению сквозь встречный ветер, пробиваясь сквозь скалы, пересекая степи, луга. Река, которая меняла высушенное солнцем, обнаженное русло и чуть-чуть видной водной ниточкой пробираясь где-то в камнях, повинуюсь извечному своему долгу, ручейком, потерявшим надежду на помощь неба — на спасительный дождь. Первая гроза, первый ливень — и вода меняла берега, ломала ска-

лы, кидала вверх деревья и бешено мчалась вниз той же самой вечной своей дорогой...

Сентенция! Я сам не верил себе, боялся, засыпая, что за ночь это вернувшееся ко мне слово исчезнет. Но слово не исчезало.

Неделю я не понимал, что значит слово «сентенция». Я шептал его, пугал и смешил им соседей. Я хотел разгадки, объяснения, перевода...

Прошло много дней, пока я научился вызывать из глубины мозга все новые и новые слова, одно за другим. Каждое приходило с трудом, каждое возникало внезапно и отдельно. Мысли и слова не возвращались потоком. Каждое возвращалось поодиночке, без конвоя других знакомых слов и возникало раньше на языке, а потом — в мозгу.

А потом настал день, когда все, все пятьдесят рабочих бросили работу и побежали в поселок, к реке, выбираясь из своих шурфов, канав, бросая недопиленные деревья, недоваренный суп в котле. Все бежали быстрее меня, но и я доковылял вóвремя, помогая себе в этом беге с горы руками.

Из Магадана приехал начальник. День был ясный, горячий, сухой. На огромном лиственном пне, что у входа в палатку, стоял патефон. Патефон играл, преодолевая шипенье иглы, играл какую-то симфоническую музыку.

И все стояли вокруг — убийцы и конокрады, блатные и фраера, десятники и работяги. И начальник стоял рядом. И выражение лица у него было такое, будто он сам написал эту музыку для нас, для нашей глухой таежной командировки.

ПОСЫЛКА

Посылки выдавали на вахте. Бригадиры удостоверяли личность получателя. Фанера ломалась и трескала по-своему, по-фанерному. Здешние деревья ломались не так, кричали не таким голосом. За барьером из скамеек люди с чистыми руками в чересчур акуратной военной форме вскрывали, проверяли, встряхивали, выдавали. Ящики посылок, едва живые от многомесячного путешествия, подброшенные умело, падали на пол, раскалывались. Куски сахара, сушеные фрукты, за-

гнивший лук, мятые пачки махорки разлетались по полу. Никто не подбирал рассыпанное. Хозяева посылок не протестовали — получить посылку было чудом из чудес.

Возле вахты стояли конвоиры с винтовками в руках — в белом морозном тумане двигались какие-то незнакомые фигуры.

Я стоял у стены и ждал очереди. Вот эти голубые куски — это не лед! Это — сахар! Сахар! Сахар! Пройдет еще час, и я буду держать в руках эти куски, и они будут таять. Они будут таять только во рту. Такого большого куска не хватит на два раза, на три раза.

А махорка! Собственная махорка! Материковская махорка, Ярославская «белка» или Кременчуг № 2. Я буду курить, буду угощать всех, всех, всех, а прежде всего тех, у кого я докуривал весь этот год. Материковская махорка! Нам ведь давали в пайке табак, снятый по срокам хранения с армейских складов — авантюра гигантских масштабов — на лагерь списывалось все из продуктов, что вылежали «срок хранения». Но сейчас я буду курить настоящую махорку. Ведь если жена не знает, что нужна махорка покрепче, ей подскажут.

— Фамилия?

Посылка треснула, и из ящика высыпался чернослив. А где же сахар? Да и чернослива — две-три горсти...

— Тебе бурки! Летчицкие бурки! Ха-ха-ха! С каучуковой подошвой! Ха-ха-ха! Как у начальника прииска! Держи, принимай!

Я стоял растерянный. Зачем мне бурки? В бурках здесь можно ходить только по праздникам — праздников-то и не было. Если б оленьи пимы, торбаза или обыкновенные валенки. Бурки это чересчур шикарно... это — не подобает. При- том...

— Слышь ты, — чья-то рука тронула мое плечо.

Я повернулся так, чтобы было видно и бурки, и ящик, на дне которого было немного чернослива, и начальство, и лицо того человека, который держал мое плечо. Это был Андрей Бойко, наш горный смотритель.

А Бойко шептал торопливо:

— Продай мне эти бурки. Я тебе денег дам. Сто рублей. Ты ведь до барака не донесешь — отнимут, вырвут эти, — и Бойко ткнул пальцем в белый туман. — Да и в бараке украдут. В первую ночь.

«Сам же ты и подошлешь», подумал я. — Ладно, давай деньги.

— Видишь, какой я! — Бойко отсчитывал деньги. — Не обманываю тебя, не как другие. Сказал сто, и даю сто. — Бойко боялся, что переплатил лишнего.

Я сложил грязные бумажки вчетверо, восьмеро, и упрятал в брючный карман. Чернослив пересыпал из ящика в бушлат — карманы его давно были вырваны на кисеты.

«Куплю масла! Килограмм масла! И буду есть с хлебом, супом, кашей. И сахару! И сумку достану у кого-нибудь — торбочку с бичевочным шнурком». — Торбочка — неременная принадлежность всякого приличного заключенного из фраеров. Блатные не ходят с торбочками.

Я вернулся в барак. Все лежали на нарах, только Ефремов сидел, положив руки на остывшую печку, и тянулся лицом к исчезающему теплу, боясь разогнуться, оторваться от печки.

— Что же, растопляешь?

Подошел дневальный.

— Ефремовское дежурство! Бригадир сказал: пусть где хочет, там и берет, а чтоб дрова были. Я тебе спать все равно не дам. Иди, пока не поздно.

Ефремов выскользнул в дверь барака.

— Где ж твоя посылка?

— Ошиблись...

Я побежал к магазину. Шапаренко, завмаг, еще торговал. В магазине никого не было.

— Шапаренко, мне хлеба и масла.

— Угровишь ты меня. — Ну, возьми, сколько надо. — Денег у меня, видишь, сколько? — сказал Шапаренко, — что такой фитиль, как ты, можешь дать? — Бери хлеб и масло и отрывайся быстро.

Сахару я забыл попросить. Масла килограмм. Хлеб — ки-

лограмм. Пойду к Семену Шейнину. Шейнин был бывший референт Кирова, еще не расстрелянный в это время. Мы с ним работали когда-то вместе, в одной бригаде, но судьба нас развела.

Шейнин был в бараке.

— Давай есть. Масло, хлеб.

Голодные глаза Шейнина заблестели:

Сейчас я кипятку...

— Да не надо кипятку!

— Нет, я сейчас, — и он исчез.

Тут же кто-то ударил меня поленом по голове, и когда я вскочил, пришел в себя, сумки не было. Все оставались на своих местах и смотрели на меня со злобной радостью. Развлечение. В таких случаях — радовались вдвойне: во-первых, — кому-то плохо, во-вторых, — плохо не мне. Это не зависть, нет.

Я не плакал. Я еле остался жив. Прошло тридцать лет, и я помню отчетливо полутемный барак, злобные, радостные лица моих товарищей, сырое полено на полу, бледные щеки Шейнина.

Я пришел снова в ларек. Я больше не просил масла и не спрашивал сахара. Я выпросил хлеба, вернулся в барак, «натаял» снегу и стал варить чернослив.

Барак уже спал: стонал, хрипел, кашлял. Мы трое варили у печки каждый свое. Синцов кипятил сбереженную от обеда корку хлеба, чтоб съесть ее вязкую, горячую и чтобы выпить потом с жадностью горячую снеговую воду, пахнущую дождем и хлебом. Губарев натолкал в котелок листьев мерзлой капусты — счастливец и хитрец. Капуста пахла, как лучший украинский борщ! А я варил посылочный чернослив. Все мы не могли не глядеть в чужую посуду.

Кто-то пинком ноги распахнул двери барака. Из облака морозного пара вышли двое военных. Один помоложе — начальник лагеря Коваленко, другой постарше — начальник прииска Рябов. Рябов был в авиационных бурках — в моих бурках! Я с трудом сообразил, что это ошибка — что бурки рябовские.

Коваленко бросился к печке, размахивая кайлом, которое он принес с собой.

— Опять котелки! Вот я вам сейчас покажу котелки! Покажу как грязь разводить!

Коваленко опрокинул котелки с супом, с коркой хлеба, с листьями капусты, с черносливом и кайлом пробил дно каждого котелка.

Рябов грел руки о печную трубу.

— Есть котелки — значит есть что варить, — глубоко-мысленно сказал начальник прииска. — Это, значит, признак довольства.

— Да ты бы видел, что они варят, — сказал Коваленко, растапывая котелки.

Начальники вышли, и мы стали разбирать смятые котелки и собирать каждый свое: я — ягоды, Синцов — размокший, бесформенный хлеб, Губарев — крошки капустных листьев. Мы сразу все съели — так было надежней всего.

Я проглотил несколько ягод и заснул. Я давно научился засыпать раньше, чем согреются ноги — когда-то я этого не мог, но опыт, опыт. Сон был похож на забвенье.

Жизнь возвращалась как сновиденье — снова раскрылись двери: белые клубы пара, прилегшие к полу, пробежавшие до дальней стены барака; люди в белых и темных полушубках, вонючих от новизны, необношенности, и рухнувшее на пол что-то нешевелившееся, но живое, хрюкающее.

Дневальный в недоуменной, но почтительной позе склонившийся перед тулупами десятников.

— Ваш человек? — и смотритель показал на комок грязного тряпья на полу.

— Это Ефремов, — сказал дневальный.

— Будет знать, как воровать чужие дрова.

Ефремов много недель пролежал рядом со мной на нарах, пока его не увели, он умер в инвалидном городке. Ему отбили «нутро». Он не жаловался — он лежал и тихонько стонал.

«К А Н Т»

Сопки были белые с синеватым отливом, как сахарные

головы. Круглые, беслесные, они были покрыты тонким слоем плотного снега, спрессованного ветрами. В ущельях снег был глубок и крепок — держал человека, а на склонах сопок он как бы вздувался огромными пузырями. Это были кусты стланника, распластавшегося по земле и улегшегося на зимнюю ночевку еще до первого снега. Они-то и были нам нужны.

Из всех северных деревьев я больше других любил стланник, кедрач.

Мне давно была понятна и дорога та завидная торопливость, с какой бедная северная природа стремилась поделиться с нищим, как и она, человеком своим нехитрым богатством — процвести поскорее для него всеми цветами. В одну неделю, бывало, цвело всё взапуски и за какой-нибудь месяц с начала лета горы в лучах почти незаходящего солнца краснели от брусники, чернели от темно-синей голубизны. На низкорослых кустах — и руку поднимать не надо — наливалась желтая крупная водянистая рябина. Медовый горный шиповник — его розовые лепестки были единственными цветами здесь, которые пахли как цветы, — все остальные пахли только сыростью, болотом и это было подстать весеннему безмолвию птиц, безмолвию лиственничного леса, где ветви медленно одевались зеленой хвоей. Шиповник берег плоды до самых морозов и из-под снега протягивал нам сморщенные мясистые ягоды, фиолетовая жесткая шкура которых скрывала сладкое темно-желтое мясо. Я знал веселость лоз, меняющих окраску весной много раз — то темно-розовых, то оранжевых, то бледно-зеленых, будто обтянутых цветной лайкой. Лиственницы протягивали тонкие пальцы с зелеными ногтями, вездесущий жирный кипрей покрывал лесные пожарища. Все это прекрасно, доверчиво, шумно и торопливо — но все это было летом — когда матовая зеленая трава мешалась с муравчатым блеском замшелых, блестящих на солнце скал, которые вдруг оказывались не серыми, не коричневыми, а зелеными.

Зимой все это исчезало, покрытое рыхлым, жестким снегом, что ветры наметали в ущелья и утрамбовывали так, что для подъема в гору надо было вырубать в снегу ступеньки топором. Человек в лесу был виден на версту — так все было

голо. И только одно дерево было всегда зелено, всегда живо — стланник, вечно зеленый кедрач. Это был предсказатель погоды. За два-три дня до первого снега, когда днем было еще по-осеннему жарко и безоблачно и о близкой зиме никому не хотелось думать — стланник вдруг растягивал по земле свои огромные двухсаженные лапы, легко сгибал свой прямой черный ствол толщиной кулака в два и ложился плашмя на землю. Проходил день, другой, появлялось облако, а к вечеру задувала метель и падал снег. А если поздней осенью собирались снеговые низкие сизые тучи, дул холодный ветер, но стланник не ложился — можно было быть твердо уверенным, что снега не выпадет.

В конце марта, в апреле, когда весной еще и не пахло, и воздух был по-зимнему разрежен и сух, стланник вдруг поднимался, стряхивая снег со своей зеленой, чуть рыжеватой одежды. Через день-два менялся ветер, теплые струи воздуха приносили весну.

Стланник был инструментом очень точным, чувствительным до того, что порой он обманывался — поднимался в оттепель, когда оттепель затягивалась. Но еще не успевало похолодать, как он снова торопливо укладывался в снег. Бывало и такое: разведешь с утра костер пожарче, чтобы в обед было где согреть ноги и руки — заложить побольше дров и уходишь на работу. Через два-три часа из-под снега протягивает ветви стланник и расправляется потихоньку, думая, что пришла весна. Еще не успел костер погаснуть, как стланник снова ложится на снег. Зима здесь двухцветна — бледное синее высокое небо и белая земля. Весной обнажается грязно-желтое прошлогоднее осеннее тряпье, и долго-долго земля одета в этот нищенский убор, пока новая зелень не наберет силу и все не станет цвести — торопливо и бурно. И вот среди этой унылой весны, безжалостной зимы — ярко и ослепительно зеленея, сверкал стланник. К тому же на нем росли орехи — мелкие кедровые орехи. Это лакомство делили между собой люди, кедровки, медведи, белки, бурундуки.

Выбрав площадку с подветренной стороны сопки, мы нагребали сучьев — мелких и покрупнее, навалили сухой травы

на «промётинах» — голых местах горы, с которых ветер сорвал снег. Мы принесли с собой из барака несколько дымящихся головешек, взятых перед уходом на работу из топящейся печки — спичек здесь не было.

Головешки носили в большой консервной банке с приделанной ручкой из проволоки, тщательно следя, чтобы они не погасли по дороге. Вытащив головни из банки, обдув их и сложив тлеющие концы вместе, я раздул огонь и, положив головни на ветки, заложил костер — сухую траву и мелкие сучья. Все это было закрыто большими сучьями, и скоро синий дымок неуверенно потянулся по ветру.

Я никогда раньше не работал в бригадах, заготавливающих хвою стланника. Заготовка шла вручную, щипали зеленые сухие иглы, набивали хвоей мешки, а вечером сдавали выработку десятнику. Затем хвоя увозилась на таинственный «витаминный комбинат», где из нее варили темно-желтый густой и вязкий экстракт непередаваемо противного вкуса. Этот экстракт нас заставляли пить или есть (кто как сумеет) перед каждым обедом. Вкусом экстракта бывал испорчен не только обед, но и ужин, и многие видели в этом «лечении» дополнительное средство лагерного «воздействия». Но без «стопки» этого лекарства в столовых нельзя было получить обед — за этим строго следили. Цынга была повсеместно и стланник был единственным средством от цынги, одобренным медициной. Вера все преодолевает и, хотя впоследствии была доказана полная несостоятельность этого «препарата» как противоцинготного, и от него отказались, а «витаминный комбинат» закрыли — в наше время люди пили эту вонючую дрянь, отплевывались и выздоравливали от цынги. Или не выздоравливали. Или не пили и выздоравливали. Везде была тьма шиповника, но его никто не заготавливал, не использовал, как противоцинготное средство — в московской инструкции ничего о шиповнике не говорилось. (Через несколько лет шиповник стали завозить с «материка», но собственной заготовки так и не было налажено).

Представителем витамина «С» инструкция считала только хвою стланника. Нынче я был заготовщиком этого драгоцен-

ного сырья — я ослабел и из «золотого» забоя был переведен «щипать стланник».

— Походишь на стланник, — сказал утром нарядчик. — Дам тебе «кант» на несколько дней.

«Кант» — это широкораспространенный лагерный термин. Обозначает он что-то вроде временного отдыха, такую работу, при которой человек не выбивается из сил.

Работа «на стланнике» считалась не только легкой — легкой и притом она была бесконвойной.

После многих месяцев работы в обледенелых «разрезах», где каждый замороженный до блеска камешек обжигает руки, после щелканья винтовочных затворов, лая собак и матерщины смотрителей за спиной — работа на стланнике была огромным, ощущаемым каждым усталым мускулом, удовольствием. На стланник посылали позже обычного развода на работу, еще в темноте.

Хорошо было, грея руки о банку с дымящимися головешками, не спеша идти к сопкам, таким недостижимо далеким, как мне казалось раньше, и подниматься все выше и выше, все время ощущая как радостную неожиданность — свое одиночество и глубокую зимнюю горную тишину — как будто все дурное в мире исчезло и есть только твой товарищ и ты — и узкая темная бесконечная полоска в снегу, ведущая куда-то высоко, в горы.

Товарищ мой неодобрительно смотрел на мои медленные движения. Он уже давно ходил на стланник и справедливо предполагал во мне неумелого и слабого «напарника». Работали парами, «заработок» был общий и делился пополам.

— Я буду рубить, а ты садись щипать, — сказал он. — И поживей ворочайся, а то мы не сделаем нормы. А идти отсюда снова в забой не хочу.

Он нарубил стланниковых веток и приволок огромную кучу зеленых лап к костру. Я отламывал сучья поменьше и, начиная с вершины ветки, обдирали иглы вместе с корой. Они были похожи на зеленую бахрому.

— Надо быстрее, — сказал мой товарищ, возвращаясь с новой охапкой.

Я и сам понимал, что плохо. Но я не мог работать быстрее. В ушах звенело, и отмороженные в начале зимы пальцы рук давно уже ныли знакомой тупой болью. Я драл иглы, ломал целые ветки на куски, не обдирая коры, и заталкивал добычу в мешок. Но мешок никак не хотел наполняться. Уже целая гора ободранных веток, похожих на обмытые кости, поднялась около костра, а мешок все раздувался и раздувался и принимал новые охапки стланника.

Товарищ сел помогать, дело пошло быстрее.

— Пора домой, — сказал он вдруг. — А то к ужину опоздаем. На норму тут не хватит. — И взяв из золы костра большой камень он затолкал его в мешок.

— Там не развязывают, — сказал он, хмурясь. — Теперь будет норма.

Я встал, раскидал горящие сучья в стороны и нагреб ногами снег на рдеющие угли. Костер зашипел, погас, и сразу стало холодно, и ясно, что вечер близок. Товарищ помог мне навалить на спину мешок. Я закачался под его тяжестью.

— Волоком волоки, — сказал товарищ. — Вниз ведь тащить, не вверх.

Мы едва успели получить свой суп. На этой легкой работе вторых блюд не полагалось.

СУХИМ ПАЙКОМ

Когда мы — все четверо — пришли на ключ «Дусканья», мы так радовались, что почти не говорили друг с другом. Мы боялись, что наше путешествие сюда — чья-то ошибка или чья-то шутка, что нас вернут назад в зловещие, залитые холодной водой — растаявшим льдом — каменные забои прииска. Казенные резиновые галоши «чуни» не спасали от холода наши многократно отмороженные ноги.

Мы шли по тракторным следам, как по следам какого-то доисторического зверя, но тракторная дорога кончилась и по старой пешеходной тропинке, чуть заметной, мы дошли до маленького сруба с двумя прорезанными окнами, и дверью, висящей на одной петле из куска автомобильной шины, укрепленной гвоздями. У маленькой двери была огромная деревянная

ручка, похожая на ручку ресторанных дверей в больших городах. Внутри были голые нары из цельного накатника; на земляном полу валялась черная закопченная консервная банка. Такие же банки, проржавевшие и пожелтевшие, валялись около крытого мохом маленького домика в большом количестве. Это была изба горной разведки; в ней никто не жил уже не один год. Мы должны были тут жить и рубить просеку — с нами были топоры и пилы.

Мы впервые получили свой продуктовый паек на руки. У меня был заветный мешочек с крупами, сахаром, рыбой, жирами. Мешочек был перевязан обрывками бичевки в нескольких местах, — так, как перевязываются сосиски. Сахарный песок и крупа двух сортов — ячневая и «магар». У Савельева был точно такой же мешочек, а у Ивана Ивановича было целых два мешочка, сшитые крупной мужской сметкой. Наш четвертый — Федя Шапов легкомысленно насыпал крупу в карманы бушлата, а сахарный песок завязал в портянку. Вырванный внутренний карман бушлата служил Феде кисетом, куда бережно складывались найденные окурки.

Десятидневные пайки выглядели пугающе — не хотелось думать, что все это должно быть поделено на целых тридцать частей — если у нас будет завтрак, обед и ужин, и на двадцать частей — если мы будем есть два раза в день. Хлеба мы взяли на два дня — его будет нам приносить десятник — ибо даже самая маленькая группа рабочих не может быть мыслима без десятичника. Кто он — мы не интересовались вовсе. Нам сказали, что до его прихода мы должны подготовить жилище.

Всем нам надоела барачная еда, где всякий раз мы готовы были плакать при виде внесенных в барак на палках больших цинковых бачков с супом. Мы готовы были плакать от боязни, что суп будет жидким. И когда случалось чудо, и суп был густой, мы не верили и, радуясь, ели его медленно-медленно; но и после густого супа в потеплевшем желудке оставалась сосущая боль — мы голодали давно. Все человеческие чувства — любовь, дружба, зависть, человеколюбие, милосердие, жажда славы, честность — ушли от нас с тем мясом, которого мы лишились за время своего продолжительного голодания.

Савельев и я решили питаться каждый сам по себе. Приготовление пищи — арестантское наслаждение особого рода. Ни с чем несравнимое удовольствие — приготовить пищу для себя, своими руками и затем есть — пусть сваренную хуже, чем бы это сделали умелые руки повара — наши кулинарные знания были ничтожны, поварского умения не хватало даже на простой суп или кашу. И все же мы с Савельевым собирали банки, чистили их, обжигали на огне костра, что-то замачивали, кипятили, учась друг у друга.

Иван Иванович и Федя смешали свои продукты. Федя бережно вывернул карманы и обследовал каждый шов, вычищая крупинки грязным обломанным ногтем.

Мы — все четверо — были отлично подготовлены для путешествия в будущее — хоть в небесное, хоть в земное. Мы знали, что такое научно-обоснованные нормы питания, что такие таблицы замены продуктов, по которым выходило, что ведро воды заменяет по калорийности 100 граммов масла. Мы научились смирению, мы разучились удивляться. У нас не было гордости, себялюбия, самолюбия, а ревность и страсть казались нам марсианскими понятиями и притом пустяками. Гораздо важнее было наловчиться зимой на морозе застегивать штаны — взрослые мужчины плакали, не умея подчас этого сделать. Мы понимали, что смерть несколько не хуже чем жизнь, и не боялись ни той, ни другой. Великое равнодушие владело нами. Мы знали, что в нашей воле прекратить эту жизнь хоть завтра же и иногда решались сделать это и всякий раз нам мешали какие-нибудь мелочи, из которых состоит жизнь. То сегодня будут выдавать «ларек» — премиальный килограмм хлеба — просто глупо было кончать самоубийством в такой день. То дневальный из соседнего барака обещал дать закурить вечером — отдать давнишний долг.

Мы поняли, что жизнь даже самая плохая, состоит из смены радостей и горя, удач и неудач, и не надо ее бояться, что неудач больше, чем удач.

Мы были дисциплинированы, послушны начальникам. Мы понимали, что правда и ложь — родные сестры, что на свете тысячи правд... Мы считали себя почти святыми — думая, что

за лагерные годы мы искупили все свои грехи. Мы научились понимать людей, предвидеть их поступки, разгадывать их. Мы поняли — и это было самое главное — что наше знание людей ничего не дает нам в жизни полезного. Что толку в том, что я понимаю, чувствую, разгадываю, предвижу поступки другого человека? Ведь своего-то поведения по отношению к нему я изменить не могу, я не буду доносить на такого же заключенного, как я сам, чем бы он ни занимался. Я не буду и добиваться должности бригадира, дающей возможность остаться в живых — ибо худшее в лагере — это навязывание своей (или чьей-то чужой) воли другому человеку — арестанту, как я. Я не буду искать «полезных» знакомств, давать взятки. И что толку в том, что я знаю, что Иванов — подлец, а Петров — шпион, а Заславский — лжесвидетель?

Невозможность пользоваться известными видами «оружия» делала нас слабыми по сравнению с некоторыми нашими соседями по лагерным нарам. Мы научились довольствоваться малым и радоваться малому.

Мы поняли также удивительную вещь: в глазах государства и его представителей человек, физически сильный, лучше, именно лучше, нравственнее, ценнее человека слабого — того, что не может выбросить из траншеи двадцать кубометров грунта за смену. Первый моральнее второго. Он выполняет «процент», т. е. исполняет свой главный долг перед государством и обществом, а потому всеми уважается. С ним советуются и считаются, приглашают на совещания и собрания, по своей тематике далекие от вопросов выбрасывания тяжелого скользкого грунта из мокрых и склизких канав.

Благодаря своим физическим преимуществам, он обращается в моральную силу при решении ежедневных многочисленных вопросов лагерной жизни. Конечно, он — моральная сила до тех пор, пока он — сила физическая.

Иван Иванович в первые месяцы своей жизни на прииске был передовым «работягой». Сейчас он не мог понять, почему его теперь, когда он ослабел, изголодался, все бьют походя — не больно, но бьют: дневальный, парикмахер, нарядчик, староста, бригадир, конвоир. Кроме должностных лиц, его

бьют блатары. Иван Иванович был счастлив, что выбрался на эту лесную командировку.

Федя Шапов, алтайский подросток, стал «доходягой» раньше других потому, что его полудетский организм еще не окреп. Поэтому Федя держался недели на две меньше, чем остальные, скорее ослабел. Он был единственным сыном вдовы и судили его за незаконный убой скота — единственной овцы, которую заколол Федя. Убий эти были запрещены законом. Федя получил десять лет. Присковая, торопливая, вовсе не похожая на деревенскую, работа была ему тяжела. Федя восхищался привольной жизнью блатарей на приiske, но было в его натуре такое, что мешало ему сблизиться с ворами. Это здоровое крестьянское начало, природная любовь, а не отвращение к труду помогало ему немножко. Он, самый молодой среди нас, «прилепился» сразу к самому пожилому, к самому положительному — Ивану Ивановичу.

Савельев был студент Московского института связи, мой земляк по Бутырской тюрьме. Из камеры он, потрясенный всем виденным, написал письмо «вождю» партии, как верный комсомолец, уверенный, что до «вождя» не доходят такие сведения. Его собственное дело было настолько пустячным (переписка с собственной невестой), где свидетельством агитации (пункт 10 пятьдесят восьмой статьи) были письма жениха и невесты друг другу: его «организация» (пункт 11 той же статьи) состояла из двух лиц. Все это самым серьезным образом записывалось в бланки допросов. Все же все думали, что, кроме ссылки, даже по тогдашним масштабам, Савельев ничего не получит.

Вскоре после отсылки письма в один из «заявительных» тюремных дней, Савельева вызвали в коридор и дали ему расписаться в извещении. Верховный прокурор сообщал, что лично будет заниматься рассмотрением его дела. После этого Савельева вызвали только один раз — вручить ему приговор «особого совещания» — десять лет лагерей.

В лагере Савельев «доплыл» очень быстро. Ему и до сих пор непонятна была эта зловещая расправа. Мы с ним не то что дружили, а просто любили вспоминать Москву — ее ули-

КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗЫ

цы, памятники, Москва-реку, подернутую тонким слоем нефти, отливающим перламутром. Ни ленинградцы, ни киевляне, ни одесситы не имеют таких поклонников, ценителей, любителей. Мы готовы были говорить о Москве без конца...

Мы поставили принесенную нами железную печку в избу и, хотя было лето, затопили ее. Теплый сухой воздух был необычайного чудесного аромата. Каждый из нас привык дышать кислым запахом ношеного платья, пота — еще хорошо, что у слез нет запаха.

По совету Ивана Ивановича мы сняли белье и закопали его на ночь в землю, каждую рубашу и кальсоны порознь, оставив маленький кончик наружу. Это было народное средство против вшей, а на прииске в борьбе с ними мы были бессильны. Действительно на утро, вши собрались на кончиках рубаш. Земля, покрытая вечной мерзлотой, все же оттаивала здесь летом настолько, что можно было закопать белье. Конечно, это была земля здешняя, в которой было больше камня, чем земли. Но и на этой каменистой, оледенелой почве вырастали здесь густые леса огромных лиственниц со стволами в три обхвата — такова была сила жизни деревьев, великий назидательный пример, который показывала нам природа.

Вшей мы сожгли, поднося рубашку к горящей головне из костра. Увы, этот остроумный способ не уничтожил гнид и в тот же день мы долго и яростно варили белье в больших консервных банках — на этот раз дезинсекция была надежной.

Чудесные свойства земли мы узнали позднее, когда ловили мышей, воронов, чаек, белок. Мясо любых животных теряет свой специфический запах, если его предварительно закапывать в землю.

Мы позаботились о том, чтобы поддерживать неугасимый огонь — ведь у нас было только несколько спичек, хранившихся у Ивана Ивановича. Он замотал драгоценные спички в кусочек брезента и в тряпки самым тщательным образом.

Каждый вечер мы складывали вместе две головни, и они тлели до утра, не потухая и не сгорая. Если б головней было три — они сгорели бы. Этот закон я и Савельев знали со школьной скамьи, а Иван Иванович и Федя знали с детства из

дома. Утром мы раздували головни, вспыхивал желтый огонь, и на разгоревшийся костер мы наваливали бревно потолок.

Я разделил крупу на десять частей, но это оказалось слишком страшно. Операция по насыщению пятью хлебами пяти тысяч человек была, вероятно, легче и проще, чем арестанту разделить на тридцать порций свой десятидневный паек. Пайки, карточки были всегда декадные. На «материке» давно уже играли отбой по части всяких «пятидневок», «декадок», «непрерывок», но здесь десятичная система держалась гораздо тверже. Никто здесь не считал воскресных праздников — и отдыха для заключенных «в счет выходных».

Я смешал крупу снова, не выдержав этой новой муки. Я попросил Ивана Ивановича и Федю принять меня в компанию и сдал свои продукты в общий котел. Савельев последовал моему примеру.

Сообща мы — все четверо — приняли мудрое решение — варить два раза в день — на три раза продуктов решительно не хватало.

— Мы будем собирать ягоды и грибы, — сказал Иван Иванович. — Ловить мышей и птиц. И день-два в декаде жить на одном хлебе.

— Но если мы будем голодать день-два перед получением продуктов, — сказал Савельев, — как удержаться, чтоб не съесть лишнее? Когда привезут приварок?

Решили есть два раза в день во что бы то ни стало и, в крайнем случае, — разводить пожиже. Ведь тут у нас никто не украдет, мы получили всё полностью по норме — тут у нас нет пьяниц-поваров, вороватых кладовщиков, нет жадных надзирателей, воров, вырывающих лучшие продукты — всего бесконечного начальства, объедающего, обирающего заключенных — без всякого контроля, без всякого страха, без всякой совести.

Мы получили полностью свои «жиры» в виде комочка «гидрожира», сахарный песок — меньше, чем я намывал лотком золотого песку, хлеб липкий, вязкий, над выпечкой которого трудились великие неподражаемые мастера «привеса», кормившие начальство пекарен. Крупа двадцати наименований, во-

все неизвестных нам в течение всей нашей жизни: «магар», «пшеничная сечка» — все это было чересчур загадочно. И страшно.

Рыба, заменившая по таинственным «таблицам замены» мясо — ржавая селедка, обещавшая возместить усиленный расход наших белков.

Увы, даже полученные полностью «кормы» не могли питать, насыщать нас. Нам было надо втрое, вчетверо больше — организм каждого голодал давно. Мы не понимали тогда этой простой вещи. Мы верили «нормам» — и известное поварское наблюдение — что легче варить на двадцать человек, чем на четверых — не было нам известно. Мы понимали только одно совершенно ясно: что продуктов нам не хватит. Это нас не столько пугало, сколько удивляло. Надо было начинать работать, надо было пробивать бурелом просекой.

Деревья на Севере умирают лежа — как люди. Огромные обнаженные корни их похожи на когти исполинской хищной птицы, вцепившейся в камень. От этих гигантских когтей вниз, к вечной мерзлоте, тянулись тысячи мелких щупальцев, беловатых «отростков», покрытых коричневой теплой корой. Каждое лето мерзлота чуть-чуть отступала и в каждый вершок оттаявшей земли немедленно вонзался и укреплялся там тончайшими волосками щупалец — корень. Лиственницы достигали зрелости в триста лет, медленно поднимая свое тяжелое, мощное тело на своих слабых, распластанных вдоль по каменистой земле корнях. Сильная буря легко валила слабые на ногах деревья. Лиственницы падали навзничь, головами в одну сторону и умирали, лежа на мягком толстом слое мха — ярко-зеленом или багровом.

Только крученые, верченые, низкорослые деревья, измученные поворотами за солнцем, за теплом, держались крепко в одиночку, далеко друг от друга. Они так долго вели напряженную борьбу за жизнь, что их истерзанная измятая древесина никуда не годилась. Короткий суковатый ствол, обвитый страшными наростами, как лубками каких-то переломов, не годился для строительства — даже на Севере, нетребовательном к материалу. Эти крученые деревья и на дрова не годились

— своим сопротивлением топору они могли измучить любого рабочего. Так они мстили всем за свою изломанную севером жизнь.

Нашей задачей была просека, и мы смело приступили к работе. Мы пилили от солнца до солнца, валили, раскряжевывали и сносили в штабеля. Мы забыли обо всем, мы хотели здесь остаться подольше, мы боялись золотых забоев. Но штабеля росли слишком медленно и к концу второго напряженного дня выяснилось, что сделали мы мало, больше сделать не в силах. Иван Иванович сделал метровую мерку, отмерив пять своих четвертей на срубленной молодой десятилетней лиственнице.

Вечером пришел десятник, смерил нашу работу своим посошком с зарубками и покачал головой. Мы сделали десять процентов нормы!

Иван Иванович что-то доказывал, замерял, но десятник был непреклонен. Он бормотал про какие-то «фесметры», про дрова «в плотном теле» — все это было выше нашего понимания. Ясно было одно: мы будем возвращены в лагерную зону, опять войдем в ворота с казенной надписью: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и героизма».

Лагерь был местом, где учили ненавидеть физический труд, ненавидеть труд вообще.

Но мы не боялись. Более того, признание десятником безнадёжности нашей работы, ничтожности наших физических качеств принесло нам небывалое облегчение, вовсе не пугая нас.

Мы плыли по течению, и мы «доплывали», как говорят на лагерном языке. Нас ничто уже не волновало, нам жить было легко во власти чужой воли. Мы не заботились даже о том, чтобы сохранить жизнь, и ели, и спали, тоже подчиняясь приказу, распорядку лагерного дня. Душевное спокойствие, достигнутое притупленностью наших чувств напоминало о «высшей свободе казармы» и о толстовском непротиивлении злу — чужая воля всегда была на страже нашего душевного спокойствия.

Мы давно не рассчитывали нашу жизнь далее, как на день вперед.

Десятник ушел, а мы остались рубить просеку, ставить новые штабеля, но уже с бóльшим спокойствием, с бóльшим безразличием. Теперь мы уже не ссорились, кому становиться «под комель» бревна, а кому под вершину, при переноске их в штабеля — «трелёвке» — как это называется по-лесному.

Мы больше отдыхали, больше обращали внимание на солнце, на лес, на бледно-синее высокое небо. Мы «филонили».

Утром мы с Савельевым кое-как свалили огромную черную лиственницу, чудом выстоявшую бурю и пожар. Мы бросили пилу прямо на траву — пила зазвенела о камни — и сели на ствол поваленного дерева.

— Вот, — сказал Савельев. — Помечтаем. Мы выживем, уедем на материк, быстро состаримся и будем больными стариками: то сердце будет колоть, то ревматические боли не дадут покоя, то грудь заболит — всё, что мы сейчас делаем, как мы живем в молодые годы — бессонные ночи, голод, тяжелая многочасовая работа, это не пройдет бесследно для нас, если даже мы и останемся живы. Мы будем болеть, не зная причин болезни, стонать и ходить по амбулаториям. Непосильная работа нанесла нам непоправимые раны, и вся наша жизнь в старости будет жизнью боли — бесконечной и разнообразной физической и душевной боли. Но среди этих страшных будущих дней будут и такие дни, когда нам будет дышаться легче, когда мы будем почти здоровы, и страдания наши не станут тревожить нас. Таких дней будет немного. Их будет столько, сколько дней каждый из нас сумел «профилонить» в лагере.

— А «честный труд»? — сказал я.

— К честному труду в лагере призывают подлецы и те, которые нас бьют, калечат, съедают нашу пищу и заставляют работать живые скелеты — до самой смерти. Это выгодно им — этот «честный» труд, хотя они верят в его возможность еще меньше, чем мы.

Вечером мы сидели вокруг нашей милой печки, и Федя Щапов внимательно слушал хриплый голос Савельева.

— Ну, отказался от работы. Составили акт — одет по сезону...

— А что это значит — одет по сезону? — спросил Федя.

Ну, чтобы не перечислять все зимние или летние вещи, что на тебе надеты. Нельзя ведь писать в зимнем акте, что послали на работу без бушлата или без рукавиц. Сколько раз ты оставался дома, когда рукавиц не было?

— У нас не оставляли, — робко сказал Федя. — Начальник дорогу топтать заставлял. А то бы это называлось: остался «по раздетости».

— Вот-вот.

— Ну, расскажи о метро.

И Савельев рассказывал Феде о московском метро. Нам с Иваном Ивановичем было тоже интересно слушать рассказы Савельева. Он знал такие вещи, о которых я, москвич, и не догадывался.

— У магометан, Федя, — говорил Савельев, радуясь, что мозг его еще подвижен, — на молитву скликают муэдзин с минарета. Магомет выбрал голос призывом-сигналом к молитве. Все перепробовал Магомет — трубу, игру на тамбурине, сигнальный огонь — все отверг Магомет... Через полторы тысячи лет на испытании сигнала к поездам метро выяснилось, что ни свисток, ни гудок, ни сирена не улавливаются человеческим ухом, ухом машиниста метро, с той точностью, как улавливается живой голос дежурного отправителя, кричащего «Готово!».

Федя восторженно ахал. Он был более всех нас приспособлен для лесной жизни, более опытен, несмотря на свою юность, чем любой из нас. Федя мог плотничать, мог срубить немудрящую избушку в тайге, знал, как завалить дерево и укрепить ветвями место ночевки. Федя был охотник — в его краях к оружию привыкали с детских лет. Холод и голод свели все федины достоинства на-нет, земля пренебрегала его знаниями, его умением. Федя не завидовал горожанам, он просто преклонялся перед ними, и рассказы о достижениях техники, о городских чудесах он готов был слушать без конца, несмотря на голод.

Дружба не зарождается ни в нужде, ни в беде. Те «трудные» условия жизни, которые, как говорят нам сказки художественной литературы, являются обязательным условием возникновения дружбы, просто недостаточно трудны. Если бе-

да и нужда сплотили, родили дружбу людей — значит, это нужда — не крайняя и беда — не большая. Горе — недостаточно остро и глубоко, если можно разделить его с друзьями. В настоящей нужде познается только своя собственная душевная и телесная крепость, определяются пределы своих «возможностей», физической выносливости и моральной силы.

Мы все понимали, что выжить можно только случайно. И странное дело — когда-то в молодости у меня была поговорка при всех неудачах и провалах — «ну, с голоду не умрем». Я был уверен, всем телом уверен в этой фразе. И я в тридцать лет оказался в положении человека, умирающего с голоду по настоящему, дерущегося из-за куска хлеба буквально — и все это задолго до войны.

Когда мы вчетвером собрались на ключе «Дусканья» — мы знали все, что не для дружбы собрались мы сюда; мы знали, что, выжив, мы неохотно будем встречаться друг с другом. Нам будет неприятно вспоминать сводящий с ума голод, выпаривание вшей в обеденных наших котелках, безудержное вранье у костра, вранье — мечтанье, гастрономические басни, ссоры друг с другом и одинаковые наши сны, ибо все мы видели во сне одно и то же — пролетающие мимо нас, как болиды или ангелы, — буханки ржаного хлеба.

Человек живет своим умением забывать. Память всегда готова забыть плохое и помнить только хорошее. Хорошего не было на ключе «Дусканья», не было его ни впереди, ни позади путей каждого из нас. Мы были отравлены севером навсегда и мы это понимали. Трое из нас перестали сопротивляться судьбе и только Иван Иванович работал с тем же трагическим старанием, как и раньше.

Савельев пробовал урезонить Ивана Ивановича во время одного из «перекуров». «Перекур» — это самый обыкновенный отдых, отдых для некурящих, ибо махорки у нас не один год не было, а перекуры были. В тайге любители курения собирали и сушили листья черной смородины, и были целые дискуссии, по-арестантски страстные на тему — брусничный или смородинный лист «вкуснее». Ни тот, ни другой никуда не годились, по мнению знатоков, ибо организм требовал нико-

тинного яда, а не дыма, и обмануть клетки мозга таким простым способом было нельзя. Но для «перекуров-отдыхов» смородинный лист годился, ибо в лагере слово «отдых» во время работы слишком идет вразрез с теми основными правилами производственной морали, которые воспитываются на Дальнем Севере. Отдыхать через каждый час — это вызов, это и преступление здесь на Севере. И сушеный смородинный лист был естественным камуфляжем.

— Послушай, Иван, — сказал Савельев. — Я расскажу тебе одну историю. В Бамлаге, на «вторых путях» мы возили песок на тачках. Откатка дальняя, норма двадцать пять кубов. Меньше нормы сделаешь — штрафной паек — триста граммов. И баланда раз в день. А тот, кто сделает норму, получает килограмм хлеба кроме приварка, да еще в магазине имеет право за наличные купить килограмм хлеба. Работали попарно. А нормы немыслимые. Так мы словчили вот как: сегодня катаем на тебя вдвоем из твоего забоя. Выкатываем норму. Получаем два килограмма хлеба, да триста граммов штрафных моих — каждому достается кило сто пятьдесят. Завтра работаем на меня. Потом снова на тебя. Целый месяц так катали. Чем не жизнь? Главное — десятник был душа — он, конечно, знал. Ему было даже выгодно — люди не слабели, выработка не уменьшалась. Потом кто-то из начальства разоблачил эту штуку и кончилось наше счастье.

— Что же, хочешь здесь попробовать? — сказал Иван Иванович.

- Я не хочу, а просто мы тебе поможем.

- А вы?

- Нам, милый, все равно.

- Ну, и мне все равно. Пусть приходит сотский.

Сотский, т. е. десятник пришел через несколько дней. Худшие опасения наши сбывались.

— Ну, отдохнули, пора и честь знать. Дать место другим. Работа ваша вроде оздоровительного пункта или оздоровительной команды, как ОП и ОК, — важно пошутил десятник.

— Да, — сказал Савельев:

«Сначала ОП, потом ОК
На ногу — бирку!
И — пока!»

Посмеялись для приличия.

— Когда обратно-то?

— Да завтра и пойдем.

Иван Иванович больше ничего не спрашивал. Он повесился ночью в десяти шагах от избы в развилке дерева, без всякой веревки — таких самоубийств мне еще не приходилось видеть. Нашел его Савельев, увидел с тропы и закричал. Подбежавший десятник не велел снимать тела до прихода «оперативки» и заторопил нас.

Федя Щапов и я собирались в великом смущении — у Ивана Ивановича были хорошие, еще целые, портянки, мешочки, полотенце, запасная бязевая нижняя рубашка, из которой Иван Иванович уже выварил вшей, чиненные ватные бурки, на нарах лежала его телогрейка. После краткого совещания мы взяли все эти вещи себе. Савельев не участвовал в дележе одежд мертвеца, — он все ходил около тела Ивана Ивановича. Мертвое тело всегда и везде «на воле» вызывает какой-то смутный интерес, притягивает, как магнит. Этого не бывает на войне и не бывает в лагере — обыденность смертей, притупленность чувств снимают интерес к мертвому телу. Но у Савельева смерть Ивана Ивановича затронула, осветила, потревожила какие-то темные уголки души, толкнула его на какие-то решения.

Он вошел в избушку, взял из угла топор и перешагнул порог. Десятник, сидевший на завалинке, вскочил и заорал непонятное что-то. Мы с Федей выскочили на двор.

Савельев подошел к толстому короткому бревну листовенницы, на котором мы всегда пилили дрова — бревно было изрезано, кора сколота. Он положил левую руку на бревно, растопырил пальцы и взмахнул топором.

Десятник закричал визгливо и пронзительно. Федя бросился к Савельеву — четыре пальца отлетели в опилки. Их не сразу даже было видно среди веток и мелкой щепы. Алая кровь била из пальцев. Федя и я разорвали рубашку Ивана

Ивановича, затянули жгут на руке Савельева, завязали рану.

Десятник увел всех нас в лагерь. Савельева — в амбулаторию для перевязки, в следственный отдел — для начала дела о членовредительстве. Федя и я вернулись в ту самую палатку, откуда две недели назад мы выходили с такими надеждами и ожиданием счастья.

Места наши на верхних нарах были уже заняты другими, но мы не заботились об этом — сейчас лето, и на нижних нарах было, пожалуй, даже лучше, чем на верхних, а пока придет зима, будет много, много перемен.

Я заснул быстро, а среди ночи проснулся и подошел к столу дежурного дневального. Там примостился Федя с листком бумаги в руке. Через его плечо я прочел написанное:

«Мама, — писал Федя, — мама, я живу хорошо. Мама, я одет по сезону...»

В. Шаламов

ЦВЕТОК

(Второй урок ботаники)

Чтоб звездочкой лучистою
Подняться над травой,
Подперся он плечистою
Системой корневой.

И нежен только с виду он,
А так — шершав и груб.
Не даст себя в обиду он,
Колючий себялюб.

Раздувшись от тщеславия,
Он сам собою занят,
Плюет на равноправие
И только соки тянет.

Как гений самомнения
Стоит он перед нами,
И не идет в сравнение
Он с нашими отцами.

Отцы питались — измами,
Идеями своими,
И жертвовали жизнями
“За дело” и “Во имя”.

Стремилась к бескорыстию
И брезговали славой,
И шли, душою чистые,
На бой святой и правый.

Отцы — они радетели
О счастии народа
По нормам добродетели
Семнадцатого года.

Они рукою дерзкою
Историю творили
И нас в такую мерзкую
Историю втравили.

А у цветка — содружество:
Союз тонов и линий,
Где желтый вяжет кружево
И мечет бисер — синий.

А у цветка — решение:
Небрежность поворота,
Полета совершеннее
Иллюзия полета.

Растет себе, качается
И тянется в зенит,
С душой моей встречается,
Со звездами звенит.

Бог знает, сколько радостей
Приносит эгоизм,
Черт знает, сколько гадостей
Наделал альтруизм.

ВРЕМЕНА ГОДА

Весною рвется с гор река,
И рвутся девки в дамки,
И гром взрывает облака,
И рвут таланты рамки.

А летом светятся плоды,
И расстилаются сады,
Как скатерть-самобранка,
И млеют гордые стволы,
Как матери от похвалы,
И рвут таланты рамки.

А осенью всё кап да кап,
Как из дырявой банки,
С деревьев кап, и кап со шляп,
И рвут таланты рамки.

СТИХИ

И в листопад, и в ледоход
Веселых дел невпроворот,
Но хочется сердиться,
Когда, шалея от хлопот
Как оборвавшийся привод,
Как сор, попав в водоворот,
Бездарность суетится.

Та, что несется по черте,
Находит счастье в хомуте,
Глядит в музей или в клозет
С восторгом одинаковым,
А в общем — лишена примет,
Как абсолютный вакуум,
Как поле белое зимой,

Зимой, когда везде покой
(Лишь вьюги тянут лямки),
И в лед закована река,
И пьют вино у камелька
И рвут таланты рамки.

* *
*

За каждую гранью — свое мирозданье.
Смотри, я сейчас поднимаю листок.
Ты видишь — под ним копошится создание:
Стоножка? двухвостка? улитка? жучок?

За льдиной — тюлени, за глыбой — медведи,
За речкой — селенье, за стенкой — соседи,
Свое кукованье за каждой сосной,
И сердце — за каждой клеткой грудной.

Весь мир поделен на мирки, на мирочки,
Куда ни толкнись — номерки, номерочки,
Такие барьеры, такая раздельность,
Что вера невольно растет в запредельность.

...Зевали кефали, смотрели макрели,
Как в небо летучие рыбы летели —
Не то, чтобы в небо, а чуточку ниже,
Но дальше от жижи и к солнцу поближе.

С восторгом проклюнувшегося орленка
Они прорывались сквозь влажную пленку
И мчались по новооткрытым орбитам,
Подобно болидам и метеоритам.

И мне бы промчатся зазубренной тенью
Сквозь все отрицанья и недоуменья,
Сквозь все средостенья прорваться и мне бы
И рыбой, и рыбой, и рыбой по небу!

МОЕЙ ГОРЕ

Содрогалась от схваток земная кора,
Рвались мышцы гранитов на части,
Прорезáлась, как темя младенца, гора,
И вулканы сияли от счастья.

Ты в потугах, и муках на свет родилась,
А росла как ни в чем не бывало.
Еженощно закат за отрогами гас,
И заря ежедневно вставала.

И столетья катились живым серебром,
Как ручьи по расщелинам узким
Или лани, что бродят по тропам гуськом,
Серебристым мелькая огузком.

Ты живешь незатейливо, дышишь легко,
И судьба твоя не бесталанна —
Не горюй же, что статью тебе далеко
До Эльбруса или до Монблана.

Будь собой, не печалься и не подражай
Ты ведь тоже дитя литосферы.
Не ходи к Магомету, мышей не рожай
И чужою не двигайся верой.

К РУССКОЙ РЕЧИ

Школярством набьешь ты оскому —
Беги, как сосед от ухи,
Скорее к родимому дому:
К просвирям, на рынок, в стихи!

На говор иди человеческий,
Катись на простор просторечий,
Хиляй в воровские жаргоны,
Ныряй без плацкарты в вагоны,
В объятья вались к подмастерьям,
Под перья ложись к мастерам,
Но — кукиш ученым материям
И их очумелым пирам!

Беги академий и мумий
И снова, как прежде, во дни
Сомнений и тяжких раздумий
Свободу свою сохрани.

Николай Моршен

НАЧАЛО ПОВЕСТИ

ИЗ ЗАБЫТОЙ ТЕТРАДИ

«Над городом стоял холодный, вялый, лимонно-желтый осенний закат, когда Мария Леопольдовна вышла из дому. До отхода поезда оставалось сорок пять минут. Она решила еще раз взглянуть...»

Впрочем, Бог с ней, с Марией Леопольдовной. Обойдемся без нее. Правду говоря, я хотел рассказать о том, что со мной в последнее время происходит, а заодно и присочинить что-нибудь, так, для поэтического украшения и действия на сердца. Но сочинять, выдумывать стыдно, да и скучно. Не я первый, не я последний внезапно это почувствовал. Рассказать я хотел о любви, ни к чему не приведшей, по моей вине оборвавшейся. Думал соединить с мыслями о своих писаниях, или как теперь многие сами о себе выражаются, о своем «творчестве», — очевидно не улавливая в этом выражении никакого комизма. «Мое творчество»! Впрочем теперь постоянно говорят и «создать» вместо «написать»: стихотворение создано Иваном Ивановичем тогда-то. Господь Бог создал вселенную, Иван Иванович тоже что-то создал. Ничего с этим не поделаешь: создал! Мир может быть и спасет красота (едва ли, едва ли), но погибнуть-то мир может от вкрадчивого, неуклонно-усиливающегося торжества... не нахожу нужного слова: торжества чего? Пошлость не совсем то. От постепенного исчезновения чувства, мешающего «созданию» стихотворений, мешающего «моему» творчеству. Как исчезло оно теперь в России, в нестерпимой тамошней печати... Писать мне все труднее и труднее. Сомнения, какие-то посторонние раздумия, перебои, остановки, особенно учащающиеся ко времени соскальзывания жизни в неизвестность, когда «скудеет в жилах кровь». Кто же этого не знал из тех, кто вообще что-нибудь знает?

А все-таки рассказать кое-что надо бы. Но прямо, по прямому проводу и в самом что ни на есть телеграфном стиле. Если бы все согласились писать без глупой дикарской «образности», ничего не затушевывая, не гальванизируя мертвечины, не «обольщаясь постылыми беллетристическими воплощениями, литературы бы не было. Но это именно то, чего я хочу. Прямой, короткий удар, и больше не о чем говорить. Короткое объяснение, и разрешите, господа или товарищи-граждане, откланяться и пожелать всего лучшего. К чорту прежде всего две вещи, давно уже меня измучившие: лирику с приглушенными, кокетливо-завуалированными жалобами и иронию с многозначительными намеками, и да здравствует, по Стендалю, наполеоновский кодекс, — друг мой, понимаете ли вы меня? Кодекс не подведет, а «по небу полуночи» рано или поздно долетит до стены или потолка, о который и разобьет себе голову. Где вы? Где вы теперь? Помните Любань, кажется это было перед смертью вашей дочери, дождь за окном, и в суете мы даже не успели проститься. Утро как будто еще зеваю, не совсем проснувшись. Где вы теперь? В сущности вас нет, и это главное мое открытие, отчасти и побудившее меня взяться за повесть с соответствующим сюжетом: открытие, что я один. Иллюзии пора оставить.

* * *

Да, я один, и сейчас я это докажу вам. Вам, не существующей, призрачной. Всем призрачным.

Существенно для меня то, что со мной навсегда, до конца. «Аз с вами..», — помните слова эти, без которых нельзя жить? По крайней мере я не могу жить. Стол не существенен, газета с блестяще-язвительной передовой статьей не существенна, даже музыка, чудная наша музыка, общечеловеческий «патент на благородство», даже она не существенна. Долго я думал, что кто-нибудь или что-нибудь останется со мной навсегда, рука в руке, думал с лениво-успокоительным утешением, не вглядываясь, уклоняясь от внутренней проверки, радуясь обманчивой очевидности предпосылок: всё потому, что вдвоем не может нигде быть страшно. Открытие же мое в том, что и

одному не страшно: только к мысли этой надо привыкнуть и с ней сжиться. Я вас очень люблю, скорей дружески, чем страстно, значит по-моему самой высшей формой любви, говорю это с твердым убеждением, во всех Тристанах и Вертерах улавливая отклик. «Чиста и сильна, как смерть», писала жениху о своей любви к нему последняя, несчастная русская императрица, одной этой безбрежно-мечтательной, протестантской фразой как бы отменяя будущие сплетни. «Чиста и сильна, как смерть». Я вас очень люблю, до сих пор, и даже иногда удивляюсь сохранению способности любить. Но мысленно представляя себе наши совместные странствования, здесь, здесь, и дальше там, если есть какое-нибудь «там», — но если нет, это ничего не меняет, ибо для реализации моего одиночества достаточно сознания, что это произошло бы, в сослагательном наклонении, если бы «там» существовала для этого возможность, — да, мысленно представляя себе наши странствования, здесь и там, я вдруг опускаю руку за ненадобностью держать ее пустой на весу, и с недоумением убеждаюсь, что рядом нет никого, и уже никого быть рядом не может. Дальше, милостивый государь, благоволите идти solo! Даже хуже... однако я кажется продолжаю сочинять, сам не отдавая себе в этом отчета. Что же, повидимому, я не Тристан и не Вертер. То, как я представляю себе «там» не леденит мне душу и не охватывает ее бесплотным восторгом, нет, нисколько, но опутывает скукой. Не баня с пауками, но что-то в этом роде, безысходное и серое. Выпускаю руку, и мысленно едва-едва «туда» шагнув, никого уже не зову и ни к чему не прислушиваюсь. Точка, и всяким клейким листочкам окончательный конец, даже в метафизическом их преломлении. Там не будет солнца. Это мне хочется повторить: там не будет солнца, не будет солнца, — друг мой, понимаете ли вы меня? Если понимаете, будьте другом настоящим, не пытайтесь возражать, ободрять и лгать.

* * *

Сегодня утром я сидел на скамейке с газетой в руках, на еще тихой в этот час улице. Небо бледноватое, северно-ше-

мящее и вопреки предшествующим размышлениям, как будто даже с надеждой. О чем, на что? Баланс мой был бы безупречно точен, если бы не небо. Небо портит незадачливому бухгалтеру кровь.

Почему-то я вспомнил Рим. Было это довольно давно, но до сих пор я не могу забыть того, что видел. Римский форум, летом, весь в пыли, с жалкой травкой и щебнем под ногами, с редкими туристами, по обязанности забредшими осматривать кладбище, где осматривать уже нечего. По обязанности я бродил тоже, и усталый, даже чуть-чуть раздосадованный, под вечер остановился в правом углу, далеко от входа, у самого подножия Капитолия. Остановился и поднял глаза. На фоне темно синего неба, — мне почудилось, что в безмолвный укор мне и моей рассеянности, — высился обломок какого-то храма, кажется, в честь Кастора и Полукса, не знаю точно, всегда был в этих областях невеждой. Эти три или четыре колонны, соединенные наверху полуобрушившейся перекладиной, эта классически-синяя даль, сквозившая за ними... нет, я не забуду этого никогда. Полчаса стоял я молча не в силах двинуться. Кто-то первый нашел же эти несравненные формы, пусть не в Риме, а в Греции, но здесь кто-то повторил, восстановил их еще, как что-то свое? В согласии с нетленным небом, с землей, с солнцем, без бегства от них «туда»? Обломок, сиротливо возвышавшийся среди окружавшего его разорения, под наглый гул голосов и моторов с соседней улицы, казался еще красноречивее, еще прекраснее, чем был вероятно самый храм.

А потом, много позже, я так же стоял перед собором в Шартре, с его «непогрешимыми» — по слову Пеги — стрелами. Но в Шартре все было совсем по-другому.

Блажен, кто верует: блажен, кто выбрал (блажен, кто понял, что выбор сделать надо, а не прикрывает свое безразличие утверждением, что мне, видите ли, «одинаково дорого и то, и другое»).

Тут надо бы в будущей повести добавить несколько страниц. Чтобы объяснить, связать начало с отступлением, которое для меня скорей представляет собой продолжение. Но боюсь писать, потому, что боюсь дописаться.

* * *

«Мария Леопольдовна вышла из дому...»

Нет ничего парадоксального в предположении, что литература придумана для того, чтобы развлечь и отвлечь. Отвлечь. Причем придумал ее вероятно заведомый плут, впрочем лично невинного, наивно-педагогического, горьковского типа, с чистосердечным усердием нашептывающий «горячо, горячо!» как раз тогда, когда ни до чего доискаться уже невозможно. И потом, по исполнению общественного долга, благоухающий сединой и передающий младшим современникам свой идеологический факел.

Читатель, ты мне говоришь,
Что в день моего юбилея
Ты с чашей заздравной стоишь,
Гражданским огнем пламенея.

Испей же, читатель, испей,
Из этой страдальческой чаши,
Свидетельствуй, шествуй и сей
По ниве словесности нашей!

Только по этому странному благоуханию и приходится кое-о-чем догадываться. «Простите, не Убиган-с», как говорит где-то Фердыщенко, Лядащенко, или другой такой же персонаж. Однако Мария Леопольдовна, несколько рано вышедшая из дому, оказывается под привычным беллетристическим пером тут как тут и улыбается настолько предупредительной улыбкой, что догадку и забудешь. Пожалуй, даже отправишься на юбилей засвидетельствовать почтение и пройтись раза два-три перед газетным репортером, чтобы не забыл он о тебе упомянуть в завтрашнем отчете. «Среди присутствующих мы заметили...»

Так и тянется жизнь, тише воды.

* * *

Конечно, все это может показаться просто глупым. Какие-то открытия, гамлетизм, «рефлексия», глухая боль в левом боку, пятьдесят семь лет с хвостиком, самолюбование, излишек доверия к мимолетным своим впечатлениям и все прочее. Я, беллетрист и поэт, Николай Никифорович Лариков, выпустив-

НАЧАЛО ПОВЕСТИ

ший в эмиграции несколько книг, о которых, — позволю себе напомнить, — наш известный критик А. и другой, не менее известный, и при том враг и присяжный оппонент первого, критик Б., оба высказались в самом благожелательном духе, отметив и смелую, яркую образность, и новизну повествовательных приемов, и прекрасный русский язык (Б. кроме того дважды отметил «отличную, плотную бумагу и четкий шрифт») — я, Лариков, собрался писать повесть о Марии Леопольдовне, вышедшей из дому к пятичасовому пригородному поезду, сел за стол, написал три строки и остановился. Глупо делать выводы и придавать какое то значение моему замешательству, несомненно случайному, преходящему. Надо раньше ложиться, крепче спать, без предрассветных томлений, когда вертиться с боку на бок и чорт знает что лезет в голову. Врачи недаром утверждают, что хотя снотворные и вредны, однако бессонница еще вреднее. Во всех смыслах вреднее.

Но еще несколько слов: об одиночестве в странствованиях.

Перед тем, как сказать что-нибудь, кажущееся тебе важным, уместно бывает кашлянуть или, будто внезапно задумавшись, усмехнуться: «да, вот, кстати...» Кстати: я не боюсь смерти. Много раз мысленно проверял себя и должен признать, что это так. Не боюсь и удивляюсь тем, кто боится. В Толстом это то, чего я не понимаю и даже не принимаю. «*Qui craint la mort?*» — и за яснополянским семейным столом он и Тургенев подняли руки. Никто другой не поднял.

Что же, у меня, как у них, не достает воображения? Или недостаточно я привязан ко всякого рода земным, здешним удовольствиям и прелестям? По совести, очень привязан, и на исходе шестого десятка привязан мучительнее, чем когда бы то ни было прежде. Однако очевидно одарен и способностью отвязаться. Не понимаю протеста и воплей, и даже решаюсь думать, что это наследственный самогипноз, а не естественное, неискоренимое чувство. Во всяком случае — не проблема. «Проблема смерти»: с какой силой, будто внезапно вскипев, отскакивают эти два слова одно от другого, как нестерпимо

стилистическое их сочетание! Проблема пожалуй только в том, как смерть могла стать проблемой.

Не к чему говорить о природе, о подчинении ее «ритму» или о растворении в стихиях. При общем городском нашем складе ссылки на лес и море могут оказаться как раз самыми книжными, надуманными. Для меня дело проще. Страшно может быть только то, что похоже на азартную игру, с удачами и катастрофами. Или то, что исключительно. Не может быть страшно то, что суждено всем. А в особенности не может быть для меня страшно то, что случилось с теми, кого я любил или еще люблю больше себя. Скорей было бы для меня страшно уклониться от одинаковой с ними участи.

Поняли ли вы, дорогой друг мой, что Мария Леопольдовна — это вы? Не в том двоящемся, литературском смысле, как «мадам Бовари это я», а совсем точно, дословно. Это ведь о вас я собрался писать, и с вами я говорю, когда отступаю в сторону. О Любани рано утром, когда вы вдруг по-детски сказали, что вам страшно, — да, помню точно, вы сказали именно «страшно», — хочется горячего кофе. А я смотрел на вашу старомодно-смешную, скомканную вуалетку над заплаканными глазами и про себя повторил строчки, будто о нас с вами и написанные: «Господи, я и не знал до чего она...» Но вы эти строчки едва ли знаете и мысленно их не докончите. Пожалуй это и лучше. Впрочем не имеет большого значения, прочтете ли вы когда-нибудь то, что я пишу.

Отчего все это так нелепо оборвалось? Отчего за тридцать лет вы мне ни разу не написали? Отчего только теперь я понял, что никого кроме вас в жизни и не любил? Где вы теперь? В Москве? Или...

* * *

Пройдут миллионы лет. Все здешнее, наше оледенеет и потухнет, и нигде, ни в каких планах, нигде не останется ни пылинки, ни луча, которые могли бы мы узнать, как свои. Да и узнавать было бы нечем: ни памяти, ни жалости, ни следа, ничего. И вот над какой-нибудь голубой, остывающей, еще влажной планетой пройдет первое облако, и в каких-нибудь темных пучинах потянутся одна к другой две клеточки, и от-

куда-то подует ветерок, и снова, как было у нас, да, да, так же, на невероятном языке, или без всякого языка, Бог ведь, не знаю как, впервые кто-нибудь произнесет первое слово, со свежестью и волнением, которые и нам до сих пор еще смутно доступны каждый день, утром, если на рассвете распахнуть окно.

Какое мне дело? Не знаю, как вам, а мне есть дело. У меня кружится голова не от моего личного бессмертия, а от мысли, что жизнь не может кончиться. Это буду не я, но это буду и я. Для моего удовлетворения, для моего неукротимого счастья на земле гораздо нужнее верить, что когда-нибудь на теплом Юпитере проквакает лягушка, чем надеяться, что я, именно я где-нибудь погляжусь в воображаемое потусторонне зеркало.

* * *

Ну, от повести моей мало что осталось. Болтовня, и при том довольно «нервическая», как сказал бы Тургенев, даже не без сходства с новейшим дневником лишнего человека. Но если бы между отрывками провести соединительные линии, должно бы получиться как в известной, когда-то распространенной игре: вдруг обрисовывается профиль маркизы в седых буклях или карта Европы.

Надо занять позицию, а с остальным можно и повременить. Боюсь только, что случайное, проталкиваясь вперед, отвлекает внимание, и у маркизы может не оказаться носа или Италия, скажем, исчезнет в море. Повесть написать необходимо, однако предварительно следовало бы растолковать, что и другое, — например этот эпизодик на римском форуме, — тоже по своему оправдано. По широкой дороге проехать нельзя, попробуем значит пробраться по окольной, на крайность даже по соседним тропинкам.

«Мария Леопольдовна вышла из дому...» Нет, я не оставляю ее, вздор. Надо написать именно о ней, о вас. Отделю то, что набросано второпях, чертой и помечу: глава вторая. Будет во второй главе и последовательное развитие фабулы, будут и яркие метафоры, обещаю. Помилуйте, как же в наше время без метафор! Но голова изнемогает от стихов, которые

тоже надо бы написать и которых не напишу я уже никогда. Да и никто не напишет. Стихи, те, что мне мерещатся, тоже вроде ошибки в бухгалтерском счету: откуда лишняя копеечка, куда прикажете ее отнести? Пишу и почему-то повторяю: «Пошли, Господь, свою отраду тому, кто жизненной тропой, как бедный нищий мимо саду бредет по знойной мостовой». Браво, браво, да здравствует литература и поднимем бокал за седины ее служителей. Но очевидно я не случайно начал фразой о том, что Маруся — вышла из дому, именно вышла. Жизнь, вечность, небо, люди, помогите ей в пути. Она ведь тоже бредет одна.

Обо мне не беспокойтесь.

Георгий Адамович

ЧЕТЫРЕ УГЛА

Анатолию Сапронову.

Вышел — и вижу: четыре угла.
На каждом — огромный дом.
Ввысь уходят квадраты стекла,
Блистая лиловым льдом.

Еще далеко до первых звезд.
На небе — красный дымок.
На каждом углу сколочен помост.
С помоста кричит демагог.

Четыре угла, четыре толпы,
Четыре истошных вопля.
И я к перекрестку с другими доплыл,
Как в сеть заплывает вобла.

Приплыл на северный угол.
Вижу — орет один.
Глаза у него как уголь
Из-под золы седин.

Разглагольствует хорошо!
Особенно слово “честь”
Произносит с самой большой
Буквы, что ни на есть.

Я, говорит, патриот
Рыцарского закала.
Я говорю — вперед
Под знаменем генерала!

Тут выходил генерал
И радостно козырял!

На генерале — мундир,
Генерал распевает арии
О том, что каждому сыр
Он выпишет из Швейцарии!

И сразу — неукротим
Рев над столицей мира:
— Все, как один, хотим
Вкусить швейцарского сыра!

Но те, — говорит он, — гадины,
У кого иностранное отчество!
И мне их на перекладине
Очень повесить хочется,

Смерть, — говорит, — пронырам!
Они между мной и сыром!

И вопль летит к поднебесьям:
— Приказывай, всех повесим!

*

Пробился на угол южный.
А там вопит золотушный,
Тщедушный и некрасивый,
Нос обвисает сливой.

Я, говорит, за равенство,
Я, говорит, за братство,
Хочу, говорит, нравиться,
Хочу, говорит, лобызаться!

Как только низы
Дорвутся до власти
Поделим носы
На равные части!

Наш лозунг — всечеловеческий:
Каждому нос греческий!

Кончил носатый визгом
И трясанув кулаком:
— А с сыром милитаристским
Не суйтесь! Ваш сыр с душком!

Тут встает кривоногая
И обещает многое!

Справедливость сулит рабочим,
А несправедливость — прочим!

В мире не место нечисти!
Надо с земли стереть
Если не полчеловечества,
То непременно треть!

Мы учиним разнос,
Мы уберем с дороги
Тех, у которых нос
Прямой, и прямые ноги!

Сбрасывай под откос
Эксплуататоров класс!
Чтобы прямой нос
Стал достояньем масс!

*

Вышел на угол западный,
Лозунгами заляпанный.

А там либеральный чижик
Вычитывает из книжек.

Во всем, говорит, сперва
Человеческие права.

Вот господин генерал
Неоднократно и четко
Перед толпой заявлял,
Что мне перережет глотку —

А я говорю — браво,
Это его право!

А мой носатый собрат,
Сжимающий кулаки,
Был бы ужасно рад
Выпустить мне кишки,

А я говорю — браво,
Это его право!

Не должен,
Ни под каким видом
Ограничиваться индивидуум!

А если страсть индивидуума —
Стрелять либераловъ упрямо, —
То это его, видимо,
Политическая программа,

А существо программ
Нельзя менять ни на грамм!

*

Я сбежал, испуган,
На восточный угол.

А там аскет долговязый
Что-то вещает важное,
И на стене монашеской рясой
Тень мелькает восьмиэтажная!

— Наш Бог — Бог,
А их Бог — плох!

Говорю вам, с догматом сверясь:
Всё остальное — ересь!

С нами псалмы поющий
Узрит райские кущи,

А тот, кто поет на другой распев, —
Того постигнет Господень гнев!

Никто не спасется бегством,
Согласно священным текстам!

Слушай — и выбирай,
Что тебе говорят:
С нами пойдешь в рай,
С ними, пойдешь в ад!

СТИХИ

Да управляет миром
Генерал, осененный сыром!

А тот, кто мечтой унесся
За прямою носою, —

Тот подвержен разным
Дьявольским соблазнам.

И сгинет в геенне огненной,
Нами из мира прогнанный!

Говорю вам, с догматом сверясь:
Все остальное — ересь!

*

Над морем голов, над морем голов
Крики летят с четырех углов.

И ужас сердце мое холодит,
Что кто-то из них победит.

Иван Елагин

РУССКАЯ СКАЗКА

Памяти А. М. Ремизова.

Жил-был Иван дурак, и пришло ему на ум службу сослужить Сталину. А до Сталина дойти — сто анкет заполнить. Чем занимался до семнадцатого года? Вот и ждал Иван целую зиму. Наконец призвали.

— Мы, — говорят, — сконцентрировали материал и не нашли ни загиба ни уклона. Единогласно постановили допустить тебя к товарищу Сталину.

Как увидел Сталин и спрашивает: — Тебе что?

А Иван: — Так и так. Хочу тебе генеральному вождю службу сослужить.

— Какую такую службу?

— А что скажешь, то и сделаю.

Подумал, подумал Сталин и говорит: — Убей мне Троцкого.

Эва! Да как же это, ежели он за границей?

Ну и ты ступай за границу.

Да как же это, ежели я немецкого языка не знаю?

— Вот дурак! Ну да ладно. Я тебе Эдмунта Эдмунтовича в помощь дам; он на всех языках говорит. Только помни: сделаешь — назначу секретарем губпрофсовета, а не сделаешь — голову напроочь.

Осклабился Иван: — Пугаешь! Это не царское время, чтобы головы рубить.

Поехал Иван с Эдмунтом Эдмунтовичем за границу. Эдмунт Эдмунтович складный такой и брюки у него разглажены по-европейски. На Ивана глядеть не хочет. Зачем, — говорит, — поставили меня в такое унижение? Раньше ездил с товарищами высокой квалификации, а тут к дураку приставили. Показал он Ивану фигу и говорит: — Не вздумай брать в глу-

пую башку, будто я твой подручный. У меня секретное задание. Я знаешь!..

Приехали в Берлин. Где тут Троцкий? А им по-немецки отвечают: Троцкого нет. Уехал во Францию. Они — в Париж.

В Париже, вуле-муле, кома сава, парле-франсе, а Троцкого и в помине нет. Что делать?

Вот и решил Иван: Убью сына его — Андрея Седых.

— Дурак! — сказал Эдмунт Эдмунтович, — сиди и жди, а я схожу на Пигаль; там мамзель такая, интернациональная шпионка — все знает.

Три дня пропадал. На четвертый, как архангел явился, чуть не голышем. Иван к нему: Ну, что узнал? А он — ни слова, бух в кровать, да еще два дня без просыпу. А когда подрал глаза — кнопку нажал.

— Сейчас же, — говорит, — чтобы все новенькое мне было!

И тотчас торговцев набежало со всех торгсинов. Одели Эдмунта Эдмунтовича, как лучшего стахановца. И мыла ему и одеколону предлагают.

И горько так стало Ивану. Вот, ведь, бывают же такие! Все им, как по щучьему велению. А я всю жизнь в опорках, да в обносках...

Эдмунт Эдмунтович стоит перед зеркалом, пиджачек расправляет, ухмыляется.

— Мне, — говорит, это полагается на баб, да на кабаки...

Хотел Иван спросить, не полагается ли ему тоже, да постеснялся.

А девка та, на Пигале, всю секретную тайну выболтала. Троцкого во Франции три года, как нет. Живет на морях, да на океанах. Сядет в Париже на пароход, да в Лондон; там сдаст багаж на хранение, а сам в Чикаго; оттуда в Буэнос-Айрес. И везде у него свои люди, везде базы. Приедет, к примеру, в Сан-Франциско, а ему троцкисты говорят: — Нет Лев Давыдович, вам здесь нельзя, поезжайте в Осло.

А все оттого, что стало известно, будто Сталин разослал своих снайперов по иностранным городам, чтобы стреляли в Троцкого.

Литвинов, запротестовал: — Ты мне всю мировую дипломатию портишь.

А Сталин ему: — Молчи, нето сам в уклоне будешь!

Да только снайперы ничего не могут поделывать. Не успеет пройти слух, что вот, мол, Троцкий прибыл, — хватъ за ружье, а он уж на другом пароходе уплыл. Вот Сталин и придумал подослать к нему надежного человека.

Возгордился Иван. То-то! Вся Европа обо мне знает!..

И решил он купить подводную лодку, чтобы корабль потопить, на котором Троцкий ездит. А Эдмунт Эдмунтович говорит: — подожди, сходим, прежде, к генералу.

Генерал то был свой, русский — эмигрантская сволочь. Сидел в ихнем штабу, а нам служил. Все знал. Как пришли к нему, так он сразу же, раз-два и отпрапортовал: дескать, его высокопревосходительство господин народный комиссар Лев Давыдович Троцкий на морях больше не проживают-с, а живут-с они при десятой и двадцатой параллели в некотором заморском царстве, в мексиканском государстве.

Как закричит на него Иван: — Ах ты подлюга! Нам служить, а Троцкого, гада этакого, высоким превосходительством называть! Да я тебя завтра же со шпионской должности сниму!

Эдмунт Эдмунтович толкает в бок, а сам перед генералом извиняется. Простите, дескать, что с него взять? Как был хам, так и остался...

А генерал — хоть бы что.

— Не извольте беспокоиться. Мосье — прост и нашему обхождению не обучен. И обратно же, мосье не знает, что если, к примеру, король — детронизе, то все равно, каждый порядочный человек обязан его вашим величеством называть. Так и со всяким чином.

— Ну, ладно, — согласился Иван — сыпь дальше!

А дальше генерал поведал, что Мексиканское государство неприступное. Мошкары и всякого гнуса столько, что свету не видно; под рубашку забирается. Да есть там жучок такой, что под кожу может заползти и люди оттого с ума сходят. Смотрит Иван, а на Эдмунте Эдмунтовиче лица нет.

— Не извольте беспокоиться, — говорит генерал, — **ни-**какая муха вас не укусит. Я то на что? Как приедете в Мексику, так по левую руку каза дель Пуэрто будет. Стукните и выйдет Дон сеньер Мигуэль-Иглезио-де-лос Эскападос. Ну, вы ему только скажите, что приехали от меня и он уже будет знать, что дальше.

* * *

Вот сели на Норманский пароход и плывут. И напала тут тоска на Ивана.

— Господи! Да неужто по морю еду?.. Маменька родная!.. — И запил. Пьет и пьет, а как выйдет, посмотрит на море — и в слезы... Капитан ума не приложит, чем бы развеселить Ивана. Девоч подсылал. Только Иван морально осудил это. Не поддадимся бытовому разложению!

Наконец, приехали в Мексику. Видят каза дель Пуэрто. Сказали секретный пароль, дверь и открылась. А в казе — Дон Мигуэль-Иглезио-де лос Эскападос.

— Это вы, — говорит, — приехали убивать Троцкого?

— Мы.

— Ну, а я его доверенное лицо.

Посмотрел тут Иван на Эдмунта Эдмунтовича, а тот: — Ша! Молчи! Его доверенный, а наш передоверенный. Понял?

— Не хотите ли, дорогие камарадос, отдохнуть после дороги, посмотреть бой быков? Тоже бабы у нас хорошие, нигде таких нет. Сегодня же приведу.

Эдмунт Эдмунтович, как деклассированный элемент, сразу же в идейные шатания пустился, но Иван заклеил его позором.

— Вам к Троцкому нельзя ехать по железной дороге, — сказал Дон Мигуэль. — Надо итти лесом и болотом, чтобы он поверил, что вы бежали из-под власти Третьего Интернационала. На вас одёжа хорошая.

Да рассказал, где живет Троцкий. А живет во дворце. Дворец что крепость: с одной стороны река, с другой джунгля, с третьей болото и в нем крокодилы живут, а с четвертой такая дрянь, что ни пройти, ни проехать. А вокруг крепости ковбои скачут и из револьверов стреляют. На стенах пушки,

пулеметы и всякого запаса довольно. А дальше двор; там стоит ленинская гвардия, а в доме — стопроцентные троцкисты с ручными бомбами. В комнатах — секретари Четвертого Интернационала. Горой стоят за Троцкого. А сам он каждый вечер дозором ходит. Смотрит всё ли в порядке. Чужому человеку никак нельзя пройти, сразу же во всей крепости электрические звонки начинают звонить, а на крышах сирены. И спит Троцкий не в опочивальне, там он только волосы кладет на подушку, да клочок шерсти, вроде как бы бородку, а сам ложится в чулане под кроватью. Закручинился Иван: — где уж нам против такой хитрости?.. — А Дон Мигуэль успокаивает, говорит: — Не беда! Вы люди рабоче-крестьянские, а он таким верит.

Пошли Иван с Эдмунтом Эдмунтовичем через лес. И натерпелись же!.. Лес то не такой, как у нас, березки или осины в глаза не увидишь — все баобабы, да лианы, да чертовщина такая, что свету Божьего не видно. Иван даже побаиваться стал, в таких лесах кикиморы да паскуды ходят. Только и виду не показал, все «вперед», да «вперед»!

Эдмунт Эдмунтович по самую шею в болото провалился; Иван его за волосы вытаскивал. Раз их крокодил чуть не съел. Эдмунт Эдмунтович с той поры, на ночь не ложился на земле, а влезал на дерево. Иван — ну смеяться, а он ему: — Дурак! Ты географии не читал. Есть такое племя «Ньям-ньям», которое на деревьях спит.

Храпит, бывало Иван под деревом, а Эдмунт Эдмунтович наверху целую ночь слезы льет. Какое же спанье на суку? Так до рассвета глаз и не сомкнет. Злой стал. Только, раз, взошло солнце, а Эдмунту Эдмунтовичу прямо в лицо смотрит такой удавище, что как был, так и свалился с сука.

— Чтоб ты лопнул дурак со своей службой! Надо было напрашиваться?

А Иван давай оправдываться: кто же бы тогда Троцкого убил?

Без тебя бы сделалось. А удобств было бы больше. Ездили бы по городам, да останавливались в шикарных ресто-

ранах. А сколько бы наградных, суточных, прогонных и специальных фондов!..

Тут у Ивана сердце закипело. — Ах ты бюрократ присосавшийся! Вам бы сволочам кровь нашу пить, а не беречь рабочую копейку!

Долго ли, коротко ли, а взбунтовался Эдмунт Эдмунтович. Брюки на нем клочьями, рубашка тоже, но пока были целы манишка с галстуком — мужественно шел вперед. А тут, как на зло, какая-то колючая дрянь зацепилась за манишку, да как рванет! И пал духом Эдмунт Эдмунтович, и руки опустил и сел на пенек.

— Не пойду дальше, вертай назад!

Уговаривал его Иван, говорил про решения партийных съездов, попрекал коммунистической этикой — ничего не действует. «Вертай», да и только! Тогда, заклеивши он его позором и пошел один. Только и версты не прошел, слышит — бежит: — «Подожди! Подожди!» То-то! И пошли опять вместе.

Но уже кончился лес и встало на поляне троцкистское кастелло. Как есть Кремль, только что на здешний манер.

* * *

Увидели их кабальерос, прискакали и окружили. Все в шляпах и шпоры медные. Повели в крепость, а там ленинская гвардия обступила. Спрашивают по-мексикански, а Эдмунт Эдмунтович виду не подает, что понимает, качает головой, дескать, никс феритее. Попробовали все языки — ни на одном не понимает. Тогда камерада Томсона позвали — он в Америке славик департамент окончил.

— Хелло! — сказал камерад Томсон и крепко задумался. Думал, думал, а потом радостно так:

— Здравствуйте! Как поживаете? Есть у вас карандаш?

Обрадовался Иван русскому слову, расплылся. Благодарит. Живем, дескать, ничего, слава Богу, а карандашей у нас нет, сами видите — без порток пришли. Тут камерад Томсон доложил своим, что это доподлинно русские. А сам опять задумался и шепчет, как полоумный:

Чья это книга? Это моя книга.

— Чей это карандаш? Это мой карандаш.

Чье это перо? Это мое перо.

И вдруг опять стал весел:

— Ви шьол в железный дорога?

— Нет, какое там!

— Ви шьол автомобилем или лошадем?

Иван заверил, что из сталинского деспотизма ни автомобилем, ни лошадем не выедешь? Перли на своих на двоих. Видите, как исцарапаны, да искусаны.

Камерад Томсон опять доложил: двое своих русских искусали Ивана, когда он бежал от деспотизма Сталина.

Так прошли Иван с Эдмунтом Эдмунтовичем через ленинскую гвардию и попали к троцкистам. У троцкистов свои переводчики. Спрашивают: в чем сущность троцкизма? А Иван этак с усмешкой: известно, в перманентной революции. Да еще, профсоюзы надо перетряхнуть. Подумали троцкисты и решили, что товарищ хоть и отстал немного, но в общем правильно разбирается в коммунизме. Решили отправить к секретарям. А у секретарей своего переводчика не оказалось.

— Пошлем прямо к вождю.

Конечно, вынули наганы и приняли все предосторожности.

А Троцкий, как увидел Ивана, залился слезами и целый час проплакал у себя в кабинете. Шутка ли, столько лет русского лица не видеть! Хотя и глупое, а все-таки свое, родное.

На другой день призвал Ивана и давай расспрашивать, что нового в Москве — открыт ли ГУМ и высок ли сознательный уровень членов партии?

Иван отвечал, что про Москву ничего не знает, потому он из Калуги, а в Калуге уровень высокий — все до одного троцкисты, только скрываются и боятся сознаться.

Троцкий велел это записать.

— Ну, а мои заслуги перед революцией помнят ли?

— Беспременно помнят. День и ночь Бога молят, а что в газетах гадом называют, так никто этому не верит. Говорят — сталинская пропаганда. Вот хоть бы калужане: прислали меня сказать, что ежели приедете, да высадитесь в Ростове, так весь народ, как один на вашу сторону перейдет.

Опять велел Троцкий записать.

— Ну, а теперь, товарищ, скажите честно, сознательно ли вы приехали? Хотите ли поддерживать четвертый интернационал или вы посланы, с целью покушения?

— Да что вы, Лев Давыдович!.. Да я!.. Госпади!.. Да душу за вас отдам!..

И велел тут Троцкий дать Ивану общественную нагрузку. Собрались секретари четвертого интернационала, постановили: для испытания, приставить Ивана дрова носить на кухню.

— Вот и хорошо, — сказал Эдмунт Эдмунтович, — как будет он обход делать, заглянет на кухню, тут его поленом и огреть.

Начал Иван дрова носить. Работа не тяжелая, никто не подгоняет, досугу много. Принесет вязанку, да целый час с кухаркой и точит лясы, а та его угостит каким-нибудь явством с перцами, да винца поднесет. Лучшей работы у него в жизни не бывало. Спал тут же в каморке, возле кухни. Раз, как-то идет Троцкий обходом — хватъ его за ногу. Ты, говорит, что же поленом меня не бьешь? А сам усмехается в троцкистскую бородашку...

А Иван уже давно раздумывал, чем ему полюбился Троцкий? Думал, думал и решил подсознательно: — Пенснэ. Ста-родавнее. Таких теперь не носят. Только и было у покойного учителя Якова Филипповича, да у батюшки отца Сергея. Учитель часто драл Ивана за вихор и говорил, что ничего из него не выйдет. Уж при советской власти это было: проснулся раз Иван в слезах; приснилось будто Яков Филиппович оттащал его за вихор. Все ходил и вздыхал: хоть бы еще раз такой сон!

Осмелел, однажды, Иван и спрашивает: — А что Лев Давыдыч, вот ведь всем известно, что покушается на тебя Сталин, убить хочет; что бы да тебе подослать самого его убить?

Посмотрел на него Троцкий величественно и говорит: — Это против моих убеждений. Я сторонник массового коммунистического террора, а подлыми фашистскими убийствами пренебрегаю.

С этих пор и начал Иван понимать. Чем больше работает на кухне, тем яснее убеждается, что Троцкий прав.

Вот и говорит, однажды, вождь: — Я тебе Иван дам повышение. Пора тебе на идейную работу.

— Да неужто ты мне доверяешь?

— А то как же?

Тут Иван, как стоял, так и повалился в ноги.

— Батюшка! Лев Давыдыч, прости окаянного! Ведь я прислан, чтобы убить тебя. От самого Сталина...

А Троцкий смеется: — Встань Ваня! Я ведь знал с самого начала. Мне Эдмунт Эдмунтович всё сказал.

Вылупил глаза Иван: — Ах сволочь этакая!.. Морду ему набить!..

— Известный гад! — согласился Троцкий. — Только не в том дело; важно, что ты не дал мне разувериться в твоём рабоче-крестьянском нутре.

И прослезился.

— Подумай, каково бы мне было, отдавши всю свою жизнь за трудовой люд, увидеть тебя беспринципным и несознательным элементом! Но я видел, как борется в тебе революционная линия с буржуазной ограниченностью и верил, что победит. Спасибо тебе!

Тут они обнялись и зарыдали.

И стал Иван, с тех пор, душа в душу жить с Троцким. Бывало уже петухи пропоют, а они всё сидят на кухне, толкуют.

— Думаешь мне сладко живется? Мало что со Сталиным борюсь, все эти секретари — оппортунистическая сволочь; так и смотрят, как бы пятый интернационал завести. Ох, как трудно перманентную революцию в жизнь проводить! А главное, нет рабоче-крестьянских кадров. Один только ты у меня.

Задумается бывало Троцкий, а Иван глаз от него не может оторвать. — Ну и голова!

А Эдмунт Эдмунтович все примечает. Раз, как-то, оглянулся туда-сюда, никого нет, да к Ивану. — Что ж, ты, — говорит, — уклонистом становишься? Задание не выполняешь?

А Иван ему: — Я переменял ориентацию.

Только что сказал — зазвонили звонки, завизжали сирены, шут такой, что голова кругом. Троцкого убили.

А кто убил? Кухарка вздумала на Ивана грешить, да он ей такое сказал, что она засохла и хоть бы хны.

А Эдмунт Эдмунтович ходит веселый, ручки потирает.

— Ох и будет же тебе! Допустил, что Троцкого другие убили!..

И пришел из Москвы приказ Ивану домой ехать.

Сели на пароход. А Эдмунт Эдмунтович не унимается.

— Что достукался? Так тебе и надо! Теперь тебя беспрерывно расстреляют.

Капитан сочувствует. Позвал к себе на мостик и говорит. — Хочешь я тебя в трюм спрячу? Никто и не узнает. — Но Иван отказался.

— Мне пламенному революционеру не к лицу в трюме сидеть.

Приехали в Европу, а там еще хуже — все к Ивану и наперебой спрашивают: — Да неужто ты в самом деле воротишься? Да тебя расстреляют.

А Иван пьет с горя, плачет и все твердит. — Не могу, братцы, должон!.. Это буржуазный князь Курбский не вернулся, а я — сознательный...

И стали Иваном знаменитые профессора интересоваться. — Ты, говорят, феномен. Мы про тебя книгу напишем «Удав и кролик». Пригласили его в университет, студентам показывали.

А Эдмунт Эдмунтович куда-то смылся. Как в воду канул.

Тем временем дошло до фюрера, что в его царстве проездом Иван остановился.

— Что за птица такая, хотел бы я посмотреть?

А Иван в баню сходил. Попарился. Потом говорит: — К попу бы!

А поп белогвардейский. Хочется ему Ивана на правый путь обратить и боится причащать безбожника. — Схожу, говорит, к владыке, как он скажет.

А в эту минуту война началась. Бегут к Ивану люди: —

Н. УЛЬЯНОВ

Тебе, — говорят, — теперь не попасть домой, границу закрыли. Вот тебя и не казнят.

Заплакал Иван. — Прощай родина!

Слышит вдруг музыка, в барабаны бьют. Гитлер идет. Все — руки вверх. Остановился Гитлер и спрашивает — Это и есть Иван? — Ему отвечают — Генау зо! — Хочешь, говорит, у меня в эс-эс служить?

А Иван и не знает, что такое эс-эс. — Я, говорит, должен сначала познакомиться с идейным лицом эсэсовского движения.

— Ну знакомься дурак! — И пошел.

Только что хотел Иван у прохожих спросить про эс-эс, как слышит, опять барабаны. Гестапо шагает. Складно так. Посмотрел Иван и глазам не верит. Впереди Эдмунт Эдмунтович в железном шлеме и при сабле. Как увидел Ивана — Хальт! — И пальцем на него.

— Взять, говорит, этого еврейского прихвостня!

И повели Ивана в Дахау.

Н. Ульянов

*

«Обводит день теперешний глазами анемон...»

Б. П а с т е р н а к.

В высоком доме с балконами
Расцвели глаза анемонами...
Они там расцвели не случайно —
Этот путь был намечен тайно,
В землю Моцарта, Баха и Шумана
Он привел нас, как будто надуманно.
Чьи-то крылья нас охраняли
Когда город мы свой покидали,
Когда гибель, пожар и стужа
Сжимали кольцо всё уже,
А пути, нам кем-то намеченные
Быть могли навсегда пересечены...
Но сквозь все города и дали
Нас долины Рейна давно уже ждали
И решения все предвосхитив
Там сплетались какие-то нити.
И новый узор, ими вышитый,
Ты видишь там, под этой крышею,
Там, где в доме высоком с балконами
Расцвели глаза анемонами.

ДВЕ НАТАШИ

У нашей Наташи-Беттинки
Глазенки всетаки русские,
Хоть говорит она: “esse, trinke”
И брючки носит узкие.
Ее далекой сестрички
(Зовут ее тоже Наташей)
Уже мелькали косички
Над просторами леса и пашен.
Когда-нибудь в быстрой ракете
Она и над нами промчится
И на далекой планете
Отважная приземлится!

Одной из Кореи предки,
 Другой с берегов Невы,
 Оттого и глаза ее редкой
 Озерно-речной синевы.

ИСПОВЕДЬ В ПАРИЖЕ

А на Страстной неделе ходили на исповедь,
 Грехи перечислив душу очистить.
 Стояли, молились, крестились истово,
 На гимназистов поглядывали исподволь...
 Сегодня Страстная среда в Париже...
 В метро коридорами многометровыми...
 А дом, куда я “на исповедь” — все ближе...
 У киоска с тюльпанами и сиренью лиловою
 Покупаю журнал: на первой странице
 Танцор, летящий Икаром вверх по диагонали;
 На него “навалились”: вилла под Ниццей
 И огромный автомобиль, вместо орденов и медалей!
 А он татарин, беспокойный и дикий,
 В танце обуздывающий горячий свой норов.
 Плененный Пан, беспокойный, двуликий
 И бегающий от толпы дерзких репортеров.
 Сидит Дюма, голубями усаженный,
 Смеется — с ними ему не скучно;
 Вокруг мушкетеры с усами сажеными.
 (Подмазать губы, повторить слова заученные:
 “Сестра... переписка... Ленинград... приглашение...
 Мой дядя... пианистка... живу в Германии...
 Служу русской музыки прославлению...
 Играю Шостаковича и Рахманинова...”)
 А тот, безразличный, под портретом Ленина,
 (С которым “мой дядя в Казани” и прочее)
 Такой прозаический! И я без волнения
 И без Рахманинова...

“По месту жительства”

и

Точка!

Нина Юрлова

ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

* *

Как шуршащий ворох разгребая
Боком скачет сойка голубая,
Как блестящ глазок и насторожен,
Я хочу, чтоб ты увидел тоже!

Как идет весна лиловым громом,
Плещет ливнем по лесным хоромам,
Бьет ручьем о каменное ложе, —
Я хочу, чтоб ты услышал тоже!

Но живем с тобою параллельно —
Жизнь твоя и жизнь моя — отдельно.
Только там, в заоблачном пределе,
Говорят, сойдутся параллели.

Снова, одинокая,
Провожая я, —
Отплывает легкая
Лодочка твоя.

И одна на пристани
Я слежу за ней —
Я смотрю все пристальней,
Вижу все мутней.

Не слышны уключины,
Тих и яркок плес...
А глаза приучены
Щуриться без слез.

Так светла излучина
Твоего пути!..
...А душа приучена
Говорить прости.

* *

Дай руку из небытия,
Вернись в наш плотный, громкий день,
Ты, радость прошлая моя,
Без света свет, без тени тень.

Склонись к бессилью моему,
Мой ропот злой останови, —
И вновь смиренно подниму
Я бремя горя и любви.

* *

Степной бугор над бухтой синей
И высоты просторный свет,
И запах моря и полыни,
И мне, должно-быть, восемь лет.

Здесь солнце крепче, ветер чище
И песня тайная слышней, —
Сейчас она меня отыщет,
И больше не расстанусь с ней.

ДИАЛОГ С ЖИЗНЬЮ

С миною довольной
Мучит, как всегда.
Спрашивает “Больно?”
Отвечаю: “Да”.
“Очень больно?” — “Очень”.
“Что ж, погасим свет?”
“Отвечай же — хочешь?”
Отвечаю: “Нет”.

Лидия Алексеева

ВЕЩЕСТВЕННОСТЬ АННЕНСКОГО

Историки русской литературы любят причислять писателей и поэтов к какому-либо определенному идейному или эстетическому течению. Иннокентия Анненского после его смерти записали в символисты, что по существу конечно правильно. Однако, такая классификация заслоняет многое и в характере поэзии Анненского и в его личных отношениях с другими поэтами его поколения. В литературно-критических работах самого Анненского, символизм — это очень обширное и ёмкое понятие: символистами он считал не только Достоевского, но даже и Максима Горького. В своей поэзии он противопоставлял себя русским символистам. В очень показательном стихотворении «Другому» Анненский пишет о русском символизме с сочувствием, даже с восхищением, но подчеркивает, что его собственная поэзия как бы полярна поэзии символистов. Личное его отношение к отдельным поэтам-символистам было сложное: благожелательное, но слегка насмешливое к Бальмонту, приязненное к Вячеславу Иванову, резко отрицательное к Мережковскому и к Блоку.

Кроме того, в зрелой поэзии Анненского последнего периода были черты оказавшиеся близкими не символизму, а как раз течениям от него отталкивавшимся: акмеизму и кубо-футуризму. Ахматова считала Анненского своим литературным учителем и это отношение к нему пронесла сквозь весь свой долгий поэтический путь, от чтения «Кипарисового ларца» в гранках в год смерти Анненского до посвященного его памяти стихотворения, написанного уже после второй мировой войны. А с другой стороны Анненский оказался интересным и нужным для молодого Владимира Маяковского, который, по воспоминаниям К. Чуковского, «очень внимательно штудировал» и «беспрерывно декламировал сам для себя» стихи Анненского. Запись эта относится к 1915 г.; о том же свидетельствует и упоминание об Анненском в стихотворении Маяковского «Надоело» (1916 г.). И действительно, «футуристическая» сторона

поэзии Анненского сказывается задолго до появления самого футуризма в таких стихотворениях как «Колокольчики» или «Кэк-уок на цимбалах», с их подчеркнутым вниманием к словесной ткани, к фонетической стороне слова, к четкому показу словесной фактуры — явно в противовес завуалированному, туманно-волшебному обращению со словом таких поэтов как Блок или Вячеслав Иванов. Подобные «футуристические» стихотворения Анненского считаются шуточными, хотя их темы почти неизменно трагичны.

Поэзия Анненского, предвосхищающая почти все главные течения русской поэзии первой половины 20-го века, сформировалась в 19-ом столетии. Когда говорят, что Анненский — символист, обычно забывают насколько он старше главных поэтов Серебряного Века. Анненский по возрасту старше Надсона; как поэт он сверстник Вл. Соловьева, Минского, даже Фофанова, тоже когда-то по недоразумению причисленного к предтечам символизма.

Начал писать стихи Анненский в 1875 году. Сейчас довольно трудно представить себе эту русскую поэтическую культуру 70-ых и 80-ых годов, окружавшую молодого Анненского, когда признанными мэтрами считались Апухтин и Надсон, когда Н. Добролюбов принимался всерьез как поэт и высоко ставилась Чюмина. Нужно перелистать какой-нибудь «Чтец-Декламатор» начала 20-го столетия, чтобы действительно почувствовать всю эту лже-патетику и лже-поэзию. И напиши Анненский «Тихие песни» или «Кипарисовый ларец» в антипоэтические 80-е годы, была бы понятна акмеистически-партийная оценка его Мандельштамом, исторически неприемлемая: «Все спали, когда Анненский бодрствовал. Храпели бытовики» и т. д.

Русские поэты, писавшие об Анненском, любили выделять какой-нибудь отдельный момент в его творчестве и как-то проходили мимо его поэтической сущности. Владислав Ходасевич в своей статье об Анненском сопоставил его с толстовским Иваном Ильичем — сопоставление очень интересное, но бьющее мимо цели из-за своей узости. Конечно, тема смерти, — одна из основных тем Анненского, но сводить всю его поэзию к бесконечным вариациям на одну эту тему нельзя. Ведь кроме приведенных Ходасевичем цитат тот же самый Анненский написал:

Я жизни не боюсь. Своим бодрящим шумом
Она дает гореть, дает светиться думам.

Гумилев в стихотворении «Памяти Анненского» нашел более убедительные и точные слова, чтобы передать характер поэзии Анненского, чем в своем критическом отзыве о «Кипарисовом ларце» (см. «Письма о русской поэзии»), во многом верном, но слишком уж сжатом. Можно еще указать на пронизательное сравнение Анненского с Брюсовым в длинной и злой статье Марины Цветаевой о последнем. Говоря об общественно-литературной деятельности Брюсова, Цветаева приводит цитату (повидимому из письма к ней Пастернака): «Первым был Брюсов, Анненский не был первым», и делает из этой цитаты собственный вывод: «единственный не бывает первым».

Да, конечно, Анненский был в своем роде единственным поэтом. Да, конечно, он был в первую очередь символистом — может быть самым настоящим во всей русской поэзии. Если признать в этом течении приоритет поэзии французской, то по глубине проникновения в самую сущность французского символизма это А нужно поставить перед всеми Б русского символизма; если не хронологически (как символист, Анненский себя по настоящему проявил уже в 20-ом столетии, после Мережковского, Брюсова, Бальмонта, Сологуба), то по признаку подлинности, по способности откликаться на важнейшие явления.

Французский символизм воспринимался в России одно-сторонне: шли от Верлена (не забывая парнасцев), потом увлеклись Метерлинком и Верхарном, которые сейчас кажутся гораздо менее интересными. Крупнейших поэтов чуть не проглядели: Бодлэра отразил больше других Сологуб, хотя и очень по-своему; о Маллармэ писали с уважением, но знали его мало; а на Рэмбо в русской поэзии вообще мало реагировали, чуть ли не до Поплавского.

Именно Анненский приобщил к себе прозу Гюисманса и поэзию Бодлэра и Маллармэ как никто в России, и поэтому непонятны слова Мандельштама о неспособности Анненского воспринимать влияния. Влияние, как таковое, не служит помехой оригинальности и если в переводах Анненского из Маллармэ мы иногда не узнаем подлинника, то в оригинальных стихах Анненского глубокое знание и Маллармэ и Бодлэра очевидно.

Французским символизмом не исчерпывается литератур-

ная родословная Анненского. Разбираться в истоках и влияниях поэзии Анненского так же легко, увлекательно и, в конце концов, бесплодно, как выяснять источники той или иной поэтической манеры Пушкина. Анненский — поэт большого диапазона, и его стиль (или его стили) подчас далеко уходит вперед и назад от его же приемов 1900-х годов, когда писался «Кипарисовый ларец». Даже 80-ые годы, формировавшие поэта, иногда дают себя знать в этой книге.

Позабудь соловья на душистых цветах
Только утро любви не забудь.

Это не так плохо, как кажется на первый взгляд, но все же эти стихи несомненно напоминают Надсона. Мог их написать и Аполлон Майков (поэзии которого Анненский в свое время посвятил серьезную статью), и тогда на эти слова непременно бы появился романс Чайковского. Однако, стоит перевернуть всего одну страницу в собрании стихотворений Анненского — и перед нами «Вербная неделя», изумительный, редкий в русской поэзии образчик настоящего сюрреализма.

В желтый сумрак мертвого апреля,
Прощавшись с звездною пустыней
Уплывала Вербная неделя
На последней, на погиблой снежной льдине;
Уплывала в дымах благовонных
В замираньи звонов похоронных
От икон с глубокими глазами
И от Лазарей, забытых в черной яме.
Стал высоко белый месяц на ущербе,
И за всех, чья жизнь невозвратима,
Плыли жаркие слезы по вербе
На румяные щеки херувима.

Исключая несколько блоковскую концовку, ничего похожего на это стихотворение с его бодлэровской персонификацией (столь непохожей ни на аллегорические «олицетворенности» поэзии русского барокко 18-го века, ни на тютчевскую борьбу зимы с весной) в русской поэзии не было, вплоть до поздних сюрреалистических стихов Мандельштама (например о «шестипалой неправде») и некоторых вещей Поплавского.

Символизм Анненского идет в равной мере и из литера-

туры и из жизни. «В награду (за унижения, разочарования) жизнь оставляет ему несколько символов» пишет Анненский о поэте в своей «Второй книге отражений». А в удручающей, но точно зафиксированной обстановке одного из стихотворений «Кипарисового ларца» деревянная кукла в волнах водопада становится символом человеческой жизни, и вдобавок обогащает поэта новым понятием **жалости к вещи**. В критических статьях поэта, не менее чем в «Кипарисовом ларце» символистическая мечта и жизнь постоянно переплетаются, причем Анненский жизнь (а не смерть, как считает Ходасевич) ни на момент не упускает из виду. В этом — одна из главных отличительных черт его поэзии, и в этом состоит ее особая прелесть.

Отрыв искусства от живой жизни, поэт как теург и мифотворец — эти концепции, столь типичные для русских символистов, Анненскому чужды. Жизненные, конкретные впечатления во всем их разнообразии нужны поэту для самого возникновения поэзии. Признание поздней Ахматовой

Когда б вы знали, из какого сора
Стадут стихи, не ведая стыда.

задолго предвосхищено ее учителем Анненским в его статье о драме Горького «На дне», где мы читаем: «...поэзия, эта живучая тварь, которая не разбирает ни стойла, ни пойла, ни старых, ни малых, ни крестин, ни похорон. Формы ее бесконечно разнообразны». Никто из русских символистов (разве что Федор Сологуб) не осмелился бы на такое резкое и грубое подчеркивание жизненной подоплеки всякого искусства. Дальше Анненского в этом направлении пошел только Владимир Маяковский, обозвавший поэзию «бабу капризную», «пресловучейшей штуковиной» — но ведь на то он и Маяковский.

Бытовые подробности, как и подчас бытовые словечки, играют в стихах Анненского огромную роль. Он, как никто, умеет передать, сообщить, отразить настроение, состояние, душевную атмосферу человека, именно при помощи хорошо схваченной бытовой детали, поданной с предельной четкостью, осязательностью; а иногда такая деталь становится у него как бы и самоценною. Только Анненский мог бы определить «Преступление и наказание» как «роман знойного запаха известки и олифы, но еще более это роман **безобразных давящих комнат**» (курсив Анненского). Передавая в критической статье

содержание лермонтовского «Выхожу один я на дорогу» в образах довольно близких к подлиннику, Анненский характерно добавляет: «Задерживаю шаг на щебне шоссе». Отсюда путь не только к акмеистам, но и к поэзии Пастернака.

Не претендуя на исчерпывающую полную, попытаемся проследить эту вещественность в некоторых темах «Кипарисового ларца». Настоящих женщин в этой книге нет (если исключить quasi-народные стилизации, напр. «Милая», и буржуазно-житейские сцены à la Чехов). Однако, сквозь всю книгу проходит символическая женская фигура: женщина — мечта — жизнь, а может быть заодно и смерть. Прочитируем опять «Вторую книгу отражений»: «Красота для поэта есть или красота женщины, или красота, как женщина». При всей ее бесплотности, дана эта женщина зрительно. У блоковской Незнакомки «девичий стан шелками схваченный», кольца и страусовые перья, но лица ее себе вообразить нельзя. А у Анненского, не только «нежно-зыбкий стан», но и «неподвижные глаза», «белый веночек в беспорядке косы», «сама — вся дрожащая встань», и особенно впечатляющий «влажный блеск малиновых улыбок»... — и мы уже ее узнали. Мы ее видели на портретах художников конца 19-го века — Гюстава Морё, Франца фон Штука, Врубеля, с ее таинственным, действительно неподвижным взглядом и темной шевелюрой. К ней, конечно, близка The Blessed Damozel картин и стихов Данте Габриэля Россетти. Ее более отдаленные родственницы — бесстрастные негрятки Бодлера и Маллармэ.

У Анненского есть определенная связь с изобразительным искусством его эпохи. Его *interieur*'ы вызывают ассоциации с перезрелым, увлекательно-банальным стилем Art Nouveau (оно же Jugendstil). О близости к этому стилю говорят и такие заглавия как «Струя резеды в темном вагоне» или «Буддийская месса в Париже». Поэт добивается точных оттенков красок со взыскательностью пост-импрессиониста. Если верить подсчетам Амедее Озенфана, любимыми цветами французских поэтов, романтиков и символистов были розовый и синий. Анненский часто пользуется двумя цветами, имевшими самый малый спрос у французских поэтов: желтым и разными оттенками лилового (18% и 7% по Озенфану). Желтизна у Анненского на каждом шагу (вспомним «Желтую спальню» Ван Гога), и она имеет большую частью удручающие эмоциональные ассоциации: «желтый сумрак мертвого апреля», «желтые мокрые доски»,

желтая вода которой поят кого-то с креста в киевских пещерах, «желтый пар петербургской зимы», «желтая и скользкая дача»... Лиловость, цвет «Аметистов» (заглавие двух стихотворений Анненского) и «Сиреновой мглы», у него менее мрачна, скорее мечтательна.*

Имеется связь и с живописью японской, воспринятой через западно-европейское преломление. Такие стихотворения как «Неживая» и «О-форт» явно напоминают модную тогда графику с японским уклоном.

Музыка, концертная или камерная, играет в поэзии Анненского ограниченную роль. Правда, он описывает игру на фортепьяно и на скрипке, вокальный концерт, симфонический оркестр. Но само понятие музыки, там где оно фигурирует (напр. в стихотворениях «Смычек и струны» или «Он и я»), часто умышленно смешивается с другими понятиями — счастья, поэзии, предчувствия надвигающихся событий, и т. д. Тут Анненскому по пути с такими поэтами как Блок и Белый, в стихах и статьях которых термин «музыка» часто имеет особый мистический смысл, мало относящийся к музыкальному искусству как таковому (смещение понятий, которым, кстати, изредка по сей день иногда злоупотребляют некоторые эмигрантские критики, к символизму отношения отнюдь не имеющие). Лучшее понятие об этом ницшеанском термине дает сам Анненский в статье о «Власти тьмы» Толстого, там где он доказывает анти-музыкальную природу Толстого: «Но я понимаю здесь под музыкой нечто другое: я считаю музыку самым непосредственным и самым чарующим **уверением** человека в возможности для него счастья, несоразмерного не только с действительностью, но и с самой смелой фантазией...» Конечно, это не то же самое, что Блок подразумевал под «Духом музыки», но все же это ближе к блоковскому символу — метафоре, чем к какому бы то ни было реальному музыкальному искусству.

С легкой руки Ницше, из новейших композиторов Вагнер

* Уже после того как была написана эта статья, вышла книга В. М. Сечкарева об Анненском, на английском языке (Vsevolod Setchkarev, «Studies in the Life and Works of Innokentij Annenskij», The Hague, 1963) где есть интересная глава о колоризме Анненского, с подробным разбором упоминаемых цветов и оттенков и указанием процентных соотношений. С. К.

казался самым близким русским поэтам начала века. Блок считал нужным ходить на представления «Кольца Нибелунгов» и скучать на них. Разглагольствования о «Тристане» в романе Кузмина «Крылья» сейчас трудно читать без улыбки. Превосходное описание симфонического концерта в поэме Андрея Белого «Первое свидание» явно изображает исполнение какой-то вагнеровской партитуры. В одном из своих самых типичных стихотворений («О нет, не стан»), Анненский тоже упоминает «Парсифаля», но тут-же, как бы прозрением угадывает, что вальс звенящий в «банально-пестрой зале» ближе к его теме, к выражению «муки по где-то там сияющей красе», чем оперная музыка Вагнера, которую он душою призывает.

Настоящая музыка в поэзии Анненского, присутствие которой дает этой поэзии совсем новое и особое звучание, гораздо интереснее и Вагнера и ницшеанской мистической музыки. Это — конкретная звуковая или скорее шумовая инструментовка, порой напоминающая эксперименты Пьера Шеффера и Пьера Анри с *Musique concrète* в 1950 годы, когда в качестве музыкального материала использовались магнитофонные записи дождя, паровоза и стучащего сердца. В стихах Анненского мы встречаем целый внушительный набор всевозможных колоколов и колокольчиков: «похоронные звоны», «раненная медь», «медный язык истомы похоронной». Затем, вздохи паровоза, замечательно описанный и осознанный треск будильника, которому посвящены два стихотворения; стук бильярдных шаров; шум дождя, деревьев, вокзала; пенье комара; шарманка; шипение маятника, — вся книга наполнена осязательными, рельефными звуками, вплоть до совсем ошеломляющего военно-духового окрестра игравшего стихи поэта:

Вам я шлю стихи мои, когда-то
Их вдали игравшие солдаты!
Только ваши, без четверостиший
Пели трубы горестней и тише...

Все эти шумы предельно выразительны и своими ассоциациями открывают как бы слуховые окна во внутренний мир поэта.

Художественное применение этих бытовых звуков и шумов в поэзии Анненского позволяет сделать сопоставление, которое на первый взгляд может показаться несколько неожиданным, а именно, с одиннадцатой главой романа Джеймса

Джойса «Улисс». Комментатор Джойса, Стюарт Гилберт в своей книге об этом романе дает одиннадцатой главе «Улисса» подзаголовок «Сирены», указывая что данная глава соответствует эпизоду с сиренами в «Одиссее» и что все главные образы и сравнения в этой главе взяты из области музыкального искусства. По существу, конечно, Гилберт прав: в одиннадцатой главе действительно много говорится о концертах, о певцах, об опере. Однако, главное эмоциональное содержание эпизода в баре, описанного в этой главе, — переживания и настроения героя романа Леопольда Блума — передаются не разговорами о музыке, не исполняемой в баре арией Доницетти, не отрывком из оперетты «Флорадора», который напевает официантка Лидия Дус. Главную эмоциональную нагрузку этой главы несут шумы: звоночек коляски соперника Блума, который едет на любовное свидание с женой Блума Марион; игра «sonnez-la-cloche», которая состоит в том, что официантки щелкают своими резиновыми подвязками для развлечения посетителей бара (и название этой игры и ее эротическая сущность напоминают Блуму о поведении жены); в конце главы безнадежность и отчаяние героя хорошо передается описанием назойливого треньканья фортепьянного настройщика. Глава переполнена музыкой и разговорами о ней, но решающую роль в ней играют, как и в поэзии Анненского, не музыкальная гармония, а диссонирующие шумы. В заключительных страницах главы, где появляется настройщик, удивляет почти буквальное совпадение со второй половиной стихотворения Анненского «Он и я»:

А я лучей иной звезды
Ищу в сомненьи и тревожно,
Я, как настройщик, все лады
Перебираю осторожно.

Темнеет... Комната пуста,
С трудом я вспоминаю что-то,
И безответна, и чиста,
За нотой умирает нота.

Зрелая поэзия Анненского периода «Кипарисового ларца» вся держится на взаимной игре (то, что по-английски называется *interplay*) конкретной жизни и мечты. Отсюда, несмотря на частые умышленные прозаизмы, особая нарядность и приподнятость этой книги, хорошо укладывающаяся в ту ярко

и разнообразно оперённую эпоху, давшую искусству «Чайку» и «Жар-птицу», «Золотого петушка» и «Серебряного голубя».

Из переплетения жизни и мечты возникает тема, являющаяся их слагаемым — литература. Ей посвящены два характерных стихотворения, затрагивающие как нам кажется, самое центральное в поэтике Анненского: «Другому» и «Мучительный сонет». Повидимому Гумилев и более поздние комментаторы правы, трактуя «Другому» как отображение отношений Анненского к прочим, как-бы «официальным» русским символистам. Экстатичности и разбросанности их поэтики («безумный твой порыв») Анненский противопоставляет точность, чёткость и «строгий карандаш». В своей предельной честности Анненский вынужден ввести в стихотворение свой «лучший сон» — свою любимую древнюю Грецию, вообще мало упоминаемую в его лирике:

Мой лучший сон — за тканью Андромаха.
На голове ее эшафодаж,
И тот прикрыт кокетливо платочком.

Образ Андромахи — Греции за пряжей немедленно и как-бы демонстративно снижается житейскими подробностями («эшафодаж» на голове трагической героини, да еще прикрытый кокетливым платочком), за которыми следует самооправдательное «зато»:

Зато нигде мой строгий карандаш
Не уступал своих созвучий точкам.

Поэтому нужна житейская точность и осязательность, хотя бы для того, чтобы сделать мечту и символ более рельефными. Об этом хорошо сказано в «Мучительном сонете»:

Мне нужен талый снег под желтизной огня,
Сквозь потное стекло светящего устало,
И чтобы прядь волос так близко от меня,
Так близко от меня, развившись, трепетала.

Мне надо дымных туч с померкшей высоты,
Круженья дымных туч, в которых нет былого,
Полузакрытых глаз и музыки мечты,

И музыки мечты, еще не знавшей слова...
О, дай мне только миг, но в жизни, не во сне,
Чтоб мог я стать огнем или сгореть в огне!

В этот выхваченный миг поэту будет дано прозрение, но для этого нужно чтобы жизнь была сфотографирована, как при вспышке магния, с предельной отчетливостью. Именно к жизни вообще, а не только к дождю, брошены поэтом слова:

О нет! Без твоих превращений!
В одно что-нибудь застывай.

Точности и вещественности учились у Анненского лучшие русские поэты после-символистского поколения: Мандельштам, Ходасевич, Цветаева, Пастернак, Маяковский — но в первую очередь, конечно, Анна Ахматова.

Семен Карлинский

*

Есть в русском языке опушки и веснушки,
Речушки, башмачки, девчушки и волнушки
И множество других, таких-же милых, слов.
Я вслушиваться в них, как в музыку, готов.
Веселой нежности полны они и в этой
Веселой нежности — их светлая примета.
И если по-лесе я осенью пройду
И на опушке там волнушки и найду,
Иль повстречаю я девчушку, чьи веснушки
На солнце запестрят и заалеют ушки —
Вдвойне доволен я неожиданной встречей той!
О, русский мой язык, прекрасный спутник мой!
Движениям души неразделимо вторя,
Равно находчив ты и в радости и в горе!
Для горя тоже ты смягчил слова свои:
Могилка, вдовушка, слезинка... — сколько их!
Да что тут говорить, нагроможда строки!
Мы знаем все тебя: просторный и глубокий,
Со всякой ты своей управишься судьбой!
Прекрасный спутник наш — нам хорошо с тобой!

*

Не женским телом, даже не стихом
Измучен был я в этой жизни краткой,
А вечными догадками о том,
Что всё-таки осталось мне загадкой.
Напрасный труд! Но как он был хорош
Мучительным восторгом приближенья!
Казалось: шаг — и ты уже дойдешь
И четкой явью станет навожденье.
Но каждый раз конечно все в провал
Летело, падало — лишь сердце билось,
Пока я наконец не перестал
Вымаливать немыслимую милость.
Но сердце... Сердце даже и теперь
И ждет еще, и слушает, и верит...

Пусть не стучусь я больше в эту дверь,
Но все-же я не отхожу от двери.

*

Я их изведаль, радости земли:
Луга, тропинки, волны, корабли,
Прикосновенья, рифмы, поцелуи...
Мне кажется, что их с собой возьму я,
Притом никак не в одиночку, но
Неразлично слитыми в одно,
Как будто всех их память превратила
В единый вздох о том, что было мило,
В тот долгий вздох, которым, не спеша,
Наполнится, чтоб отлететь, душа.

*

В овражке пахнет теплой земляникой
И так уютно догнивают пни.
Не надо: не аукай и не кликай —
Ведь это хорошо, что мы одни.
И это ничего, что мы вернемся
С порожними корзинками к другим
И оба принужденно засмеемся
И оба невпопад заговорим!
Пускай поймут, что в быстрых взглядах наших
Недавний трепет счастья отражен,
А рот не теплой ягодой окрашен,
А жадным поцелуем обожжен.

*

Покамест в них хоть искра жизни тлела.
Она цветы не так, как все, любила:
Она умела их найти, сорвать
(Ей самые простые были милы)
И холила их часто через силу
И в сор не посылала умирать
Покамест в них хоть искра жизни тлела.
Вот то, что я хотел о ней сказать —
До остального никому нет дела.

Д. Кленовский, 1966

СОВЕТСКАЯ КРИТИКА СЕГОДНЯ

Популярный писатель С.Ш.А., один из тех, чье имя прочно оседает в списках бестселлеров¹, Ле Карре, был поражен, когда узнал, что его роман, «Шпион, пришедший с холода», переведенный чуть ли не на все языки мира, не был разрешен к переводу на русский язык, но тем не менее обсуждался на страницах советской печати. «Да где же это видано, чтобы книга обсуждалась критиками, а читатель не имел бы возможности прочесть ее и о ней судить? И зачем ее обсуждать в таком случае? И почему ее запрещают, а говорить и писать о ней — позволяют?» — спрашивал Ле Карре в майском (1966) номере «Энкаунтер».

Но «Шпион, пришедший с холода» не исключение: за последние годы в Советском Союзе все чаще обсуждаются книги, которые и не переведены, и не изданы, и которые только немногим доступны в оригинале. Суждения о них выносятся не только в статьях, но и в книгах, им посвященных. Получается что-то слегка напоминающее «Елизавету Воробей» или «Лейтенанта Кижю». Самый яркий пример такой (не совсем обычной для нас) практики — **пародия** на роман, который остается неизвестным, так сказать — **пародия без оригинала**: последняя книга Джеральда Даррелла, спародированная в журнале «Вопросы литературы» (1964). В этом журнале заглавие романа, который Даррелл не успел закончить, переводится «Пробуждение Финегана», в «Иностранной литературе» — «Поминок по Финегану». Покойный М. М. Карпович советовал мне перевести его «Бдение у гроба Финегана» (что я и сделала в «Новом Журнале», № 57). Напомню, что из книг Даррелла в СССР были выпущены только «Дублинцы» (1937), и что всего

¹ В этой статье я пользуюсь теми иностранными словами, которые вошли в обиход русского языка и приняты в Советском Союзе.

лишь несколько глав «Улисса» появились в печати в 30-х г.г.² Тогда же, в «Литературном критике» (1934 г.), была напечатана интересная, полная оригинальных мыслей большая статья о Джойсе А. Старцева, под названием «Эксперимент в современной буржуазной литературе. Третий период Джемса Джойса». В этой статье Старцев называет «Бдение» — «Работой в движении»: окончательное название было придумано Джойсом позже.

Автором **пародии без оригинала**, как удалось выяснить, был А. Архангельский. Она была написана 30 лет тому назад и посвящена Вс. Вишневскому, драматургу, который восхищался Джойсом и которому возражал на это Киршон. Киршон не уцелел во время сталинских чисток, а Вишневский — уцелел. В частном письме к Киршону Вишневский между прочим писал (в конце 30-ых г.г.):

«Ты долбишь в запале о классическом наследстве; очевидно наследство где-то кончается (на Чехове?) и дальше идет всеобщая «запретная зона»... Для Маркса, Ленина — не было запретных книг». (Цитирует Д. Урнов. «Знамя» 1965).

Приведу эту пародию полностью, во-первых потому что с таким явлением в русской критике мы до сих пор не встречались, и во-вторых потому, что тем, кто знаком с «Бдением», она, как и мне, наверное покажется и талантливой, и остроумной:

«Искатели Жемчуга Джойса.

...Юго-западный ветер шевелит волосы Джойса отойдите макаркающие я хочу равняться в затылок учителя не боюсь молод здоров оспопривит гип-гип полундра луженый желудок весь мир материки океаны лопай малютка дюжиной ртов глаза уши познать мир весь потрохами ах какой бодрый кувыркач шкловун Виктор кадры кино 33 печёных листа в Огизайро и Гихлинойсе в МТПейре в академии фасольясидо макромикросмы вселенной зачатие любовь рождение смерть пищеварение страсть сон эмоция сложеумножение вычитание деление пиши скальпель-пель-пель желудочный сок печенку селезенку бога душу жеманфиш брось митрофан про прустово ложе мало гехто что такое гехто дос-пассется молодой хвостом пассись дитя мое майнавира лабиринт пролетариата домна дымная рождает чугунные мальчики ты была в красном платоч-

² «Интернациональная (!) литература». 1935 и 1936 г.г.

ке восьмое марта я люблю тебя сказал Соревнованичка ах какой клещастый подъемнокранный будь моей да возьми ты сказала бога нет да распишемся в загсе что ты делаешь это вам не бровонаступленный тостофадеев мне отмищение и аз разгромлю дифиурамбы ермилий милый тостофадеич старо старо я бравый моряк бодрый ныряк в подсознание видеть инфузории бациллы атома пока не всплывешь Эйн-зейн-штейн вишневые трусики ура ура искателям Джемчуга Джойса...»

Как воспринимается читателями эта пародия, когда нет и не может быть оригинала, мы не знаем. Критика неизданного и неизвестного однако видимо читается с интересом, потому что за последние годы во многих советских журналах стали появляться статьи — на самых различных уровнях — о западных писателях, «модернистах» и «декадентах», к печати недопущенных. О Джойсе пишут много. Возможно, что читатель считает это явление вполне естественным. Надо думать, что «Улисса» в ближайшие годы в России переведут и издадут. Но не все, что обсуждается в советской критике, внушает подобный оптимизм: есть книги больших писателей, сыгравших громадную роль на Западе лет 30 или даже 40 тому назад, которые начинают отживать свой век, но до сих пор неизвестны русскому читателю. Что будет с ними? Роль, которую сыграли «Фальшивомонетки» Андре Жида или «Контрапункт» Олдуса Хексли в истории литературы нашего столетия так велика, что пройти мимо них невозможно. Между тем каждому кто знаком с литературной жизнью Запада ясно, что эти книги сейчас читаются все меньше и очень скоро перейдут с всеобщего уровня на уровень тех, кто прямым образом заинтересован литературными вопросами. Если эти книги так никогда и не дойдут до читателя в СССР, это будет большим пробелом. Это же относится и к дневникам, мемуарам, переписке, в последние 40 лет занявшим такое огромное место в литературе западного мира. Для них вовсе нет ни полочки, ни ярлыка в Советском Союзе.

Пруста сейчас тоже читают на Западе меньше, чем 30 лет тому назад. Из его 12 томов («Поиски утраченного времени») только 2 первых и один последний считаются общеобязательными. В Советском Союзе, где он конечно полностью не переведен, он занимает второе после Джойса место в иерархии модернистов. Он тоже, как и автор «Улисса», обсуждается и осуждается, и читателю не дано иметь о нем непосредственно

го мнения. Он тоже, как и Джойс, не понят или понят превратно: не в каком-нибудь «формальном», сложном и хитром смысле, а просто не понят в тексте. Как монолог Молли Блум (в «Улиссе») трактуется советскими критиками искаженно, воспринимаемый ими как романтическое воспоминание об утерянной чистоте и невинности женщины, соединившей свою судьбу с грубым мужчиной, так в случае с Прустом авторы статей о нем говорят штампами, как о «классовом» писателе, отце модного сейчас вопроса «очуждения» личности, вовсе не принимая во внимание того, что Пруст был не только гениальный поэт, но и большая нравственная фигура нашего столетия.

На фоне высказываний Льва Толстого, видевшего элементы полового возбуждения в классической музыке, в искусстве Возрождения, в чувстве дружбы, в любви матери к своему ребенку, Пруст, веривший до конца в бескорыстие человеческих чувств, в теплоту людских отношений, в дружбу, в таинство благодарной памяти, в стремление к добру и поклонение красоте — в природе и искусстве — стоит на страже нашего века как великий моралист, качество, которое должно было бы привлечь к нему сердца русских читателей. Но им объясняют, что он «плакальщик погребенного аристократического класса», что он космополит, формалист, в то время как он не имеет никакого отношения к проблеме «очуждения», как впрочем и другой большой писатель нашего времени — Д. Х. Лоуренс, который для советских людей должен был бы быть любимым хотя бы своим классовым происхождением и по той роли, которую он сыграл в демократизации круга английских литераторов. Но несмотря на то, что Луи Арагон, член французской компартии и представитель социалистического реализма во Франции, был тем человеком, благодаря которому первое издание «Любовника лэди Чаттерлей» было пропущено французской цензурой³ и положило основание всем последующим, Лоуренс до сих пор в СССР под запретом.

«Пруст никогда не сомневался в нравственных ценностях, — писал Андре Моруа, писатель и переводимый, и издаваемый, и читаемый в СССР, в своем предисловии к «Жану Сантей» Пруста в 1952 г. — При виде величия он чувствовал свое собственное человечество, и мы понимаем, что он не мог не любить

³ 1928. Изд. Эдв. Титуса, тогдашнего мужа известной Елены Рубинштейн.

Диккенса, так как он умел улыбаться как над первым, так и над вторым. В раннем этом романе, им незаконченном («Жан Сантей», чудом найденном) он еще пользуется флоберовским эскалатором глаголов несовершенного вида. В «Поисках утраченного времени» он развернет свое повествование с тем движением, с которым флорентийские волосы выются по ветру».

Вовсе не касаясь вопросов так называемой «формы» или той роли, какую сыграл Пруст, как стилист, хочется напомнить здесь о его рассуждении о страдании, возможно незнакомом советским критикам, или ими недооцененном:

«Жизнь так устроена, — писал Пруст, — что она сглаживает нам наши собственные страдания, чтобы нам было возможно их переносить, в то время как воображение передает нам страдания других людей во всей их силе, во всем их самом скрытом отчаянии, ничем не помогая нам, чтобы представить их себе в свете либо их незначительности, либо их слабости».

В том же романе («Жан Сантей») рассказана история первой любви героя к русской девочке, которая позже была превращена Прустом в Жильберту «Поисков» и стала одной из самых значительных фигур всего творчества Пруста. Эти страницы полны такой истинной поэзии и такой мыслью, что после них читать «Клима Самгина» все равно, что поговорив со Спинозой перейти к беседе с Санчо Панса.

Но счастья читать и перечитывать Пруста советский читатель лишен. Он может только читать комментарий к нему, не всегда удачный. Он получает от критика **эталон**, очень в советской критике принятый. Об эталоне речь будет впереди. Эталон этот медленно расшатывается — в поэзии, в прозе, в критике. «Начало конца» сорокалетнего эталона и есть настоящая тема этой статьи.

Вернемся к обсуждаемому, но не издаваемому в Советском Союзе писателям Запада. Есть и третье имя, следующее за именами Джойса и Пруста, это — Франц Кафка. К нему отношение несколько иное. Он частично переводится сейчас, т. е. в № 1 «Иностранной литературы» за 1964 г. было напечатано его «Превращение». Как ни странно сказать, но оно менее популярно, чем неизвестные в России «Процесс» и «Замок». «Кафка без ретуши» — так называется одна из статей о нем (в «Вопросах литературы», 1964). Автор ее, Д. Затонский, вступает в спор с другими советскими критиками Кафки. Здесь мы чувствуем нарушение эталона. Читатель (нельзя забывать

ни на минуту, что читатель самого Кафку не читал и незнаком с ним) вовлекается в спор: один критик говорит: проблемы Кафки не наши проблемы, «герои и характеры его нам не близки» (Книпович); другой считает, что «через Кафку мы узнаем о вырождении буржуазии в Праге и Вене перед первой войной» (Дымшиц); третий, признав, что «чехи, поляки, немцы пишут о Кафке и нам невозможно о нем молчать», старается проанализировать Кафку в его подходе к австро-венгерской монархии, к росту промышленности в Праге, пишет об его интересе к чешскому рабочему движению и приходит к выводу, что «Процесс» есть «конфликт личности с капиталистической системой, когда конкретно-исторические явления толкуются Кафкой, как общечеловеческие и асоциальные» (Затонский). Четвертый критик напоминает, что Вигорелли (итальянский писатель, посещающий СССР как член международных литературных конгрессов и чтимый советскими критиками) недавно заявил, будучи в Ленинграде, что Кафка, Пруст и Джойс — «наши глубоко почитаемые отцы» (Балашова).

Все это мне кажется важным и не вызывающим покровительственной улыбки, наоборот, поучительным и даже значительным. Первый шаг — заговорить о «Процессе», второй — перевести и напечатать «Превращение», третий — истолковать Кафку, как реалиста, изобразителя гниющего Запада, пользуясь для этого теми же выражениями которыми пользуются, когда истолковывают Золя, Диккенса, Бальзака. В. Днепров в своей книге «Черты романа XX века» посвящает несколько страниц сравнению «методов отражения эпохи» у Кафки, у Щедрина и у Диккенса. Все трое, говорит Днепров, «изучали быт и свое время, и во многом напоминают друг друга... Мы должны читать Кафку реалистически». Назвать его реалистом значит его не понять? Подойти к его романам, как к изображению характеров и ситуаций значит пройти мимо него? Может быть. Но разве на Западе всегда понимают советских авторов, признанных и лауреатов премий? К примеру возьмем следующий случай: в одном военном романе советский автор рассказал, как политкомиссар перед наступлением не мог сидеть, а все ходил (на военном совете) от радости, что завтра будет бой. Американский критик решил, что политкомиссар — комическая фигура, что это — ирония, что на ребячестве его советский автор показывает, какие были дураки политкомиссары и потому немцы могли зайти так далеко! Или другой при-

мер: в колхозе на собрании разбирается дело о прогуле некой бабы. Цитируют Маркса. Западный критик решает, что это — скрытая контрреволюция, насмешка над Марксом, что автор иронизирует над колхозным собранием! А немецкие жестокости, которые бывают нанизаны в советском романе, как бусы на нитку, кажутся западным критикам символом бессмысленности мироздания — и делаются неверные выводы о всем романе.

Надо сказать, что многие американские и европейские критики и историки литературы (а также в последнее время и отдельные писатели и поэты) держатся того мнения, что весь социалистический реализм вообще шутка, что он не имеет никакого смысла, и не может быть принят всерьез, что это политический лозунг, а никак не эстетическая теория (Макс Ризер). И право иногда трудно удержаться, чтобы не встать на такую точку зрения, особенно когда читаешь советскую критику «правого» (т. е. сталинского) фланга, рассуждающую не об отечественной, но о западной литературе, где уже цитированный Дымшиц говорит, например: зачем нам модернисты, когда у нас есть свои новаторы — Шолохов и Закруткин, да и на Западе найдутся имена, не имеющие к модернизму отношения, у которых есть чему поучиться и о которых еще В. И. Ленин сказал, что они «социалисты чувств», например Эптон Синклер и Голсуорти.

Да, на Западе есть не только декаденты и космополиты, но и социалистические реалисты, собрания сочинений которых (впрочем не всегда «полные») издаются в СССР. Число их, если верить советским критикам, все растет. Возможно, что это и так, хотя на первый взгляд кажется, что число их понемногу убывает. Но сейчас спора о статистике не будет. А пойдет рассказ о тех, кого и обсуждают, и издают, о тех, которые нисколько не напоминают «Лейтенанта Кижэ».

На первом месте стоит Луи Арагон. О нем недавно вышла книга (Т. Балашовой), он приводится как пример западного социалистического реалиста.⁴ К нему прилагается эпитет «великий». Его ставят в один ряд с Назымом Хикметом и Анной Зегерс (Мотылева), иногда — с Андре Стилем, Шолоховым и Драйзером, а также — с Пуймановой. В 1965 г., через год после выхода книги Балашовой («Творчество Арагона», 312 стр.), о ней была статья Я. Ривкиса. В ней интересно было

⁴ См. «Модернизм — враг творчества». «Знамя» 1963.

прочсть о молодых годах (я чуть-чуть не написала «грехах») Арагона: сюрреализме, дружбе с Анри Бретоном (вычищенном из французской компании в начале 30-х г.г.), о Тристане Тзара (отце «дадаизма»). Были цитаты из этих двух поэтов, которые, разумеется, не переведены. Цитировалась знаменитая анкета сюрреалистов о любви, напечатанная в декабре 1929 г. в журнале «Сюрреалистическая революция» (Париж) — не только не переведенная, но и непереводаемая. Упоминался Лотреамон. И в заключение было сказано, что «так как Арагон учился у сюрреалистов» и т. к. по собственному признанию Зегерс (соц. реалистка восточной Германии) она «кое-что взяла у модернистов», советские молодые писатели и поэты могли бы тоже — в меру — обогатить свой опыт, превращая «декадентский поток сознания в мотивированный внутренний монолог» — несколько темное выражение, в которое лучше, может быть, не углубляться.

Как Лоуренс Стерн в своем бессмертном романе «Тристам Шэнди» поместил предисловие к роману в середине романа, так и я хочу сказать несколько слов в виде запоздалого введения к этой статье: я далека от мысли читать советскую критику между строк, выискивать «приглушенные голоса» в ней или вычитывать «тайный протест» пишущих. Подобные цели не входят в мою задачу. Я пишу о некоей «оттепели» в советской критике, как писали об «оттепели» в советской прозе и поэзии, но не вычитываю того, чего в ней нет, и не ищу подтекста, о котором сами авторы не думали. Мы все знаем, что такое «оттепель» в поэзии — это «Аэропорт» А. Вознесенского, где гремят новые в русской поэзии рифмы; мы также знаем, что такое «оттепель» в прозе — это когда действие перемещается из цеха и колхоза в дамскую парикмахерскую или в ателье художника-абстракциониста. Но мы почти ничего не знаем об «оттепели» в критике. Цель этой статьи рассказать о переменах здесь происходящих. О столкновении некоторых мнений, из которого (как говорят французы) брызжет истина.

Но вернемся к Арагону. Уже цитированный (и популярный в России) Андре Моруа недавно написал специально для русского читателя статью о последнем романе Арагона, вышедшем ранней весной 1965 г. и до сих пор не отмеченном в советской печати. По-французски он называется «La mise à mort», что по-русски значит «Казнь», как мне кажется. В статье название почему-то переводится «Гибель всерьез». Моруа пишет:

«Это — современная система образов, в которых разорваны все связи. Он — социалистический реалист, но реализм его — поэтический и преобразует действительность. Роман этот о двойном или тройном человеке, в духе Пиранделло: 1. человек в реальном мире, 2. ясновидящий, 3. посредник между ними. Антуан, Альфред и Арагон — одно лицо. Эльза — не Эльза. Она — великая певица Ингеборг. Имеется еще «Я». Женщину «Я» называет Шопот и Папоротник. Пока она пела, Антуан потерял свое отражение в зеркале. Оно кстати трехстворчатое. Всё — миф. Трое существуют в единой плоти, но ревнуют друг к другу. Альфред решает убить Антуана. Эльза же не только Папоротник и Шопот, но и королева Каролина-Матильда (датская). Есть еще Пьер Удри, маска Арагона-Альфреда-Антуана, он любит Беттину, она как Беттина Арним, которую любил Гёте. Арагон слушает Рихтера, «Карнавал» Шумана, и это тоже миф. И все это — верность любви, и **своей партии** (курсив мой), и Франции, — заканчивает Моруа, — величайшая французская проза. Лучшей не существует. Любовное письмо? Эссе? Не все ли равно, если это прекрасно?» («Иностранная литература», 1965).

Какова будет реакция экспертов по Арагону Мотылевой и Балашовой и на самый роман, и на эту статью — предугадать невозможно. До сих пор, как кажется, реакции еще не было, как не было объявлений о выходе в свет русского перевода «Гибели всерьез». Я прочитала его в оригинале и не нашла в нем следов соц. реализма. Русскому читателю будут интересны страницы о смерти и похоронах Горького, когда Арагон вместе с погибшим в годы «культ личности» М. Кольцовым приехали в гости к Горькому, но не застали его в живых. Позже Арагон бежал с Красной площади во время похорон, не выдержав толпы. Сидя в машине у ворот дома Горького, где стояла стража, и где Арагон и Кольцов ждали, когда их допустят к Горькому, оба гостя видели выезд со двора докторов. «Я не знал тогда, — пишет Арагон, — что видел убийц». Это напомнило мне, как Ж. П. Сартр в своей книге «Святой Женэ» писал о Н. Бухарине: «изменник партии, агент международного фашизма».

Но что делать, когда опора французского соц. реализма дает «систему образов, в которой разорваны все связи»? Как быть с новым романом Альберто Моравиа «Ложь», где нет следов не только соц. реализма, но и «критического реализ-

ма» и где говорится о связи существования (бытия) и творчества, где искусство не похоже на жизнь, но жизнь похожа на искусство? Еще в 1960 г. небезизвестный И. Анисимов писал о Моравии, что он «яркий образец критического реализма», что он «показывает народные характеры и преступления фашизма» и что его роман «Чочара» — «достижение прогрессивной литературы». С тех пор Моравия стоял шесть лет в ряду Фейхтвангера и Драйзера и была надежда, что он вот-вот повернет от критического, к социалистическому реализму, а он не только написал роман «Ложь», но и напечатал протест против приговора Синявскому и Даниэлю в виде открытого письма Шолохову, в котором говорил, что «советские эстетические идеи созданы остолбенными мужиками» и что эти идеи «представляют опасность не для одного СССР, но для всего мира». Он обратился к Шолохову с письмом-протестом, чтобы сказать ему, что он сам Шолохов, — «представитель этой касты остолбенных мужиков, провинциальных мещан и чиновников, с каменными задами и мертвыми душами».⁵ Как быть с Ремарком, который до сих пор считался другом и попутчиком, но который за последнее время «стал подавать признаки меланхолии»?⁶ И что делать с протестом против дела Синявского и Даниэля самого Арагона? В феврале 1966 г. в «Юманитэ» было напечатано его письмо-протест, и это стало событием во Франции: даже после пакта Молотова-Риббентропа Арагон не протестовал; между Хрущевым и Сталиным он, как и Сартр, выбрал Сталина, но молча принять суд над Терцем и Аржаком видимо не смог. В предисловии (двусмысленном) к книге Р. Гароди, о которой будет речь ниже, есть у Арагона странная фраза:

«Когда нибудь узнают, может быть, что именно было мною принесено в жертву ей (компартии)».

Неужели скоро не останется во Франции никого для переводов на русский язык, кроме А. Труайя, о котором недавно писали, что он писатель «флоберовской школы», Труайя, который во Франции, будучи членом Академии, считается одним из самых консервативных, старомодных и буржуазных авторов, представителем, так называемого, «капиталистического

⁵ «Нью Лидер», 9 мая 1966 г.

⁶ «Литература и современность», Стр. 245.

реализма», которых в западном мире вовсе не так мало. Романы его о старой России и русской эмиграции не переведены в СССР, но о нем там говорится, что «русские темы — потребность его сердца».

Как упорядочить этот беспорядок? Как привести в стройную систему? Удержать на прежнем уровне эталон? Можно конечно вовсе не издавать сомнительную продукцию соц. реалистов Запада, игнорировать ее. Можно издавать ее с подobaющим предисловием, в котором будут объяснены уклонь и отпадения от генеральной линии. Но есть вопрос еще более запутанный, чем вопрос о романистах: что делать с польскими, чешскими, французскими и другими литературными критиками и теоретиками, которые еще недавно были опорой марксистского мировоззрения и сейчас поворачивают в новом направлении?

Самым ярким примером такого поворота является Роже Гароди. На суде во время известного процесса В. А. Кравченко, Гароди выступал как эксперт французского марксизма.⁷ В «Иностранной литературе» (1965)) находим полемику по поводу новой работы Гароди «Реализм без берегов». Арагоном написано к ней предисловие.

Полемика началась в январском номере 1965 г. когда некто Б. Сучков осудил Гароди, который попробовал сказать в своей книге, что не только реализм социалистический или реализм критический достойны внимания, но что под понятие реализма можно (и пожалуй должно) подвести всю вообще хорошую литературу, а дать реализму «берега» значит обеднить его. Сучков спорил с Гароди, Гароди в апрельском номере ему ответил. Для восстановления эталона редакция вынесла свое решение: против Гароди за Сучкова.

Гароди, как явствует из полемики, не может да и не хочет отказаться от «культурного наследия»: он считает, что Кандинский и Брак, Кафка, кубизм, фовизм не могут быть вычеркнуты из культурной истории Европы. Он говорит что то, что Большая советская энциклопедия пишет о модернизме (том 28, стр. 41) писала в 1876 г. о Ренуаре и импрессионистах отсталая буржуазная критика. Он говорит, что в генетике и кибер-

⁷ См. мою книгу «Процесс В. А. Кравченко», репортаж из залы суда. 1949.

нетике многое изменилось — «почему же не в искусстве?»⁸ Арагон в предисловии частично поддерживает его мысль о «культурном наследии». Когда-то, лет 10 тому назад, в «Юманите» было напечатано интервью с Арагоном. Его спросили: что делать с декадентами вроде Маллармэ и Аполинера, неужели продолжать их издавать? Арагон ревниво ответил, что эти имена принадлежат «вечной Франции». Это было время, когда эпоха русского символизма в советских учебниках еще называлась «эпохой империализма».

Чешская и польская критика приняли книгу Гароди безоговорочно. Польская критика еще в 1956 г. высказывалась за пересмотр принципов соц. реализма, говоря, что «нет искусства без деформации» и выражая пожелание «усиления метафорического выражения» (Е. Чвертня и М. Червинский). Чехи говорят о «безбрежном» реализме и вместе с Гароди протестуют против утверждения, что «реализм» и «прогрессивность» — одно и то-же. Гароди напоминает о необходимости новых мифов и сомневается в существовании «декаданса»: «А если его нет, то как-же бороться с ним?» — спрашивает он. Пикассо и Кафка «реалисты по-своему». «Буржуазии тоже нужны мифы, например — миф об американской «просперити», или миф о чуде германской экономики. Без мифотворчества нет искусства».

Для тех, для кого, как для Сучкова и Дымшица, слово Ленина есть скрижаль Закона, спора нет и все ясно: если Ленин отрицал футуризм и не признавал «нового искусства» — так это и будет до конца, во веки веков: Ленин ошибаться не мог. Но что делать например с таким человеком, как Луначарский? Его имя произносится сейчас с большим уважением, а между тем он покровительствовал «модерному» искусству, при нем Кандинский был привлечен в Наркомпрос, а Малевич был профессором. За Луначарского немножко неловко. И может быть в душе немножко неловко и за Ленина, — стоило ли уже так негодовать на Маяковского за его «150.000.000»? Ленин писал:

«Это — хулиганский коммунизм». — «Как ни стыдно голосовать за издание «150.000.000» Маяковского в 5.000 экзем-

⁸ Некто А. Шаров недавно писал: «Прошлое не должно повториться ни в генетике, ни в других науках, ни вообще в жизни». «Знамя». 1965.

плеров? Вздор, глупо, махровая глупость и претенциозность. По-моему печатать такие вещи лишь 1 из 10-ти и не более 1.500 экз. для библиотек и для чудаков. А Луначарского сечь за футуризм». — «Я воспитан на Некрасове». — «Кричит, выдумывает (Маяковский) какие-то кривые слова, и все у него не то, по-моему, и мало понятно». — «Тов. Покровский, паки и паки прошу Вас помочь в борьбе с футуризмом и т. п. Нельзя ли найти надежных **анти-футуристов?**» (Все эти цитаты взяты из статьи «Ленин о Маяковском». Литературное наследство, кн. 65).

Но кто решил, что правители государств обязаны понимать «новое искусство»? Разве не ясно каждому, что и де Голль, и президент Джонсон, и лидеры английской рабочей партии предпочитают Коро и Манэ — Сутину и Сулажу? За них никому не приходит в голову стыдиться. И не сказал ли тот же Ленин в своей речи в 1922 г.: — «Я не принадлежу к поклонникам его (Маяковского) поэтического таланта, хотя **вполне признаю свою некомпетентность** в этой области»?

Обратимся теперь к тем произведениям западной литературы, которые переводятся, издаются и читаются в Советском Союзе. Я говорю сейчас о литературе «модерн», не о книгах Зегерс, Пуймановой и Бехера. Я говорю о тех книгах, которые требуют примечаний, объяснений, почему вещь напечатана, предисловия или послесловия к ней. Автор должен быть, если не другом Советского Союза, то во всяком случае не врагом, если не соц. реалистом, то критическим реалистом, его «левые» убеждения должны либо сквозить в написанном, либо подразумеваться. Он должен хотя бы протестовать против буржуазного **быта**, если он открыто не протестует против капиталистической **системы**: переводится Генрих Бёльль, но не переводится Гюнтер Грасс. Вещь должна быть хотя-бы частично «здоровая» — болезненная литература вряд ли будет переведена (например, пьеса Петера Вейсса «Марат — Сад», как мне кажется). Но точного разграничения нет, нет «закона», цензурного или иного, и потому нельзя предвидеть, дойдет или не дойдет данное произведение до русского читателя. «Слова» Сартра были помещены в «Новом мире», но это не значит, что следующие тома его автобиографии будут переведены. Главное место для переводной литературы отведено в ежемесячнике

«Иностранная литература»,⁹ он существует 10 лет и в нем можно найти за последние годы и «Кентавра» Апдайка, и «Биографию» Чарли Чаплина, и пьесы Артура Миллера, Ионеско, Ольби. Здесь были напечатаны произведения Джемса Балдуина, стихи Дилана Томаса, роман Грэма Грина и — уже в 1966 г. — «Обыкновенное убийство» Трумэна Капотти.

Еще интереснее — подбор статей о современной западной литературе. В них мелькают имена Дюренматта, Скот-Фитцджеральда, Беллоу, Сельби. Между репродукциями Бернара Бюффе, абстрактными фотокадрами и «наивными» пейзажами, помещены «левые» декорации к «Петрушке». В одной из статей цитируется Эрнст Кассирер, Фромм, Юнг. Есть статьи, посвященные битникам, где говорится, что они — анти-демократы, и есть статья о тинэйджерах Англии. Читая «Иностранную литературу» из номера в номер нужно быть готовым к тому, что «рискованные» места в рассказе или романе будут осторожно убраны (не заменены точками), а чья-нибудь буржуазная (консервативная, обывательская) насмешка над абстрактным искусством приведена сочувственно. Современные переводные стихи печатаются — как в оригинале — без знаков препинания, но не всегда. В одном из номеров прошлого года, между прочим, находим поэму Хемингуэя «О любви» в переводе А. Вознесенского. Там читаем:

Не трухай, Вольфи,
Не трухай, старикан, все — в ажуре.

Мужик — что надо,
Идет навстречу лахудровой ухмылке.

Кстати, из писателей Америки Хемингуэй особенно любим за его роман «По ком звонит колокол», который на родине писателя не ценится столь высоко, так как существует мнение, что Хемингуэй на испанцев смотрит в нем сверху вниз, а также за некоторую «оперность» романа («Ну кто может принять всерьез партизан, сидящих в пещере?»). В СССР его любят за оптимизм и Хемингуэй приравнен к Джеку Лондону, что так же неверно, несправедливо и нелепо, как приравнять его к Бичер-Стоу. Напомню, назвав это имя, о поразительном отсутствии гибкости в суждениях некоторых советских критиков:

⁹ Тираж не указан.

что было хорошо в 1852 году, то в 1966 может и не быть, и «библиофил» (т. е. любитель чтения Библии) дядя Том и вся «дядитомность» сейчас полностью отвергаются передовыми людьми в С.Ш.А. «На данном этапе» эта книга не может больше играть роли в борьбе негров против расовой психологии белых. Но при отсутствии гибкости в СССР и роман Бичер-Стоу, и романы Лондона, и роман Хемингуэя (бывший событием в 1940 г.) стоят рядом на почетной полке «критического реализма».

Есть статья и о Сартре, где говорится, что «соотношение между реализмом и умозрительной формой новейшего мифотворчества» в его книгах остается прежним, **как бы он сам ни менялся.**

Много можно узнать читая отделы библиографии «Вопросов литературы», «Нового мира», «Знамени». И постепенно возникает вопрос: не удивительно ли, что столько интереса отдается именно этой «модерной» литературе? Ведь если соц. реалистов на Западе недостаточно (а также на Востоке и Юге), то там можно было бы легко найти авторов-реалистов, которых читают миллионы и которые пишут по-старинке и потому (а также по безразличию их ко всякой политике) были бы более приемлемы, чем «декаденты». Взять хотя бы бестселлеры Германии, Франции, Англии, Америки, Бразилии, — сколько выходит романов самых «традиционных»: хороших — как например «Унесено ветром» Маргарет Митчел, средних — как «Корабль сумасшедших» К. А. Портер, и скверных — как «Группа» Мэри МакКарти. Вот — реализм, правда не социалистический и не критический, но все-таки реализм, типа Труайя, — не формализм. Почему им не ограничиться? В этих книгах прославляются буржуазные добродетели, устои семьи, иногда любовь к родине, коллективные переживания.

И тут надо сказать, что советские редакторы, переводчики, критики и читатели **интересуются интересным**, т. е. тянутся к тому, что их тревожит самым своим существованием, что ставит перед ними проблемы, что дает «пищу уму». Они следят за важными современными явлениями в западной литературе и культуре, они не дремлют, они навестили уши, они слушают, что происходит в мире, они читают о литературных спорах в западной печати, они стараются — посколько возможно — быть не в стороне от нового, что происходит в мире, но поближе к центру его. И это внушает уважение.

Когда и почему это могло случиться? Это произошло за последние 4-5 лет, и тому было несколько причин. Одной из главных было знакомство с западным кино. Роль кинематографа в начале 60-ых г.г. была может-быть даже больше роли литературы. В кино оказался громадный диапазон от плохого до хорошего и та же эволюция, что и в других искусствах. В связи с теми переменами, к которым оно привело развитие советской критической мысли, понимаешь все его огромное значение.

«Внедрить в соц. реализм абстрактно-символические формы», — вот что написано было еще в 1963 г. в одной из книг о современном кино. На это появились возражения, заговорили об опасности «реабилитации модернизма» и «недооценки классического (т. е. вечного)» реализма. Но слова были произнесены и кинокритика стала задумываться над тем, почему когда смотришь «400 ударов» чувствуешь подтекст, а когда смотришь советский фильм — подтекста не чувствуешь? На интернациональном кино-конгрессе кто-то пытался говорить об оптимизме. «На что нам оптимизм? — воскликнули итальянские кинодеятели. — Что прикажете нам с ним делать?» Над этим тоже задумались. Когда в СССР дошла западная критика о советском фильме «Отец солдата», выяснилось, что на Западе считают советское кино «наивным, сентиментальным и огненно-националистическим»: старого колхозника здесь воспринимают, как фигуру святой Руси, плюс — советская пропаганда, и то, как он голыми руками убивает вооруженных немцев, здесь ни на кого не действует. А в Советском Союзе фильм этот как будто имел успех... М. Туровская в «Новом мире» (еще в 1962 г.) писала о «поэтическом» и «прозаическом» кино. Первое пользуется «новой системой выразительности» и в нем «ореол ассоциативных откликов во взаимоотношении с целым рождает поэтический образ» — драгоценные, мудрые слова! Но есть и другой, «новостовательный», «прозаический» кинематограф, он — «двухмерный» и «не такой современный», как поэтический и трехмерный. «Впрочем, — писала Туровская, — поиски идут во всех родах и видах искусства». Это было правдой четыре года тому назад, и это правда и сейчас. Но «от зрителя требуется (в поэтическом кино) интеллектуальное усилие и эмоциональное напряжение». Интеллектуального усилия требуют все современное искусство, с литературой во главе.

Роль кино была и остается большой. Были поездки загра-

ницу, где можно было увидеть фильмы, в Советский Союз не допущенные. Осенью 1962 г. в «Новом мире» был помещен рассказ, где советская экскурсия в Италии пошла смотреть «Сладкую жизнь» Фелини. «А у нас можно такое показать?» — спрашивали экскурсанты друг друга. И отвечали: можно, **только не всем**. Был конгресс (1963 г.) когда Фелини была выдана премия за его фильм «8½» и в советской прессе появился ряд статей, объясняющих этот фильм, где не обошлось без таких слов, как «символы», «второй план», «ассоциативная аура».

Но не только кино сыграло роль разрушителя барьеров. Были международные литературные конгрессы, были личные встречи, были приезды европейских и американских писателей в Москву, Ленинград, Киев, был «культурный обмен». Огромную роль сыграло изучение иностранных языков в Советском Союзе и русского языка на Западе. На литературных конгрессах велись разговоры, — надо помнить, что в СССР на конгрессы приезжают и иностранные коммунисты, и иностранные «попутчики», и беспартийные, безразличные к политике литераторы, и (впрочем редко) враги советской системы. Однажды Пабло Неруду, знаменитого чилийского поэта-коммуниста спросили его русские переводчики: «Сложно вы пишете. Неужели, как вы говорите, вас понимают чилийские рабочие?» На что Неруда ответил: «О, меня мои рабочие всегда понимают! Они привыкли к такой поэзии». И русским переводчикам стало обидно... (Это было вскоре после того, как Арагон в «Юманите» сказал, что французские символисты — «наша гордость, часть культуры Франции, наше наследие»).

В августе 1963 г. в Ленинграде состоялась международная дискуссия о «новом романе». После нее много месяцев журналы были полны обсуждением поднятых вопросов. Судьба романа волнует советских литераторов, критиков, романистов. Что останется соц. реализму, если эта форма будет «кончена»? В Ленинграде выступали известные советские писатели, выступали и иностранцы. Шолохов повторил то, что сказал еще 26 лет тому назад,¹⁰ что он пишет свои романы, как крестьянин сеет хлеб. Федин ругал Кафку, Джойса и Пруста. Леонов ополчился против «стыдных человеческих изъянов и уродств» в современной литературе. Симонов напомнил, что «роман должен

¹⁰ «Известия», 31 декабря 1937 г.

идти с народом». Затем выступили французы. Они сказали, что «цель нового романа вовсе не развращать умы», и Роб-Грийе признался, что «здесь, в СССР, мы слышали то, что слышим во Франции от буржуазной критики». «Благодаря форме бывают большие писатели, — сказал он, — высоконравственные идеи не делают больших писателей. Политические идеи Достоевского, Пруста, Селина не сделали их великими». Кое-кто из европейских гостей удивлялся, что Бальзака ценят в России так высоко — он был представителем буржуазного класса, его эссенции. А Киплинг? Почему его так любят? Ведь он же символ английского империализма? (С тех пор к Киплингу в СССР отношение пересмотрено).

Представители «нового романа» говорили о том, что они «открывают (или пытаются открыть) новое, а соц. реализм пользуется уже открытыми ценностями». Представитель Англии, Бернард Уолл, говорил о В. В. Набокове и его «Лолите». Н. Саррот напомнила, что «переворот, сделанный Кафкой, Джойсом, Прустом — необратим». Французы били по соц. реализму главным образом за то, что он не меняется. Им возмущали В. Аксенов, защищавший право на существование героев и сюжета, и И. Анисимов, который ответил Саррот, что «у нас были другие отцы, например Горький». Анисимов также осудил Сартра по трем линиям: во-первых за его неверие в скорую гибель капитализма, во-вторых за то, что он не считает современную литературу декадентской, и в-третьих за то, что Сартр, как и другие, осуждают замкнутость соц. реализма.

Судя по многочисленным статьям, посвященным этому международному симпозиуму, он взволновал умы даже таких стойких защитников старой системы, как Мотылева. Она напомнила модернистам о «наших великих именах: Ласкнессе, Фейхтвангере, Зегерс, Пуймановой и Бехере», о которых в дискуссии никто не упомянул. Она призналась, что «не понимает принципа связи, которым пользуются модернисты» и назвала их произведения бессвязными. Но даже она оказалась под впечатлением, что европейские писатели внесли что-то новое в дискуссию, и Мотылева вдруг сама заговорила о «ключевом слове», об «образах-лейтмотивах» и «словах-символах». Даже она почувствовала, что «надо расширить рамки соц. реализма и критического реализма прошлого, вобрать все лучшее... отстранить ненужное... многое пересмотреть... может быть разрушить строгую черту разделяющую реализм и модернизм... вос-

пользоваться некоторыми элементами модернизма». А Балашова незадолго до этого, называя «наших великих» (не совсем тех-же самых: Крохмельничану, Вини, Скала, Венезис и Вигорелли), обсуждала книги Саррот, Роб-Грийе, Клода Мориака и Бютора.

«Воспользоваться некоторыми элементами модернизма» — об этом-же писал и Д. Затонский в своей интересной статье «Прием и метод» («Вопросы литературы» 1963). «Модерными» методами пользовались такие критические реалисты, как Брехт, Бёльль, Томас Манн и Фолкнер», — писал Затонский, и тоже употребил выражение «расширить рамки», напомнив, что модернизм «не может избежать реальности», а значит уже имеет в себе задатки реализма. Затонский предлагал (для начала?) рассечь Джойса пополам, т. е. признать раннего и отвергнуть позднего. «Модернизм — не только буйство формы и трюкачество, — говорил он, — иногда даже в экзистенциальном романе кое-что остается»... Вывод Затонского: Кафка конечно модернист, но «его отчуждение от действительности имеет объективным источником товарный фетишизм, т. е. то явление поздне-капиталистического развития, которое с исчерпывающей полнотой описано в 'Капитале'».

Можно быть несогласным с утверждением, что все политические, философские, моральные идеи произведения есть только его побочный продукт (как говорят представители «нового романа»), но невозможно игнорировать все это направление, и отвечать на него словами Шолохова, это значит ставить себя в смехотворное положение. (На вопрос ему заданный: кто влиял на вас из писателей, Нобелевский лауреат ответил: на меня влияли все хорошие писатели). Когда Роб-Грийе говорит о «пре-фабрикованной форме» (например — Бальзака), которая используется соц. реалистами, надо знать, что ответить на этом же уровне. Ждановские критерии отставлены, в этом сейчас нет сомнения, но нужны другие, новые, для следующей международной конференции о кризисе романа. Уже упомянутый Затонский в «Иностранной Литературе» (1965) старается их выработать. В своей статье «Искусство и миф» он шагает дальше, чем до него шагали другие, и раскрывает читателю новые горизонты.

Он комментирует «Гернику» Пикассо и рассказ о молочнице в «Улиссе» в их мифологическом значении. Он орудует терминами Леви-Брюля и Кассирера, напоминает о связи с древним

миром, о легендарных ритуально-жреческих традициях. Символ трактуется им, как расширение художественного образа и миф рассматривается, как акт коллективного сознания. «Мифы нельзя писать нарочно, — говорит Затонский, — великие символические обобщения делаются в последующие века». Затонский проницателен и тонок в своей трактовке картины Шагала, где **маленький** человек изображен под **большими** часами — как символ подавленности временем. Пещерный человек, говорит Затонский, тоже рисовал огромных быков и маленьких оленей. И это всегда **что-то значило**.

Наконец есть еще одна волнующая тема: различие, в общей категории модернизма, реакционного и революционного элементов. «Мы не приравниваем Кафку, Камю, Ионеско к мракобесам и шарлатанам», — пишет некто Ю. Боров, пытаясь привить советской литературе «новую современную сатиру», которая по его словам «взрывает мир реальности, в котором царит рациональное безумие, пытаюсь заменить его иррациональным миром». Советский читатель недоумевает: почему у Ионеско — носороги, а не капиталисты, почему у Камю — чума, а не капиталистический строй? Боров поясняет: «для модернистов условно-ирреальные образы (как носороги) служат способом иероглифического обозначения зла».

Советские критики пишут не только о западной поэзии, прозе и драме. Они за последние годы открыли для себя огромную область — западную теорию литературы. Кое-что здесь было им знакомо: западные критики сами многому научились, читая издания Опояза, а некоторые из них знакомы — через третьи руки — с идеями Потебни и Веселовского. В. Захаров («Вопросы литературы» 1965) видимо внимательно следил за обсуждением проблем англо-американской критики, происходившим на страницах лондонского «Таймса» (июль-сентябрь 1963). Захаров не одобрил Р. Уэллека за его «эстетство», напомнил ему о «моральном критерии» Мэтью Арнольда, осудил Найта за его «шекспировские символы» — вместо «человеческих характеров». Американские критики Ренсом, Тэйт, Уоррен упоминаются, как «ученики И. А. Ричардса», их принципы объяснены и прокомментированы Захаровым и полно, и интересно. Подробно рассказано о книге Эмпсона «Семь видов двусмысленности». Захаров справедливо отмечает, что двусмысленность здесь значит «потенный смысл». Все это по его мнению — вода на мельницу «чистого искусства» (посто-

янный жупел советской критики) и конечно, говорит Захаров, английская коммунистическая газета «Дэйли Уоркер» осуждает всю дискуссию: критики в коммунистической газете (имена их неизвестны) «всецело стоят на позиции советской критической мысли», говорит Захаров, в чем я не сомневаюсь, хотя в данную минуту мне кажется, что эта их позиция никому до конца не ясна.

Теме влияния Опояза на современную англо-американскую критику Н. Эйшикина предлагает посвятить специальное исследование («Вопросы литературы», 1964). Она пишет, что необходимо установить использование «новыми критиками» Запада формальных исследований 20-х г. г. в России. Она не высказывает своего собственного мнения о современной западной критике, она только информирует читателя о некоторых новшествах западной «повествовательной техники», куда входит и анализ «символического значения».

Но не пора ли наконец сказать, что «чистого искусства» вообще не существует? Что «искусство для искусства» был полемический лозунг «на зло» дидактикам и врагам поэзии, что «эстетства» никакого нет? Что если на Западе сейчас опять бравируют этим лозунгом, то для того, чтобы раздражить буржуазную печать, мещанское мнение? Что искусство не действует на наше **поведение**, оно в некоторых случаях может лишь доставить (или предложить) нашему разуму некоторые символы, которые могут пригодиться в нашей духовной, нравственной и интеллектуальной жизни?

Недавно в С.Ш.А. (апрель 1966) состоялся конгресс «группы 47» — новых писателей Германии. Было много приглашенных и дискуссии шли на высоком уровне. Был один голос, который заявил с трибуны, что хороши только те произведения, в которых ничего не доказывается, из которых ничего нельзя вывести, которые не имеют никакого отношения к нашей политической, философской, экономической, бытовой действительности. В публике — далеко не консервативной — прошло движение. Западный человек дорожит проблемами своего времени и от них легко не откажется, чтобы остаться в веселой пустоте «очуждения». Раздались голоса (не без иронии): назовите хотя бы одно произведение, из которого ничего нельзя было бы вывести! Оратор молчал, видимо не ожидавший такой реакции. В молчании раздались смешки, один голос крикнул: Уолтер Патер? Кто-то робко за моей спиной произнес имя

д'Аннунцио... нет... даже не он... Сама я подумала о Бальмонте, который накануне первой войны писал:

Мне нравится, что в мире есть страданье,
и еще кажется что-то вроде «я — мотылек, я — ветерка ды-
ханье»... А молчание на эстраде все длилось, пока оратор, не-
уверенно поклонившись, не сошел с нее. Аплодисментов не бы-
ло. Надо ли упомянуть, что и «формалисты» и «эстетсы» нахо-
дились в зале?

Теперь, когда мы знаем, как дорого Оскар Уайльд заплатил
за свое «эстетство», как д'Аннунцио сознательно связал себя
с режимом, которому решил послужить, каким творческим по-
ражением обернулись мотыльковые стихи Бальмонта, мы пони-
маем, что «литература обязательств»¹¹ не есть выдумка фило-
софов-экзистенциалистов, но что она есть связь писателя с его
временем и миром, что без нее нет искусства, и не может его
быть. В этой области — все «ангажэ», все — «коммited». И
когда В. В. Набоков говорит (в одном из своих интервью), что
он пишет «для удовольствия» и надеется, что читатель от его
писаний получит не урок, а «удовольствие», то эти слова надо
уметь понимать — со всей их иронией и тем секретом, который
в них спрятан. Ведь умели же мы понимать строки Державина:

Поэзия тебе любезна,
Приятна, сладостна, полезна,
Как летом вкусный лимонад,

ведь никому в голову не приходило объяснять эти строчки в
ту или другую сторону: мы их принимали, вот и все. Мы улы-
бались, читая их. Мы, как верующие, спокойно принимающие
и «не мир но меч», и «взявший меч от меча погибнет», одина-
ково радостно и с чистой совестью впитывали и впитали в себя
и письмо Пушкина Жуковскому о «Цыганах» (1825 г.) о том,
что он пишет не для поучения и что цель поэзии есть сама
поэзия, и его строчки из «Памятника» о возбуждении «добрых
чувств». (Эти строчки, кстати, были повторены столько раз,
что сейчас становятся чем-то вроде «тише едешь дальше бу-
дешь»). Иначе говоря, мы не только когда-то понимали проти-
воречия, но и соглашались с ними, и даже любили их. Но может
ли эталон терпеть противоречия? Что от него останется если
он будет их терпеть?

¹¹ Это выражение из новой терминологии, о которой я буду го-
ворить во второй части этой статьи.

Петер Вейсс, автор пьесы «Марат — Сад», сидевший на эстраде во время этого маленького «скандала» позже заявил, что он в юности не переносил никаких «литературных обязательств» и что однажды он не помог раненому, лежавшему посреди улицы. Но когда он стал писать и «его коснулось», он понял, что так дальше жить невозможно. «А коснется это всех, нет таких, которых бы не коснулось», — закончил он свою речь.

«Искусство совершенно бесполезно», — сказал когда-то Уайльд, а вышло, что его-то искусство и оказалось полезным! И многие в Англии облегченно вздохнули, когда на дом, где он жил, прибили памятную доску, и были пересмотрены законы, по которым он был осужден. «Бесполезность» искусства — бутада, потому что в корне всякого искусства есть та «польза», которую невозможно от него отнять, отделить: катарсис, если и не в том смысле, в каком этот термин употребляется Аристотелем, то в том смысле, какой вложил в него Бенедетто Кроче, когда говорил об «облегчении», о гармонизации и мере, появляющихся в нас как результат проникновения в искусство, в художественное произведение, где запутанный узел конфликта распутан, где мы знаем (и чувствуем), что движемся, «идем куда-то», в ритме выраженного, когда форма строит и нас самих; и терапия, которую несет искусство, упорядочение мыслей, которое оно дает (об этом хорошо сказал однажды Овсяннико-Куликовский: «Моей голове хорошо»). Катарсис Кроче, терапия, и наведенный внутри нас порядок, и идентификация читателя с поэтом есть своего рода «польза», и от «пользы» чистого удовольствия, от пользы радости, которая приходит иногда даже до понимания смысла (в поэзии — чаще, в прозе — реже) — никуда искусству не уйти. И в этом смысле — нет искусства без «обязательства».

Есть «обязательство», которое проявляется в молчании. Молчание Ахматовой и Мандельштама было таким молчанием «ангажé» или «коммйтед». Молчание Шкловского и Эйхенбаума было не просто отходом от литературы, но отходом «с обязательством». Погибшие в эпоху «культа личности» — всей жизнью заплатили за «обязательство». Литераторы-эмигранты выразили «литературу обязательств» своей судьбой: не было учителей и учеников, ни агитпропа, ни грызущих его гранит, обязательство было реализовано внутренней не-сдачей позиций, отказом признать, что есть одна панацея для всех зол, как

в случае с Горьким и Сологубом: оба писали о мещанстве русской провинции, но для Сологуба это было частью мирового ужаса, которому он предлагал **частичные** выходы, а для Горького против всех бед панацеей был восьмичасовой рабочий день. Оба были «ангажэ», но по-разному. И доктор Живаго тоже знал, что панацеи нет, хотя все кругом говорили, что панацея — победа революции. Не приводит ли панацея в конце концов к эталону? Иногда это случается. Но зрелый читатель имеет каждый свой эталон, который меняется вместе с ним, будучи живым организмом в живом организме. В свободном мире через этот эталон мы судим и мир, и себя, в постепенном развитии нашего времени. Ведь читая книги мы раскрываем не только произведения искусства, мы раскрываем и самих себя, мы учимся определять словами то новое, что узнаем — в мире, и в себе. В этом этико-эстетическом упоении мы идем дальше, в параллельном движении с собственным нашим созреванием и с крепнущей способностью не только ощущать и познавать великие (или просто хорошие) книги, но и интерпретировать их, говорить о них, судить о них. Иначе говоря: упорядочивать свой внутренний мир.

«Литература обязательств» понятие широкое и автор, знающий про Абсурд (мировой и личный) и пытающийся о нем сказать, или вернее информировать читателя, остается в ее рамках именно потому, что дает информацию, контролирует ее, формулирует ее, приводит в порядок не только свои мысли, но и наши. На одном конце — литература, как учебник: все вместе поучаются, узнают одно и то же, коллективно воспитываются. На другой — не «эстетство», не «искусство для искусства», но проблемы нашего времени, неразрешенные и может быть неразрешимые, а потому — живые, вся радость создавать и радость воспринимать искусство: уровни значений, каждому — свой; творчество, где, как мученик на костре, мучился Маллармэ, казалось бы дальше всех стоявший от «литературы обязательств», но «обязанный» слову, стилю, сквозь всю жизнь.

Надо думать, что очень скоро термины, которые, как я сказала, собственно никогда не были терминами, но были только дерзкими, в пылу полемики лозунгами (очень короткое время), будут отброшены и в советской критике. Уже и сейчас все чаще раздаются голоса напоминающие о том, что форма и содержание — нераздельны, что форма и есть содержание

искусства, что пора пересмотреть позиции, которые были усвоены во время «культа личности». За последние годы были переизданы книги 40 лет не переиздававшиеся и то тут, то там раздаются требования расширить эту программу. У Опояза оказались последователи, не следующие слепо за «формальным методом», но примыкающие к европейской группе структуралистов-аналитиков. Эта группа теоретиков в Советском Союзе занимается главным образом русской литературой, старой и новой. Она готовит пересмотр прозы символистов. («У нас тоже есть свой «новый роман»! Мы были первыми!..»). Есть сов. критики, на которых с надеждой смотрит советская университетская молодежь. Об их достижениях будет вторая часть этой статьи.

(Окончание следует)

Н. Берберова

ПОЭТ

Чтоб не жить как на вокзале,
Чтобы люди не мешали,

Как на гору Чатырдаг
Он взбирался на чердак.

Там писал стихи и прозу,
От которых вяли розы.

Но поэту не до роз;
Он давно их перерос.

Задыхались в норах мыши,
Дохли голуби на крыше.

В трубах мрачен и уныл
Бесприютный ветер выл.

Все ж не в нудной позевоте,
Но в экстазе и в работе

Сам себя сжигал чудак...
А потом сгорел чердак

С голубями и мышами,
С прозой, драмами, стихами

И от творчества сего
Не осталось ничего.

ЗАВИСТЬ

Остроноса, ўтла, лыса
На тропинку вышла крыса.
А потом беда к беде,
Словно дождик по воде.
Журавлины длинны ноги
Не нашли пути дороги.
Расширяются круги...
Все не так, как у других!

К РАСЧЕТУ...

Опустел наш российский Парнас;
Нет Одарченки, нет Иванова
И Ахматовой нету у нас.
Хоть бы Сирина встретить живого.
Что ж пожили, пора, не беда.
Вот пройдет лет пяток, или годик
И меня увезет навсегда
“Пароход, пароход, пароходик”.
Потухают талантов огни.
Удивляешься, вылупив зенки:
Остаются на свете одни
Евтушенские и Вознесенки.

ИЗ ДЖЕЙМСА СТИВЕНСА

ДАННИ МЕРФИ

Он до предела дряхлым был,
Незрячий глаз его застыл
И рот запал меж бородой
И носом. Высохший, худой
Едва передвигался он.
■ Был мир его не явь, не сон.
А в старой трубочке накал
Попыхивал и потухал.
В карманах шарил он, мычал:
“О Боже, милая, достал...”
И спичку зажигал старик,
Но трубка гасла в тот же миг.
Не мог он прыгать и кричать,
Как я с Сюзанной танцевать.
Нам чужд его спокойный нрав.
Как можно жить, все потеряв?
Но вот смеется он сейчас...
И вижу — он моложе нас.

Глеб Глинка

О ЛИРИКЕ Ф. И. ТЮТЧЕВА

МЕТОД И ОБЪЕКТИВНОСТЬ

В последнее время вышли в свет две монографии о Тютчеве — К. Пигарева и Р. Грега.¹ С точки зрения метода и некоторых принципиальных вопросов, думаю, что и эта статья не лишняя в литературе о знаменитом лирике. Я считаю важным при исследовании поэта применение того, что я называю **комплексным методом**.

Лирика — самое лично интимное в краткой форме излияние чувств, мыслей, настроений и волевых импульсов человеческого «Я». И при всем желании и даже необходимости объективности в научном подходе к литературе, не менее важен и личный, персональный тонус. К личности творца-поэта должна приблизиться личность исследователя.

Б А Р С Т В О

Талант, богоданный и рано выявившийся, несомненен: лет девяти Тютчев составляет первое стихотворение-эпитафию на смерть горлицы, а четырнадцать лет уже появляется в печати.

Учится этот отпрыск старого дворянского рода очень легко; читает на разных языках. Латынь он знал превосходно. Хороший портрет юноши Тютчева дает историк М. Погодин: «Молоденький мальчик с румянцем во всю щеку, в зелененьком сюртучке, **лежит** он, облокотясь, на диване и читает книгу. — Что это у вас? — Виландов Агатодемон...» Да, читать он всегда любил. А трудиться?.. Нинет! эдак по-барски, с ленцой. К службе, к делам, к обязанностям относился легкомысленно, спустя рукава, и сам это видел и признавал. Так, будучи русским посланником в Турине, он запер все посольство на ключ и уехал в Женеву дней на десять по своим любовным делам-делишкам. По ошибке сжег целый сборник своих стихов и не

¹ R. A. Gregg. The Evolution of a Poet. Columbia University, 1965. Pp. 257.

очень грустил об этом. Но он же, м. б., самый глубокий и чуткий из всех русских и славянских лириков. В Тютчеве словно слились и сплывались черты лирики Гейне, Леопарди, Бодлэра и Пушкина, а вместе с тем это особый сплав и звон стихов и пение его музы особенные, неповторимо присные только тютчевские. Легкомыслие культурного барства озаряет его радости и скорбь и дает особый привкус мыслям и чувствам поэта. Тютчев был в то же время духовно одинок. Сознавшим свое одиночество людям так близок этот лирик.

К Р И Т И К А

По свидетельству П. Плетнёва, Пушкин с восторгом отметил глубину мысли, новость и силу языка, а равно и яркость красок в стихах Тютчева, присланных в «Современник». Похвалы Пушкина подтверждаются и Ю. Самариным. В. Белинский же совершенно не ценил и не оценил поэзию Тютчева. Позднее Гоголь говорил в 1846 г. о «благоуханных движениях душевных» в стихах Тютчева и считал его творчество как-бы результатом «огня пушкинской поэзии». Указание очень большой ценности. Еще позднее Некрасов дал подробную восторженную оценку и разбор стихов Тютчева, а за ним — И. Тургенев, А. Фет, А. Григорьев, И. Аксаков, Ф. Достоевский, Л. Толстой, В. Соловьев и т. д. С предельной сжатостью попробую дать основное в высказываниях писателей и критиков о Тютчеве, так как эти высказывания часто существенны для последующих научных работ об этом Лирике.

Но прежде всего одно уточнение. В. Брюсов, говоря в своем введении к изданию стихов Тютчева в начале XX в., о первом сборнике стихов, подчеркивает восторженный прием поэта критикой. Увы, это не верно! На четыре похвальных отзыва второй половины пятидесятих годов XIX века приходится пять отрицательных или «кислых». Брюсов считался с отзывами Некрасова, Тургенева, Фета и забыл о современниках, казавшихся важными для Тютчева. Репутация Тютчева среди широкой публики была утверждена неколебимо только после статей и отзывов в XX в. символистов и акмеистов. На эти же два течения лирика Тютчева, по справедливому указанию Н. Гудзия, влияла скорее своей формой, чем идеями. Одно исключение — Вячеслав Иванов, да м. б. И. Коневской и Балтрушайтис. Кое-где отклики Тютчева можно найти у В. Ходасевича и даже у А. Ахматовой и Н. Гумилева.

Теперь позволю себе вышелушить из отзывов критиков большого ранга особенно важное для постижения лирики Тютчева. Тургенев при всей теплоте и тонкости оценки подчеркивал ряд устарелых выражений (**архаизмов**)² и неточностей. А. Фет видел у «обожаемого поэта» умение увидеть новое, глубокую мысль и «**тайновидение**» в области природы. Аполлон Григорьев первый, хотя совсем мельком, отметил **религиозность** и «одухотворение Природы». И. Аксаков подчеркивал в лирике Тютчева правдивость чувств и дыхание глубокой мысли. Ф. Достоевский: — «Первый поэт-философ, которому равного не было кроме Пушкина». Л. Толстой — «Величина творческого таланта». В. Соловьев отмечал тему Хаоса, темный корень мирового бытия. Затем эту тему развивает впервые еще в 1913 г. С. Франк и возвращается к ней же в своей немецкой работе через 14 лет. По его мнению Тютчев касается вечных Начал, вечных тем (Время) в их «непреходящей стихийной природе». Пантеизм же Тютчева связуется С. Франком с мотивами дуалистического Начала. Космизм поэта связан со сходными воззрениями Я. Бёме и Шеллинга (Хаос и Роковое Начало и в самом Божестве). Д. Стремоухов в своей французской диссертации о Тютчеве говорит не о пантеизме, а о **панпсихизме**. В. Зеньковский еще позднее (1959 г.) возражает против положений В. Соловьева, С. Франка и Д. Стремоухова. Он считает важнейшим в мировоззрении лирика-Тютчева «**имперсонализм**, чувство безличности человека» в его «соотношении человеческого «Я» и мирового бытия». «Я» призрачно и спаяно с Космосом. Однако, подробный разбор космического чувства и **космического сознания** у людей был сделан до С. Франка глубокомысленнейшим психологом и философом Р. Баком. Позднее свое учение он изложил и в особой книге.³ Термин Космическое сознание у Бака обозначает самую высшую форму человеческого сознания вообще. Это сознание, порожденное космическим чувством, есть род интеллектуального **прозрения**, переход в новую высшую сферу бытия-существования. «Бог есть Вселенная и Вселенная есть Бог». Таким сознанием одарены в истории человечества основатели религий, пророки и некоторые поэты. Р. Бак указывает на Пушкина («Пророк»).

² Во всех стихах Тютчева, не считая переводов, около 9% архаизмов и церковнославянизмов типа «к земли».

³ R. Bucke. *Cosmic Consciousness*. New York, 1951.

Я полагаю, что и Тютчев в известные моменты обладал Космическим сознанием и космической памятью, о которых с таким знанием и уверенностью подробно рассказал психиатр-философ Бак.

Чисто историко-литературный подход к Тютчеву начал И. Киреевский уже в 1829 г. в «Обзоре русской словесности». Он относит Тютчева к поэтам «немецкой школы». Гоголь видел в творчестве Тютчева отклик Пушкина. Почти все последующие исследования движутся по этим двум направлениям, так как и западное, главным образом немецкое влияние, существенно для Тютчева, а равно и родное — Державин, Пушкин и некоторые другие поэты. Влиянием немецкого романтизма серьезно занимался еще в 1914 г. В. Жирмунский в своем труде «Немецкий романтизм и современная мистика». А вопросом космического сознания у Тютчева занимался в том же 1914 г. Д. Дарский, а позднее М. Алексеев, А. Бем и Д. Чижевский. Последний, указывая на влияние романтиков, очень осторожен и выдвигает теорию общности тем у Тютчева с Шиллером, Гёте, Новалисом, Тиком, Брентано, Эйхендорфом и др. Выдвигаются как бы две темы: а) **Тема философии ночи** на основе веры и фантазии о глубинах откровений ночи, б) сходство и общность в сравнении ночи с прибоем волн, сравнение человека с фонтаном в стремлении ввысь к бесконечности: ночь, соединяющая светлое и темное Начала; вселенная, как сокровенный хаос и другое, подобное. Правда в 1927 г. Н. Сурина настаивала («Тютчев и Ламартин», поэтика, кн. 3) на французском влиянии, но конечно немецкое и существеннее и глубже в лирике Тютчева.

МЕТОД (СТИХ)

Результаты разных исследований все же зовут именно к попытке применения **комплексного метода**. Что нам даст односторонний формальный метод, если всякий серьезный критик и читатель обращает внимание и интересуется идейной стороной стихотворений и философией Природы и т. д. Как может историк лирики Тютчева пройти мимо 25% всего творческого наследия поэта посвященного и политико-общественным течениям, и патриотизму, и историческим событиям и их героям? (Восстание декабристов, польское восстание, война на Балканах, Николай I, Славянофильство и т. д.). Можно ли, будучи

элементарно объективным исследователем, обходить или замалчивать не только религиозные стихотворения Тютчева, но, как в основном поступили Брюсов, Волынский, Пигарев и Чуковский, не разбирать верой и Библией навеянные образы.

Увы, пристрастие, политика, требование партийности в литературе, обедняет сферу изучения, сушит живые «пафосские розы» истинной поэзии. Да не будет же так! Многогранна и многоцветна лирика Тютчева, многоголоса его Муза, о разном и по-разному поет она нам, как некогда пела своему избраннику. Не случайно писатель, инженер, критик Р. Мусил твердил, что поэзия не только изображение, но прежде всего объяснение жизни и того что и как в ней происходит. Однако, особенность поэзии — не одни идеи и образы, но их слияние с музыкальной звукой и ритма. Прав был О. Брик говоря: «Когда мы смотрим на картину, мы видим сначала только центральные фигуры; остальное кажется нам малозначущей декорацией. Впоследствии мы убеждаемся, что вся картина, в целом, представляет из себя единую живописную композицию, что центральные фигуры — лишь более яркое воплощение основного художественного замысла. Так же точно слушая стихотворную речь, мы замечаем рифмы и думаем, что ими исчерпывается благозвучие стиха. Однако, анализ инструментовки стиха убеждает нас, что и здесь мы имеем единую цельную композицию, для которой существенно важны не только отдельные центральные созвучия, но и вся совокупность звукового материала». В него входят ударяемые гласные, нажимные согласные и неударяемые и не нажимные звуки. Все они служат гармонии звучания целого.

В основном Тютчев был гениальным импровизатором, так сказать, не писавшим, а часто **записывавшим** свои стихи. Порою же и он долго и упорно, со старанием работал над звуко-рядом, выражением основной идеи и над образами. Тютчев сам упоминает о «амор нугарум», о своем стремлении обточить, отделать и мелочи в стихотворении. Тютчев был мастером звуковых повторов, которым не чужд и Пушкин («**враждою жадной**», «**шипенье пенистых бокалов**» и др.). Расстановка «звучных слов» и внутренние, леонинского типа, рифмы и аллитерации типа «Кто скрылся, зарылся в цветах» удаются Тютчеву. Он оформляет ритмом звуки в долях стиха, что играет важнейшую роль в мелодике стихотворения. Созвучия в стихах таких мастеров, как Тютчев обычно подчеркивают и **логически и**

чувственно важные слова стиха-поведания, где музыка и рассказ слиты в одно целое: «Помедли, помедли, вечерний день, Продлись, продлись очарованье». Подобные факты следует отметить вослед исследователям народной песни. Ср., напр., «Век вековать вечный» или «Два орла орловались» и т. п. Но Тютчев кроме того зорко следит за тем, чтобы в линиях стиха не было отрыва ритмического движения от слогового ряда.

При анализе звукояря и образов в лирике Тютчева необходимо принять в расчет значение архаизмов и церковнославянизмов. Кстати сказать среди филологов идет спор о процентном отношении церковнославянизмов в русском литературном языке. Мнения весьма расходятся. В глаголе, напр. обратить в отличие от оборот, оборотить мы имеем не полногласную церковнославянскую форму. Префикс **пред** тоже не русский, так что **предпочитать** является соединением своего и югославянского. Небо, юг, юный и т. п. не русские, как и хладнокровие и т. п. Но есть ряд слов, где мы не можем утверждать русские они, или церковно-югославянские. Иногда трудно отделить архаизм от церковнославянизма. Конечно, мусикийский, плесница (род обуви), сие, вотще, и т. п. чистые архаизмы. Винительный падеж вместо предложного (Ср. Н. Гоголь «...Свою Германию пою») тоже архаизм находимый у ряда поэтов XVIII-XIX вв. Обратное же глас, гласы, браг, врана, препоясать, приступить, абие, паче, — несомненные церковнославянизмы, но кто же считает архаизмом церковнославянское «отвратительное **преступление**»? Ряд понятий по-русски вне стихии церковнославянизмов мы не можем выразить (преображение, пресуществление, преступление, глава, воскресение и т. д.). При определении же того, что такое архаизм и церковнославянизм важнее всего обратить внимание **на функцию этих элементов** и по функции давать название.

Известно, что в юности и ранней молодости Тютчев был учеником поэта и переводчика классиков — Раича. Тютчев увлекался Мерзляковым, Дмитриевым, Державиным и Карамзиным. Все это еще коренилось, как и М. Ломоносов, в XVIII веке русской литературы, с ее делением на «три штиля». С годами Тютчев все менее употребляет архаизмы и церковнославянизмы, но отзвуки декламаторского и торжественного стиля живут в его поэзии. Ср. навеянное прозой Г. Гейне стихотворение Тютчева о Наполеоне:

В его **главе** орлы парили,
В его груди **змии** вились
Широкрылых вдохновений...

Или: «Та ж взоров тихость, нежность **гласа**». Или уже в старости: «Куда **ланит** девались розы, Улыбка **уст** и блеск **очей?**», «Знай, **внутренней** своей во веки ты не передашь земному звуку». **Внутренняя** здесь церковнославянское существительное, взятое из Псалма («И вся внутренняя моя»).

В любимой форме четверостиший-афоризмов Тютчев прибегает к церковнославянизмам и архаизмам.

Когда пробьет последний час природы,
Состав частей разрушится земных:
Все зримое опять покроют воды
И Божий лик изобразится в них!

К звуко-слову и слову-представлению можно относить сложнослитные слова по типу древнегреческих и церковнославянских. Тютчев подбирает слова особого звучания и переливчато живого оттенка: громокипящий кубок, всезрящий сон, молние-видный, животрепетное сияние, стозвучный,⁴ мглисто-лилейно, дымно-легко, тихоструйно, многотревожный, круглообразный и т. п. Сами же рифмы Тютчева четки и довольно обычны для стихов, т. н., «Пушкинской плеяды» (Языков, Батюшков, Хомяков, Вяземский и др.). Пользуется Тютчев не только мужской, женской и средней рифмами, но и гипердактилической с ударением на четвертом слоге от конца слова. Использует для структуры стихотворений охватные и перекрестно-смежные рифмы. Любит ямб, но встречаем и трохей, амфибрахий, анапест и дактиль, а равно и искусное использование пиррихий. Белый стих Тютчев явно не любит. При всей связи с «пушкинской плеядой» он избегает обычных, «въедливых рифм». Чувствуется в рифмовке влияние Жуковского и романтизма с пристрастием к словам «он», «виденье», «тайна ночи», «воздушный житель», «очарованная мгла», «волшебный призрак» и т. п. Позднее, в расцвете зрелости, Тютчев все более тяготеет к упрощенности в предметном изображении видимого. Интересно, что поэт в окончаниях глаголов и прилагательных то оставляет «ё» по фонетике русского языка в закрытом

⁴ И. Бунин вероятно заимствовал в своем переводе «Песни о Гаявате» это слово от Тютчева. «Шумом диким и стозвучным, как в горах раскаты грома».

слоге, то сохраняет церковно-славяно-русскую звучность, как «е». «Оглушён — сон», но «свет — жжет» «плен — времен» «струя — ея» и т. п., что обогащает звукоряд стихов Тютчева. Это явление находим и у других поэтов XIX века. Ряд рифм Тютчева и звучен и прекрасен как неожиданные находки: пролила — орла, в бесконечном строе — минуло роковое, растёт — Новый Год, вдруг — потух, в весне — во сне, обнаженным — обожженным, и т. д.

М Е Т О Д (О Б Р А З Ы)

Стихи почти всегда сперва звучат в поэте, потом звуко-ритм ищет образа, образы поддерживают мысли, мысли складываются в идею, жившую в подсознании. Лирическая поэзия, как и всякая имеет **многозначимость**. Объясню на одном примере. В стихотворении Тютчева «Не то, что мните вы, природа» читаем:

...И языками неземными,
Волнуя реки и леса,
 В ночи не совещалась с ними
 В беседе дружеской гроза!⁵

Волнуя — колебля, но существенно и второе значение — тревожа, возбуждая, беспокоя. И вот, волнение реки, леса, трепет листьев, плеск, вздутие пенных волн все это в слове **волнуя**, но и нечто от **сознания**, от личности человека или от животного. Гроза **говорит** природе и людям **«языками неземными»**. Язык волнует, речь природной грозы внятна поэту. Чтобы приблизиться к возможно объективному постижению и значению образов применим комплексный метод: 1) имена в тексте, 2) авторский голос и его формы, 3) время и пространство,⁶ 4) повторение образов, 5) смысл и формы бытия связанные ступенчато: а) мироощущение, б) мирозерцание, в) мировоззрение, г) миропонимание и д) миропостижение.

Уже, лет тридцать пять тому назад в чешской Праге А. Бем, С. Завадский, Р. Плетнев и Д. Чижевский составили после большой работы словарь имен к художественным произведениям Достоевского. Они обратили внимание не только на сим-

⁵ Позволю подчеркнуть особенности ряда концовок Тютчева и его пристрастие к восклицательному знаку.

⁶ Ради краткости остановлюсь на Времени, как важнейшем элементе в лирике.

волику имен героев, но и на такие имена, как Магомет, Гёте, Кант и т. п. На основании цитат были утверждены их авторы (Блез Паскаль, Дюма-отец, Шиллер, Шекспир и т. д.). Протянулись новые нити от Достоевского к Гоголю, Грибоедову, к Онорэ де Бальзаку, Пушкину и другим мастерам слова. Открылись как-бы новые горизонты для изучения текста, влияний, совпадений идей, кругозора писателя. Такая же работа должна была бы быть сделана и применительно к Тютчеву. Имена в ткани художественной речи словно выступающие камни из ложа бурного ручья индивидуального творчества. По ним легче перейти на другую сторону потока, на тихий берег любования и постижения творческого преображения Жизни писателем и поэтом. Созрев рано умом, политик, но не политикан, Тютчев в одном стихотворении говорит:

...За нашим веком мы идем
Как шла Креуза за Энеем:
Пройдем немного — ослабею,
Убавим шаг — отстаем.

Почему же сравнивает себя и старшее поколение поэт с Креузой? — Креуза была женой Энея в Энеиде Виргилия. Убегая из горящей Трои она с трудом поспевала за легконогим супругом и изнемоги в пути как-то просто исчезла. Тютчев отлично знал классиков и даже поражал своим знанием своего учителя Ранча. Вот эта классическая выучка и подтолкнула руку Тютчева создать сравнение с Креузой, с живым прообразом для отстающего и теряющегося в Прошлом старшего поколения. Из античной древности и «ветряная Геба» в стихах о грозе, и бог Пан, и нимфы, и Атлас. Мир классической мифологии, равно как и мир мистики и натурфилософии Окена, Шеллинга и др. был открытой увлекательной книгой для нашего лирика. Вообще же изучение имен в текстах писателей следует делать преимущественно с трех точек зрения: 1) символичность (типа Пришибеев, Аглая, Шатов, Халтюпкина), 2) связь с личной жизнью писателя (ср. Мария для Пушкина), 3) знаки, указания на прочтенные книги, на моду в именах своего времени.

Авторский голос особенно важен и просто решающ в лирике. При всяком анализе стихов с эстетической позиции надо бы помнить о разнообразии проявлений авторского голоса. 1) прямое «я» автора или его другая сторона — «мы», где «мы» = «я». Ср. у Тютчева: «Передового нет, и я, как есть,

На роковой стою очереди». (Писано сразу после смерти любимого брата). Или: «Стоял я молча, в стороне, И пасть готов был на колени». Бывает «Я» несколько расширенного смысла, в значении «Я» и подобные мне люди: «О, как убийственно мы любим»... Третий тип голоса автора и его оттенка — автор комментатор, объяснитель: «Здесь, где так вяло свод небесный, На землю тощую глядит», «Когда пробьет последний час природы»... К этой же области следует относить и пространственные и объяснительные указания типа: ближе, вверх, вдали, как бы резвяся и играя, и т. п. Иное — это голоса героинь, героев, слышимые посредством голоса автора:

И вот, как бы беседуя с собой,
Сознательно она проговорила
(Я был при ней, убитый, но живой):
«О, как все это я любила!»

Подобное же и в стихах о Цицероне:
Оратор римский говорил
Средь бурь гражданских и тревоги:
«Я поздно встал — и на дороге
Застигнут ночью Рима был!»

За голосом героя-Цицерона — следует прямой ответ автора (Тютчева) и Цицерону и читателю:

Так! но прощаясь с римской славой,⁷
С капилийской высоты,
Во всем величье видел ты
Закат звезды ее кровавой.

Некоторые стихотворения Тютчева, меняя ритм, передают три разных голоса. Таков «Олегов щит», где турки, славяне и автор-комментатор совершенно ясно выделены: турки — «Аллах! пролей на нас свой свет! Краса и сила правоверных»; христиане — «О, наша крепость и оплот, Великий Бог веда нас ныне». Автор начинает с восклицания же и дает концовку — описание с ремарками о времени (полночь) и о действии (внезапность):

...Глухая полночь. Всё молчит.
Вдруг... из-за туч луна блеснула
И над воротами Стамбула
Олегов озарила щит.

⁷ Речь может быть только о Республике. Но империя была много славней и обширней республиканского Рима.

Тютчев намекает на русские победы 1828-1829 гг. Авторский голос в ряде лирических отступлений в творчестве Тютчева связан с Державиным, Байроном и Пушкиным.

Аспекты Времени для человеческого сознания различны: 1) Время как порядок явлений, феноменов в их последовательности («до» — «после»), 2) время в каком происходит дело, когда **нечто случается**, 3) время в Истории, время как форма Истории, где время равно времени Судьбы. В этом творческом времени, как полагали некоторые, напр. О. Шпенглер, Б. Пастернак, мы соучаствуем своим художественным творчеством. В лирике Тютчева мы наблюдаем все три основных лика времени. Тут и время повествования, как активно сущее; время будущее неопределенно пророческое — «когда пробьет последний час природы»; время — событие (восстание декабристов); время как фактор в действиях героев и в их чувствах, и, наконец, **время зеркального отражения** в воспоминаниях героя, в комментарии Лирика. О польском восстании 1830 года:

Не за коран самодержавья
Кровь русская лилась рекой!
Нет, нас одушевляло в бое
Не чревобесие меча...

Во времени (последовательность) и имажинарном Пространстве и являются поэтические образы. Если говорилось немало о немецком и родном, русском влиянии литератур на мир образов у Тютчева, если его политические воззрения связывались с писаниями Шатобриана и Жозефа де Мэстра, то очень мало, почти ничего не сделано для изучения религиозно-православной струи в лирике Тютчева. А и в ней есть источник для образов и символов у поэта. Вот один хотя бы пример заимствования образа и идеи из Ветхого Завета. Тютчев написал стихотворение на юбилей М. Ломоносова. Кончается оно так:

Да, велико его значенье —
Он, верный русскому уму,
Завоевал нам Просвещение,
Не нас поработил ему, —
Как тот боец ветхозаветный,
Который с Силой неземной
Боролся до звезды рассветной
И устоял в борьбе ночной.

В кн. Бытия, гл. 32-ая, читаем: «И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления зари... И сказал: отныне

имя тебе будет не Иаков, а Израиль; ибо ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь... И благословил его там». Теперь нам ясно откуда, от древне-еврейского пенуэл — от видения Бога как бы лицом к лицу Иаковым, — образ русского победителя в тьме невежества у Тютчева. Это религиозный образ. Другим из источников ряда образов и сравнений служило Тютчеву творчество близких по духу и форме. Таковым был, напр., образ поэта у Пушкина, образы осени, и осенних и весенних листьев, как символов жизненных лет. Подобно и темное жерло Времени взято у Державина и откликнулось в поэзии Тютчева. Вот, хотя бы, один пример: об осени Пушкин говорит:

...Мне нравится она,
Как, вероятно, вам чахоточная дева
Порою нравится. На смерть осуждена
Бедняжка клонится без ропота, без гнева.
Улыбка на устах увянувших видна:
Могилой пропасти она не слышит зева;
Играет на лице еще багровый цвет;
Она жива еще сегодня — завтра нет...

Тютчев же скажет об осени:

...Ущерб изнеможенье — и на всем
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем
Божественной стыдливостью страданья...

У обоих поэтов осень — болезненное, кроткое существо с легкой улыбкой. Или сравните тютчевское «А ты, мой бедный, бледный цвет, Тебе уж возрожденья нет» и пушкинское

Или с природой оживленной
Сближаем думою смущенной
Мы увяданье наших лет,
Которым возрожденья нет.

Не менее разительно сходство в образах поэтов в стихах Пушкина — «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон» и Тютчева — «Ты зрел его в кругу большого света». Особенно интересно повторение излюбленного сравнения поэта с месяцем в двух разновременных стихотворениях Тютчева. Самоповторение этого рода позволяет нам заглянуть в тайники души поэта. Одно стихотворение о поэте вообще, другое о Тютчеве и его отношении к тайно любимой женщине высшего света.

...Рассеян, дик иль полон тайных дум,
Таков поэт — и ты презрел поэта!
На месяц взглянь: весь день как облак тощий
Он в небесах едва не изнемог, —
Настала ночь, — и, светозарный Бог,
Сияет он над усыпленной рощей.

А в любовном стихотворении Тютчев подчеркивает:

...Душа моя! О, не вини меня!
Смотри, как днем туманисто-бело
Чуть брежит в небе месяц светозарный
Наступит ночь — и в чистое стекло
Вольет елей душистый и янтарный.

Кроме сходства смыслового, образного, здесь видим и сходство синтаксическо-мелодическое в построении фраз: «Настала ночь, — и светозарный Бог» и «Наступит ночь, и в чистое стекло».

Другую сторону в постоянстве ряда образов, в излюбленности и подчеркивании значения снов, сновидений-мечтаний, открывает Тютчев в ряде своих стихов о ночи. Сон, мечтание сонное, связаны с ритмом ночи. «О, повелительница ночь, ничто не в силах превозмочь победный шаг твоих сандалий», скажет уже в XX в. Н. Гумилев. В литературу с особой силой ввели тему и значение сна-откровения, сна сверхмудрого, романтики и прежде всего немецкие романтики. Но смысл и значимость снов входит, как своеобразная проблема в каждую большую литературу и великие писатели занимаются сном и как откровением, и как отражением жизни нашей совести, когда душевное тело (не духовное!) как бы плавает вне пространственно ограниченных форм чисто материального бытия. Но в области образов и идей колеблющегося сна у Тютчева труднее установить влияние не немецкой школы романтизма, а определенного писателя. Дело тут прежде всего в языке. Когда мы читаем у Тютчева, что поэт в кругу большого света «угрюм, рассеян, дик иль полон тайных дум», мы легко находим сходные рифмы «поэта-света», эпитеты «дикий и суровый» у Пушкина. Стихия же сна передана Тютчевым по-русски и переводные отклики с немецкого и словарь его неуловим, или почти неуловим. М. б. Тик, а м. б. Новалис? Но возможно, что и Брентано?

Тютчев все время в своем творчестве возвращается к темам сна, ночи, Космического сознания. Это не столько роман-

тическая школа, сколь свойство его духовной сущности, его **Космической** памяти: «Беспамятство, как Атлас, давит сушу, Лишь музы девственную душу, В пророческих тревожат боги снах». Этой мысли своих средних лет Тютчев вторит и в старости:

«Любовь есть сон, а сон — одно мгновенье».⁸

Или:

Как океан объемлет шар земной,
Земная жизнь кругом объята снами;
Настанет ночь, и **звучными** волнами
Стихия бьет о берег свой.

В другом стихотворении дается и объяснение ощущению звука, звучности:

На мир дневной спустилася завеса...
Откуда он, сей гул непостижимый?
Иль смертных дум, освобожденных сном
Мир бестелесный, **слышный**, но незримый
Теперь роится в хаосе ночном?

И **ночной душе** поэта и сам ветер ночи поет о хаосе:

«О, страшных песен сих не пой Про древний хаос, про родимый! Как жадно мир души ночной Внимает повести любимой!»

Тютчев по природе своей поэзии прежде всего поэт-философ. Вот, стариком едет он в 1865 году в тряской скрипучей коляске по Московской губернии к городу Рославлеву и видит яркую радугу. Хватает спешно лоскуток бумаги и пишет сразу набело поверх цифр, счетов, названий почтовых станций:

Как неожиданно и ярко,
На влажной неба синеве,
Воздушная воздвиглась арка
В своем минутном торжестве!
Один конец в леса вонзила,
Другим — за облако ушла,
Она полнеба обхватила
И в высоте изнемогла.

Картина написана, но что-то словно не договорено, не закончено, что-то тревожит поэта. Через несколько дней он дописывает второе, заключительное восьмистишие:

⁸ Ср. Кальдерона «Жизнь есть сон», хорошо известное Тютчеву произведение великого испанца.

О, в этом радужном виденье
Какая нега для очей!
Оно дано нам на мгновенье,
Лови его, лови скорей!
Смотри — оно уж побледнело, —
Еще минута, две — и что ж?
Ушло, как то уйдет всецело,
Чем ты и дышишь и живешь.

Так, из простой картины природного явления создается, охваченная тенью пессимизма, философия жизни живущей радостью мгновения, но сознавшей неизбежность погружения в небытие.

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОЗРЕНИЯ

В молодости у Тютчева создавались на прочном фундаменте мироощущения — мирозерцание, потом мировоззрение, миропонимание и наконец своеобразное миропостижение. В этом сложном росте-развитии важен прежде всего великий германский мистик Яков Бёме (1575-1624). Как раз в бытность Тютчева в Мюнхене, где он с восторгом слушал философа Баадера, большого знатока бароко, Шиблер начал большое издание (начало 1830-х г.) трудов Я. Бёме. По моему мнению, под прямым воздействием Я. Бёме читаем мы у Тютчева в «День и Ночь»:

На мир таинственный духов,
Над этой **бездной безымянной**,
Покров наброшен златотканый...

Из того же Я. Бёме мысли о Хаосе, как праоснове всего, о сочетании противоположностей и ряд других идей. Я. Бёме — сапожник, проповедник, ересиарх, мистик конца эпохи Возрождения и начала бароко. Для Тютчева, полагаю, было важно не сочинение Бёме «*Der Weg zu Christo*», а «*Aurora, oder die Morgenröte im Aufgang*» и некоторые другие трактаты. Бёме крепко верил в то, что он получает непосредственные откровения Свыше. Поэтому мистически очень одаренный самоучка полагал себя непосредственно просвещенным и видящим и сущность и корни всех вещей. Основа всего есть Ургрунд — Праоснова. В этом Ургрунде соединены все контрасты и из него исходят в мир все противоположности — небесное и адское, мягкость и жестокость, твердость и мягкое и т. д. В конце концов, по Бёме, все должно согласоваться в Едином, т. е. в трех

основах Божественной Сущности (Бытия) — «Бог есть все во всем». Сравните у Тютчева «Всё во мне и я во всем». «В превечной Божественности, писал Я. Бёме, все пребывает **как бы во сне** латентности... Но Воля претворяет Агонию в Свет, а Свет дает Любовь. И только Любовь дает оттенки Бытию и Бытия» «Мистериум Магнум». Однако, в Ургрунде есть и то, что люди зовут Злом. Оно пребывает в Хаосе, в Бездне. «Хаос **движется**», — вспомним Тютчевское «под ними Хаос **шевелится**». Сходно учению Апостола Павла Я. Бёме говорит о составе человека. Он находит в нем тоже три элемента — три природы: тело, душа и дух. В Самопознании есть особая первая ступень — познание Хаоса в **прозрении** души. Это — «вещающая душа» у Тютчева, то, что под влиянием германского мистика Тютчев именует «двойным бытием» на пороге Вечности. Это — шевелящийся в Ургрунде и в душе Хаос, соответствующий памяти о праоснове, Прахаосу. Это и есть тот страх внетелесного бытия, о котором не раз пишет и Тютчев. Декламаторски-философская и вместе лирически-напевная раздвоенность дум и чувств-прозрений у Тютчева пронизана символически значимыми образами. Для них важен Я. Бёме и менее, но тоже существенны — Окен и Баадер.

Вопрос философии образов связан с их символикой и сталкивается с конфессией, с религиозными убеждениями каждого писателя. Исследуя этот вопрос по лирике и письмам Тютчева, я пришел к довольно любопытному выводу. У Тютчева нет постепенного нарастания религиозных образов, символов, и т. п., что мы путем статистического метода находим у Достоевского, Лескова, Лермонтова и др. Нет и довольно (после пятидесятих годов) ровной линии агностицизма с долей скепсиса, как у Тургенева, и атеизма-агностицизма, как у Гаршина или Короленко. Нет и острого кризиса, подобного кризису в жизни Д. Писарева или Вл. Соловьева. У первого, он ведет к атеизму и грубовоинствующему материализму, у второго — к христианству и боголюбию с софийной окраской. Тютчев почти всегда романтик, мистико-мечтатель. Изредка охлаждение к понятию Бога и всего раз явное бунтарство:

...Мужайся, сердце, до конца:
И нет в творении Творца!
И смысла нет в мольбе.

В моменты горького разочарования, уныния Тютчев ищет

успокоения в прелести природы. Юность — Весна, радует, утешает:

Каким бы строгим испытаньям
Вы ни были подчинены, —
Что устоит перед дыханьем
И первой встречей весны!

Колебания разума и чувства Лирика по отношению к вере в Творца бывали и в молодости, и в начале полной зрелости. И, увы, восприимчиво податливая натура Тютчева отрывалась от веры отцов не под влиянием исторических или природных катаклизмов, или раздумий о революциях, о страданиях невинных и детей. Случалось это и не под влиянием рассудочных трудов Геккеля или Вирхофа. Нет, мелко личные неудачи, превеликая запутанность чувств в предсердии левом и предсердии правом (жена и любовница) — тянули перо поэта к горьким словам, близким к отрицанию Промысла. Только много позднее наступает некоторое смирение, дух поэта просветляется под влиянием страданий и он уже различает проступок, ошибку и **грех**. В такие мгновения поэт говорит, что «душа готова, как Мария, к ногам Христа теперь прильнуть» (См. Лука, VII, 38). Тогда же чудилось Тютчеву, что сам Христос в рабьем зраке, подобный нищему крестьянину, исходил Россию вдоль и поперек. Поэт начинает говорить уже и о смысле покаяния. Грезилась, порою, ему темная масса страждущего русского народа. Хочется именно теперь вспомнить эти грустно-вещие строки.

Над этой темною толпой
Непробужденного народа
Взойдешь ли ты когда свобода,
Блеснет ли луч твой золотой?
Блеснет твой луч и оживит
И сон разгонит и туманы...
Но старые, гнилые раны,
Рубцы насилий и обид,
Растленье душ и пустота,
Что гложет ум и в сердце ноет, —
Кто их излечит, кто прикроет?
Ты, риза чистая Христа.

Борьбу с культом всякой тирании Тютчев видел в последовательно милосердном, Божьем и человеческом отношении к душе, сердцу, к собрату-человеку. Длительна и трагично постоянна в истории людей борьба Свободы с Тиранией всех ро-

дов, видов и оттенков. Думая об этой вечной борьбе Тютчев написал стихотворение прозрений в звонкокованном стихе:

Смотри, как Запад разгорелся
Вечерним заревом лучей,
Восток померкнувший оделся
Холодной, сизой чешуей!
В вражде ль они между собою?
Иль солнце не одно для них
И, неподвижною средою
Деля, не съединяет их?

Р. Плетнев

Э Т О . . .

Это — жизнь одиноко
а не по нормативам
больше — лепет, уловка
и всхлипы и хруст
это — песня опять
по забытым мотивам
это первое чувство —
смятенная грусть
эти странность и старость
увы, не уловка
и пустая улыбка
разбитых орбит
всё по-детски
смешно и неловко
этот полубольничный
быт
это — жизнь
это — не нормативы
угол, гостя угрюмая
грусть
это прежнее
эти мотивы
чудом жизни надломленный куст

РУССКИЙ ЛЕС

Деревья, верую — совсем уж голые
да роща, серая — одна со школою
да тишь на кладбище — под голой горкою
да сани спят еще — во сне с Егоркою

Листы полощутся, совсем уж голые
с решеткой рощица, да сад со школою
да рожь, в дрожании — под синей горкою
Господь, в сиянии — в санях с Егоркою
Да вот и сам еще, как раз под вербою
сам без пристанища, со старой с Верою.

*

«сны зодотые сонеты»

верблюды века вереницы
какие-то пешие бродят
пальба с палестинской границы
на Запад уйти к антиподам?
о, осенние листья кружатся
монтаж передвижной природы
и надобно поражаться
господа, как живут антиподы
(и надобно поражаться
господа, как живут антиподы)
дугу-радугу небо навесило,
и не в аллегории горе
и весело и не весело
что между нами море
(и весело и не весело
что между нами — море).

Яков Бергер

ПИСЬМА Н. Д. ТЕЛЕШОВА К И. А. БУНИНУ

ПУБЛИКАЦИЯ И КОММЕНТАРИИ Л. Ф. ЗУРОВА

С Николаем Дмитриевичем Телешовым Ивана Алексеевича Бунина связывала долгая и сердечная дружба. Познакомились они в Москве в 1897 году. У Телешовых П. А. Бунин не только часто бывал (см. книгу воспоминаний покойного Н. Д. Телешова «Записки писателя»), но и читал у них на литературных, известных всей Москве, «Средах» свои новые рассказы. В одном из писем к Н. Д. Телешову (от 28.8.1947 г. Опубликовано по А. К. Бабореко и А. Н. Телешовым. «Исторический архив». Академия наук СССР. Вып. 2, М. 1962, стр. 166) П. А. Бунин своему старому и далекому другу написал: ...«осенью день твоего рождения. Заранее поздравляю тебя, братски целую — да хранит тебя Бог — ты один из самых прекрасных, благородных людей каких я знал на своем веку...»

Весной 1918 года П. А. Бунин с В. Н. Муромцевой покинули Москву. В 1919 году они жили в Одессе. В мае месяце В. Н. Муромцева неожиданно получила от Николая Дмитриевича заказное письмо из Москвы, в котором, на третьей и четвертой страницах, находилось и послание к Ивану Алексеевичу. Это письмо находится в бунинском архиве.

Восьмого мая 1941 года, после молчания в течение двадцати трех лет, П. А. Бунин послал Н. Д. Телешову открытку из Грасса (Приморс. Альпы). На нее он не получил ответа.

Переписка началась только в 1945 году. Франция была освобождена. Бунины возвратились в Париж.

В «Историческом архиве», до публикации в советской прессе литературного завещания П. А. Бунина (опубликованный в «Новом Журнале» текст завещания перепечатал в московской газете П. Л. Вячеславов) было напечатано одиннадцать писем П. А. Бунина, отправленных Н. Д. Телешову в 1941-

1947 г.¹ Среди них было опубликовано и письмо Н. Д. Телешева к П. А. Бунину (отосланное «позднее 11 ноября 1945 г.», как об этом напечатано курсивом), т. е. то письмо Н. Д. Телешева, которое, по неизвестным причинам, до Н. А. Бунина не дошло.

В бунинском архиве имеется восемь писем Н. Д. Телешева. Публикую их, так как переписка Н. А. Бунина с Н. Д. Телешевым является исключительно ценной для русской литературы.

Л. Зуров.

* * *

18 мая 1919 г.

Дорогая Вера Николаевна.²

Радуюсь весточке о Вас. Так давно ничего не знал и тревожился. Вчера сообщил мне Юлий,³ что Вы живы, здоровы и где живете. Пожалуйста, напишите хоть немного. Очень интересуюсь знать о Вас. Нам жить очень трудно. Дороговизна ужасная, и заработок не соответствует дороговизне, да и старость, боли в ногах, в костях, слабеет зрение. Трудно жить, но что ж поделаешь. Волки хуже живут.

Не подрезало бы здоровье, остальное все вынести можно. Весна наша стоит холодная, серая, в буквальном смысле — май глядит сентябрем. Желаю Вам здоровья. Не поминайте лихом.

Ваш Митрич

Жена шлет привет.

Дорогой Иван Алексеевич,

Наконец то узнал о тебе, что ты жив и живешь в Одессе. Я тоже пока жив, но очень устал, хотя все еще работаю, и надо сказать так много, как никогда. Писать некогда, но все-таки пишу, хотя не на чем: бумага дорога, как сапоги, а са-

¹ Академия наук СССР. Исторический архив. 2. Москва 1962. Вступ. статья А. К. Бабореко, А. Н. Телешева.

² На конверте написано рукой Н. Д. Телешева: Заказное. В Одессу Княжеская, 27. Вере Николаевне Муромцевой.

³ Юлий Алексеевич Бунин — брат Ивана Алексеевича. Остался в Москве. У него Иван Алексеевич оставил на хранение сундук со своим литературным архивом, в котором находились рукописи, письма, фотографии, деревенские записи, книги. После смерти Юлия Алексеевича Бунина архив Ивана Алексеевича хранил Н. А. Пушешников.

поги дороги, как хлеб. Напиши мне скорее, могу ли я рассчитывать на твою вещь, в лист, в 2, для сборника, но не для Слова, а для совершенно нового, который мне, может быть, удастся наладить. Но это условно пока, т. к. вопрос не решен и я только стремлюсь его наладить. Если налажу, то под рукопись дадут аванс или прямо плату. Вещь должна быть приемлемая для наших дней, это ясно. Про стихи тоже ответ. А главное, по какой цене, то и другое, чтоб не запугать. Все это, повторяю, еще в проекте, но если не буду иметь данных и материала, то нельзя и разговор вести. Тогда все это отдалится и, вероятно, прервется. Просто я хочу, чтоб мне было поручено составить сборник, а то и два. Скажи, если знаешь что либо, про других, про Толстого, Митрофанюча, и др., кого можно и желательно использовать. Тогда я буду хлопотать, а с пустыми руками и затевать нечего. Значит условия: 1) допустимость в цензурном отношении, 2) размер, 3) цена. Срок, вероятно, к осени: август, сентябрь. Но, оговариваюсь, м. б. ничего из этого не выйдет. Ведь бумагу достать трудно, и сговориться на такое дело нелегко. Интересы авторов буду поддерживать сколь могу, но для переговоров нужны минимумы. Ответь обо всем, и о тех, кого можно взять. Буду писать после Вересаеву, Шмелеву.

1919 май 18.

Твой Митрич.

Адрес старый
д, 18, кв. 15.

* * *

Дорогой Иван Алексеевич,⁴

Довелось на днях узнать, что ты жив и здоров. Сердечно радуюсь этому и шлю тебе дружеский привет. Тебе и Вере Николаевне. Получил твою открытку в 1941 году и не успел ответить, т. к. налетели на нас фашисты и всякое общение с Европой прекратилось. Затем пришли вести о тебе весьма печальные и я, поверив им, напечатал даже в своей книге воспоминаний, «Записки писателя», о тебе то, что по русской

⁴ Это единственное письмо напечатанное на пишущей машинке. Подписался Н. Д. Те-в зелеными чернилами, а адрес внизу написал своими лиловыми чернилами, которыми написаны все его письма-автографы. 8-го декабря И. А. Бунин ему ответил: «были рады получить через Триоле твоё сердечное письмецо». Триоле-Арагон Эльза — французская писательница, коммунистка.

народной поговорке, обещает тебе долгую счастливую жизнь.

Дорогой мой, откликнись, отзовись!

Наша Родина, как тебе известно, вышла блестяще из труднейших условий войны и всяких потрясений. У нас все прочно и благополучно. Когда вернулись к нам Алексей Толстой и Куприн и Скиталец, они чувствовали себя здесь вполне счастливыми.

Шаляпина и Рахманинова у нас чтут и память их чувствуют. Таково отношение у нас к крупным русским талантам.

Отзовись, тогда напишу побольше

Твой Н. Телешов

11/X 45.

Мой адрес: Москва, Проезд Художеств. Театра, д. 3-а. Музей МХАТ.

* * *

Дорогой Иван Алексеевич.

Несказанно рад, что нынче днем получил твою открытку от 7 сент. Для меня это большая радость. Ведь мы считали тебя погибшим. Даже в моей книге воспоминаний это есть. Целую тебя и милую Веру Николаевну. Напиши о себе побольше. Твоя книга листов в 25 печатается в Гос. Издат-ве. Про себя скажу: что Ел. Андр.⁵ скончалась 2 года назад, а сын все еще не вернулся. Он на войне был с первых дней. Теперь я стар и одинок. Но есть у меня внук, 16-ти лет. Он мне и помощь. Напишу тебе больше, а сейчас хочу только откликнуться. Говорил сейчас с Ек. Пав.⁶ Она тоже рада, что ты жив и здоров. Целую вас обоих. Твой Н. Телешов.

* * *

(Позднее 11 ноября 1945 г.)⁷

Дорогой Иван Алексеевич,

Очень обрадовал ты меня своим письмом от 7 сентября и хотя шло оно ко мне долго (получил 11-го ноября), но открыло мне оно, наконец, всю правду, которой я так добивался. Счастлив узнать, что ты жив и здоров. Твою первую открытку

⁵ Елена Андреевна Телешова, жена Н. Д. Телешова.

⁶ Екатерина Павловна Пешкова.

⁷ Письмо это И. А. Бунин не получил. В архиве его нет, но оно опубликовано в «Историческом архиве».

в 1941 году, я получил (с твоим восклицанием «хочу домой!»), но ответить уже не имел возможности, налетел Гитлер и пошла величайшая разруха, величайшая война, правильно названная Отечественной. Все пути были отрезаны. А через год пошли слухи, что будто бы ты, резко отказавшись от предложенного выступления, был арестован фашистами и замучен в их застенке. Все это было достаточно правдоподобно в те ужасные годы. Я всячески пытался наводить справки о тебе, и, все, все говорило за то, что ты погиб. Даже Серафимович уверял меня, что это ему определенно известно и сомнений нет. А в это время печаталась моя книжка «Записки писателя», куда я и вставил о тебе несколько печальных слов. Ничего: по народной примете это означает долгую жизнь! Меня тоже два раза хоронили. Как-то давно уже В. Я. Брюсов, встретив меня возле Большого театра, всплеснул руками и почти закричал: — «Вы живы?! Как я рад»... Оказалось, что по Москве прошел слух обо мне «несколько преждевременный». Вересаева тоже два раза хоронили, а нашего Качалова, кажется, раз восемь.

Да, милый друг, не много нас осталось к сегодняшнему дню. Почти никого. Да и что ж удивляться. Ведь каждому из нас, оставшихся, под 80 лет. Твое письмо попало ко мне как раз в день моего рождения: 11-го ноября. И это было для меня лучшим приветом. Я послал тебе маленькое письмецо, когда дошли до меня первые слухи, что ты жив. Большое одолжение сделали мне в иностранном отделе Союза писателей приняв это письмо для передачи тебе.⁸ Прошу тебя, напиши мне о себе подробнее и попроси этот отдел Союза переслать его в Москву, Кузнецкий мост, 12. Был бы очень обрадован, если б ты выслал сюда же книгу свою новую, о которой пишешь в письме.

К тебе везде отношение прекрасное. Твою открытку ко мне всю затрепали — так интересуются тобой и ждут. Между прочим очень важно, что Гос(ударственное) издат(ельство) печатает твои рассказы около 20-25 листов. Это очень значительно и приятно.

Про себя скажу, что очень я одинок без Ел(ены) Андр-

⁸ Письмо Н. Д. Телешова было передано Ив. Ал. Бунину французской писательницей Эльзой Триоле, ездившей в Москву.

(еевны). Да и стар я очень и устал. Андрюша⁹ два дня тому назад неожиданно прилетел из Берлина на побывку на 2 недели. Соскучился я без него. Живу все там же на Покровском бульваре, при мне жена сына и внук Володя 16 лет, хороший мальчик, мой друг и помощник. Работаю во всю мочь, и служу, и пишу, и читаю публично, и сам дивлюсь, как я еще ноги таскаю. А ничего, живу и головы не вешаю.

Как Вера Николаевна? Вот бы повидать вас всех. Жду твоего письма.

Целую Вас обоих и желаю счастья. Твой Н. Телешов.

* * *

И. А. Бунин написал Н. Д. Телешову два больших письма: (8 декабря 1945 г., 30 января 1946), и открытку (19 ноября 1946 года).

Только 25 декабря 1946 года И. А. Бунин получил от Н. Д. Телешова ответ.

Дорогой Иван Алексеевич,

Получил твою открытку от 19/XI и был рад узнать, что ты жив и здоров. Я уже потерял надежду на сведения о тебе. Последнее письмо твое я получил год назад и отписал тебе обо всем, о том, что племянник твой Дмитрий Ал. жив и где-то служит юристом. Встречал его уже давно и редко. А Николай Ал., мой добрый знакомый, умер года уже три назад. Его жена, очень милая женщина, работает в книжном магазине и мы видимся не редко. Я писал тебе два письма больших, в декабре и январе, но очевидно они к тебе не попали. Ты тоже замолчал и я думал, что ты куда-то переехал в иной город, не сообщив адреса. Перестал и я писать. А мне хотелось бы сказать, что ты вовсе неправильно думаешь об издании твоего тома у нас в Гос. Издате. Он разошелся бы моментально — так его многие ждали — и за границу бы попали только случайные немногие экземпляры для автора и его приятелей, а это — десяток. Никакого значения для изданий в Париже это иметь не могло и ты напрасно затормозил издание!

⁹ Андрюша — А. Н. Телешов, сын Н. Д. Телешова: В письме от 30/I 1946 г. И. А. Бунин второй раз запрашивает Н. Д. Телешова о своих племянниках. «Жду твоего сообщения о судьбе (живы ли?) моих племянников Пушешниковых». Н. А. Пушешников умер в 1939 году.

Был бы от него с хорошим гонораром. Напиши в Гос. Издат., или мне о своем желании выпустить эту книгу. Она разошлась бы в неделю и понадобилось бы 2-е издание, где ты мог бы исключить те рассказы, которые считаешь лишними. Уговаривать тебя не буду, но сам разберись в этом. От добра добра не ищут.

О твоём желании по поводу прежних книг я уже сообщил Гос. Издату, но ответа пока нет.

Я стал очень стар. Мне ведь осенью будет 80 лет. Шутка сказать! Стал глухой, ни одного зуба нет. Но работаю во всю мочь и только этим и поддерживаю свою жизнь. С утра до вечера на службе, а вечером за письменным столом до полуночи. И так ежедневно и очень доволен, и считаю, что нашему брату, старику, надо работать до последней секунды. А потом на-бок — и все! Шлю тебе и Вере Николаевне сердечный привет.

25 декабря 46 г.

Твой Н. Телешов

* * *

13.3.47

Дорогой Иван Алексеевич,

Извини, что отвечаю тебе с запозданием. Очень я стар и за последнее время то и дело хвораю, что в мои 80 лет извинительно, да и понятно.

Плохо чувствую себя, но все время работаю — днем на службе, вечером за письменным столом. Пишу обычно до полуночи — каждый вечер. В этом и черпаю силы для остатка жизни. Здоровье — ничего себе, но силы плохи.

Жаль, что ты в свое время не согласился на издание своего тома. Я сообщил Гос. Издату о твоём недавнем согласии на напечатание твоих рассказов из собрания «Петрополиса», но не имею на это никакого ответа. Если не ошибаюсь, прежний набор уже не существует.¹⁰ В свое время ты выслал Аплетину¹¹ свои 2-3 книжки и в их числе о Толстом. Я не читал их, к

¹⁰ В письме от 30/I 1946 г. И. А. Бунин написал Н. Д. Телешову (который, судя по всему это письмо не получил, хотя оно и напечатано в «Истор. архиве»)... «вот моя горячая просьба: если возможно, не печатать совсем этот сборник, пощадить меня; если уже начат его набор — разобрать его...»

¹¹ Михаил Яковлевич Аплетин, критик, заместитель председателя Иностранной комиссии Союза советских писателей.

сожалению, а очень интересуюсь. Не можешь ли подарить эти книги мне? Тогда напиши Аплетину, чтобы он передал их мне в собственность. Будь покоен, они не пропадут у меня, и если понадобятся для переиздания, то я их немедленно отдам. Если даже к тому времени не буду жив, то их не задержит либо мой сын, либо мой внук. А мне хотелось бы их иметь.

Жена твоего племянника,¹² Н. А. очень заболела сейчас,¹³ и я не знаю, успела ли она написать тебе ответ.

Мне все стало уже трудно — и ходить, и работать, и просто — жить. Время делает свое дело. Все это законно и понятно. Я ведь прожил долгую и хорошую жизнь. Умирать никогда не боялся, а теперь в 80 лет и подавно. Гляжу на все спокойно и благодарными глазами.

Работаю во всю мочь, и буду работать, и в этом вижу свое благополучие. Без работы я был бы нуль, а теперь я кое-что значу. У нас все это ценится.

Шлю тебе и Вере Николаевне сердечный привет.

Твой Н. Телешов.

Твоего обещанного «большого» письма не получил.

* * *

Дорогой Иван Алексеевич.

За последнее время очень я стал уставать и наконец совсем расклеился и пролежал в постели. Ничего не поделаешь: старость дает себя знать. Мне ведь осенью стукнет 80 лет. Легко сказать. Сейчас отдышался и завтра уезжаю в Большеево, в санаторий Академии Наук. Литфонд дал мне путевку бесплатно. Это у нас бывает. И я надеюсь там отгуляться и поправиться. В прошлом году я там тоже был. Необыкновенно внимательны были ко мне. Два врача взяли меня в руки и крепко держали весь месяц, купали, поили, лечили — и я действительно поправился и почти всю зиму был бодр и здоров.

¹² «Не знаешь ли что-нибудь о моих племянниках — Николае и Дмитре. Пушешниковых? Живы ли?..» (в письме от 19/XI 46). «Очень огорчен смертью Коли — скажи его вдове, чтобы она мне написала, как он жил последние годы, от чего умер, что оставил из своих писаний...» (в письме от 8/I 47).

¹³ Слова «очень заболела сейчас», «успела ли», «и хорошую», «благодарными глазами» И. А. Бунин подчеркнул красным карандашом, а на полях поставил красный вопросительный знак.

Но вот к весне ослабел. Прежних сил уже нет. Очень грустно, что ты тоже все нездоров. А ведь ты моложе меня. Не знаю, куда адресовать тебе это письмо. В доме отдыха ты вероятно не так долго будешь.¹⁴ Лучше уж направлю в Париж, на старый адрес.¹⁵ Надеюсь, что Вера Николаевна живет на прежней квартире. Пожалуйста передай ей мой самый сердечный привет. Благодарю тебя за намерение выслать мне книги «Темные аллеи». Очень интересно, что ты сам так доволен ею. Моя книга «Записки писателя» имеет очень большой успех. Она вышла в Англии и в Финляндии с весьма лестными предисловиями. И у нас готовится новое издание с новыми главами. Если ты помнишь немножко мою «Сухую беду», где описывается молодой чуваш, то вот что с ней теперь творится, с этой «Сухой бедой»: чувашская книжная палата и ихние издательства печатают повесть и по-русски и по-чувашски, и так ее превозносят, что даже не верится, чтобы рассказ написанный полвека назад, мог так заинтересовать теперешних читателей.

Вообще я живу хорошо, но вот только силы нередко изменяют, и очень уставать стал. Все становится трудно, за что ни возьмись! Но надеюсь на предстоящий месяц отдыха и лечения и, может быть, опять буду на что-нибудь годен.

Желаю тебе и Вере Николаевне здоровья, шлю сердечный привет!

3/VI 47.

Твой Н. Телешов.

* * *

Дорогой мой, старинный друг, Иван Алексеевич, — сейчас получил твою открытку от 28 августа и сейчас же отвечаю тебе, хотя и поздно вечером, так что опущу письмо только завтра по утру. Я сегодня очень взвинчен: сегодня 800-летие нашей Москвы. Сегодня мы открываем наш музей Худ. Театра в новом обширном помещении, занимающем весь этаж огромного дома. Народа было множество на вернисаже. Из старых знакомых были Е. П. Пешкова, Дживелегов, Лучикши, Качалов, Дерман и другие немногие, кто еще жив. Мне, как ста-

¹⁴ И. А. Бунин в это время отдыхал в «Русском доме» в Жуан-ле-Пэн, на юге Франции.

¹⁵ На полях письма Н. Д. Телешова И. А. Бунин написал: «получено в Париже 15. IX. 47». Повестью Н. Д. Телешов называет «Жизнь Арсеньева».

рейшему москвичу, предоставлено было слово приветствия. Весь день сменялись волны зрителей, благодарили меня, говорили всякие хорошие слова... А сейчас, вечером, ходил по улицам. Какая красота! С мостов виден ночной Кремль, весь в электрических очертаниях своих башен. В определенный час повсюду, по всему небу, вправо, влево и вокруг, взвиваются широкими букетами разноцветные ракеты. Это так называемый салют.

Так все красиво, так изумительно прекрасно и трогательно, что хочется написать тебе обо всем этом, чтоб почувствовал ты хоть на минуту, что значит быть на родине. Как жаль, что ты не использовал тот срок, когда тебя так ждали здесь, когда набрана была твоя большая книга, когда ты мог бы быть и сыт, и богат, и в большом почете.

Спасибо тебе за обещание выслать мне «Аллеи»,¹⁶ но книгу эту я до сих пор не получил к великому моему огорчению. Но Аплетин передал мне твою повесть¹⁷ и черновики «Аллей», так что я познакомился с ними. А продолжение повести¹⁸ так и не знаю. Все это мне интересно и радостно.

Жизнь моя подходит к итогам. Считаю, что прожита счастливая, интересная жизнь и благодарю судьбу за все, что я видел и имел, за всех друзей моих, за скромное мое участие в литературе и за то, что в 80 лет я все еще могу работать и чувствовать жизнь.

Сейчас меня здесь знают. Получаю такие письма и приветия, что радуется старое сердце вниманию. Осенью, или вернее зимой, выйдет моя книга «Записки писателя» новым изданием, сильно дополненным. Хотелось бы прислать тебе эту книжку. Там обо всех наших друзьях написано. Между прочим первое издание перепечатано полностью на английском языке в Лондоне и на финском, с очень приятными для меня краткими предисловиями.

Ничего,¹⁹ брат, живем пока что! Но трудно становится от нагрузки лет, трудно в 80 лет ходить пешком в гору, лазить по лестницам, а вот работать — не трудно.

¹⁶ «Темные аллеи».

¹⁷ «Жизнь Арсеньева».

¹⁸ «Лица».

¹⁹ На полях И. А. начертил черным карандашом тройной крест.

Шлю тебе и Вере Николаевне сердечный привет, желаю успехов и хорошей жизни.

Мой Андрюша вернулся после 5 лет войны благополучно домой. Сейчас у меня большущий детина — внук 18 лет — Владимир, мой друг и приятель, похожий на Елену Андреевну. Живу хорошо, радостно, а умереть не боюсь. Гляжу я на все просто, и это дает мне силы.

Целую тебя и В. Н. Будьте счастливы и благополучны.
Искренно твой, Н. Телешов

7 сентября 47 г.

* * *

25/IX 47.

Дорогой мой Иван Алексеевич.

На днях получил твое письмо, но пока еще не мог сообщить Твардовскому о твоём восторженном мнении о его «Тёркине»,²⁰ т. к. лично с ним не был знаком и напишу ему, узнав его адрес. А сегодня, почти сейчас получил твой портрет с приятной и дружеской надписью от «старика Бунина». Как я благодарен тебе за эту присылку! Вот уж спасибо! Я 30 лет не только не видел, но и не слышал о тебе ничего. И только в году 43, когда все говорили о твоей гибели, узнал горест-

²⁰ В открытке от 10.IX.47. И. А. Бунин написал Н. Д. Телешову: ...«я только что прочитал книгу А. Твардовского («Василий Тёркин») и не могу удержаться — прошу тебя, если ты знаком и встречаешься с ним, передать ему, при случае, что я (читатель, как ты знаешь, придиричивый, требовательный) совершенно восхищен его талантом, — это поистине редкая книга: какая свобода, какая свободная удаль, какая меткость, точность во всем и какой необыкновенный народный, солдатский язык — ни сучка, ни задоринки, не единого фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого слова! Возможно, что он останется автором только одной такой книги, начнет повторяться, писать хуже, но даже и это можно будет простить ему за «Теркина»...

А в открытке от 15 сент. 47 г. И. А. Бунин написал: «на днях писал тебе, с каким редким удовольствием прочел книгу Твардовского «Василий Тёркин»: забыл прибавить, что недавно восхищен был еще одним рассказом К. Паустовского «Корчма на Брагинке»...»

Рассказ К. Паустовского был напечатан в «Новом Русском Слове». Это было первое знакомство И. А. Бунина с прозой Паустовского. Потом И. А. прочел печатавшееся в Н. Р. С. описание киевской осени. Л. З.

ную новость, оказавшуюся, к счастью, ерундой. Немирович и тот в своей книге пишет о твоей трагической кончине — с голоду. И я ввернул наскоро в свою уже печатавшуюся книгу то же известие. И вдруг, к моей радости, через 2 года, получил от тебя открытку. Можешь представить мою радость и мое отношение?..

Гляжу сейчас на твой портрет и дивлюсь: какой же ты стал старый хрен!!.. Но я еще «хренее» тебя. Я бы не узнал тебя, если бы встретил на улице. Бритый (непривычно все это!), с седыми висками, хотя голова и прикрыта шапкой... Ничего, брат, не поделаешь. Никакой шапкой, никаким бритьем не прикроешь то, что есть. Да и не нужно это скрывать. Старость имеет свою красоту, как итог долгой жизни. Большое спасибо тебе за этот присыл!

Очень грущу, что пропала книга «Аллеи». Аппетин мне передал только «Жизнь», а остальное у него разнесли. Моя книга «Записки писателя», будет издана заново, с большими дополнениями, но выйдет после Нов. Года. Хотелось бы прислать ее тебе. Живу хорошо, пользуюсь уважением и вниманием, получаю персональную пенсию в 1.000 р. в месяц, имею орден «Трудового красного знамени», дающий большие права, имею почетное звание «заслуженного деятеля искусств», тоже дающее не мало существенного. Вообще живу хорошо и работаю с утра до часа ночи, чем и поддерживаю свой «пульс». Целую тебя и милую В. Н. Еще раз спасибо за присыл.

Твой Н. Телешов.

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ ЦЕРКОВНОЙ СМУТЫ*

ОБНОВЛЕНЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Религиозной молодежи — нашей смене, нашей надежде — с глубоким уважением и любовью посвящают свой скромный труд авторы.

«Пригласите свидетеля Белавина!

В зале перерыв движения, а затем все замерло. Часовой распахнул дверь. Медленно входит высокий, стройный человек. Белая борода. Жиденькие седые волосы, черная шелковая ряса. На груди скромная серебряная иконка. И никаких знаков отличия.

Ваши, гражданин, имя, отчество, фамилия?

— Василий Иванович Белавин.

— Патриарх Тихон?

— Да, святейший патриарх всея Руси...»¹

Тридцать восемь лет назад были написаны эти строки и уже в труху превратилась газетная бумага, на которой они были отпечатаны. И вот снова, как тогда, слышится голос: «Введите»... — и вновь стоит перед суровым судом давно умерший Патриарх. И на этот раз уже не как свидетель, а как под-

* Рукопись — «Очерки по истории русской церковной смуты», авторами которой являются Анатолий Левитин и Вадим Шавров — мы получили с оказией из СССР. Эту рукопись мы печатаем без согласия и ведома авторов, в чем приносим им наши извинения. Но мы полагаем, что историческая и документальная ценность этой рукописи настолько велика, что ее опубликовать необходимо. Мы не даем никаких комментариев к этой рукописи, печатая ее только как документ. РЕД.

¹ «Известия» ВЦИК», 6 мая 1922 г. № 99. Статья Петра Ашевского «И святейший и правительствующий».

судимый — и рядом с ним его современники — друзья и враги — те, кто его обвиняли — и те, кто тогда сидели за судейским столом.

«Как Вы думаете, что скажет об этом история?» — спрашивает один из героев пьесы Шоу. «Наверное, солжет, по обыкновению», — отвечает на этот вопрос устами другого персонажа автор, — эти слова великого скептика пусть будут предостережением в начале этой работы.

Не лгать! Говорить правду, всю правду, ничего, кроме правды, как бы горька и трудна она ни была, и да поможет в этом Бог!

25 августа, 1960 г.

Н А Ч А Л О

Мучителен, сложен, зигзагообразен путь обновленческого движения в России. Дело обновления церкви — дело в своей основе святое и чистое, — и у его истоков стояли чудесные, кристально чистые люди.

«Как обновить наши церковные силы?» — озаглавил одну из своих статей величайший русский мыслитель Владимир Сергеевич Соловьев. И вся его жизнь — это страстная, вдохновенная проповедь обновления христианства, очищения его от грубых, средневековых подделок и извращений; проповедь построения на земле Царствия Божия — Царства правды, добра и красоты. Об обновлении церкви непрестанно говорили и писали ученики Вл. Соловьева, которые составляли блестящую плеяду замечательных мыслителей. Стихийным порывом к обновлению христианства была охвачена и русская литература от Достоевского и Толстого до Мережковского и Ал. Блока.

И в среду русского духовенства постепенно проникает стремление к обновлению церкви.

«Наличность либерального реформаторского движения, — писал В. И. Ленин в 1905 году, — среди некоторой части молодого русского духовенства не подлежит сомнению: это движение нашло себе выразителей и на собраниях религиозно-философского общества и в церковной литературе. Это движение даже получило свое название: «новоправославное движение» (В. И. Ленин, т. VII, стр. 84-85, изд. III).

Трагическая фигура архимандрита Михаила (Семенова) — чистого, бескорыстного человека, горячего энтузиаста и добродетельного монаха, запутавшегося в противоречиях эпохи и причудливо соединившего в конце жизни старообрядче-

ство со свободным христианством, заслуживает самого горячего сочувствия со стороны всех честных людей.

«Даже и не будучи полным единомышленником о. Михаила, — писал о нем знаменитый религиозный мыслитель, — можно заметить, сколь резко отличается он на фоне православного духовенства, в особенности же монашествующего. В его статьях и брошюрах чувствуется подлинная религиозность, палящее дыхание религиозной муки, напряженность постоянных религиозных исканий, тревога мятущейся мысли. Его душе близки социальные нужды нашего времени и ему свойственно пони иание социальных задач христианства, сложных и трудных задач, так называемого, христианского социализма. Его ухо слышит те стоны нужды и горя, к которым так глухи чиновники в митрах и клобуках», — так характеризовал его С. Н. Булгаков (см. газета «Товарищ», 6 декабря 1906 г. статья «Духовенство и политика», письмо в редакцию по поводу дела о. архимандрита Михаила).

«Совет представителей студентов Петроградской Духовной Академии постановил по поводу увольнения профессора Академии архимандрита о. Михаила, — выразить признательность и благодарность о. Михаилу, как открытому и честному борцу за свободу, в котором монашеская ряса не уничтожила человеческого достоинства», — так характеризовали о. Михаила его ученики («Русское слово», 8.XII 1906 г. № 134, стр. 4).

От. Григорий Спиридонович Петров, епископ Антонин Грановский и Андрей Ухтомский, думские священники о.о. Тихвинский, Огнев, Афанасьев, тифлисский мужественный пастырь от. Иона Брехничев и другие — более практические, чем от. Михаил Семенов, хотя и менее талантливые и вдохновенные, чем он, деятели дореволюционного обновленчества также заслуживают уважения за свою смелую борьбу с церковной казенщиной.

Они много способствовали тому, — что «обновление церкви» стало одним из популярных лозунгов в либеральной интеллигентской среде. Здесь можно очень многое сказать об исторической обстановке тех лет, но это не входит в наши задачи. Темой настоящей работы является характеристика русского обновленчества в революционное время. Следует все же указать на то, что уже в дореволюционном обновленчестве очень ясно ощущаются те внутренние противоречия, которые пронизывают впоследствии обновленческий раскол. Обновлен-

ческие лозунги, став модными после 1905 года, разумеется, тесно сочетались с освободительным движением, которое развертывалось в стране. Деятели церковного обновления иногда примыкали к крайним радикальным партиям: так, о. Михаил Семенов был лишен сана за свою принадлежность к народным социалистам, о. Григорий Петров был близок к трудовикам, а священники 2-ой Гос. Думы во главе с от. Тихвинским примыкали к социал-демократическим кругам. Все же в целом обновленческое течение между двумя революциями протекало в русле кадетского либерализма, лишь очень редко выходя за его рамки. В какой-то мере это способствовало его популяризации в интеллигентской среде; в то же время это обуславливало буржуазное опошление обновленческих идей. Если внимательно читать обновленческие документы (типа «Записки 32 петербургских священников», появившейся в 1905 году) и резолюции епархиальных съездов этого периода, можно легко заметить, как великие идеи Вл. Соловьева об универсальном, всестороннем духовном обновлении заменяются требованиями об ограждении прав приходского духовенства. «Палящее дыхание религиозной муки» неожиданно превращается в скулеж по поводу малых доходов сельских батюшек, а все грандиозное дело церковного обновления оборачивается, по меткому выражению епископа Антонина, в «стачку попов, бунтующих против своего начальства».

В этой атмосфере формировалось мировоззрение будущих деятелей обновленческого раскола.

Александр Иванович Введенский — главный лидер и самый значительный обновленческий теоретик — до конца своей жизни (несмотря на мгновенные изумительные взлеты) все же оставался типичнейшим представителем того церковного интеллигентского либерализма, который сформировался в предреволюционные годы и который иногда колко назывался «церковным кадетством».²

А. И. Введенский, который начал свою деятельность в предреволюционные годы, а затем стал центральной фигурой об-

² Как известно почти всем друзьям и врагам авторов, один из них является непосредственным учеником А. И. Введенского и лично близким ему человеком. Относясь с уважением и любовью к памяти своего учителя, я однако, полностью отрешаюсь от всяких личных пристрастий и буду говорить правду и только правду.

новленческого раскола, является в то же время связующим звеном между дореволюционным реформаторским «новоправославным» движением и обновленческим расколом.

К характеристике этого во всех отношениях замечательно-го человека мы сейчас и обратимся. Он родился в г. Витебске 30 августа (12 сентября н. с.) 1889 года в семье учителя латинского языка, вскоре ставшего директором гимназии. В честь Александра Невского, память которого празднуется в этот день, новорожденный назван был Александром. Будущий вождь обновленческого раскола был обладателем не совсем обычной родословной. Его дед Андрей был псаломщиком Новгородской епархии; по слухам он был крещеным евреем из кантонистов. Человек порывистый и необузданный, Андрей к концу жизни стал горьким пьяницей и погиб при переходе ранней весной через Волхов; семейное предание рассказывает, что, цепляясь за ломкий вешний лед и уходя под воду, псаломщик читал себе отходную. Его сын Иван Андреевич Введенский получил от своего отца противоречивое наследство: духовную фамилию «Введенский» и ярко выраженную иудейскую внешность; необузданно пылкий нрав и блестящие способности. Окончив духовную семинарию, сын сельского пьяненького псаломщика поступил на филологический факультет Петербургского университета — и затем надел вицмундир гимназического учителя. В памяти Александра Ивановича осталось, как его отец дослужился до звания действительного статского советника и как ликовала по этому поводу вся семья: выделившись из колокольного дворянства, Введенские юридически причислялись к «благородному» русскому сословию, хотя настоящие дворяне, разумеется, с иронией поглядывали на своих новых братьев. Мать будущего обновленческого первоиерарха Зинаида Савишна была обыкновенной провинциальной дамой среднего буржуазного круга, незлой и неглупой. Быт семьи директора Витебской гимназии мало чем отличался от быта тысячи подобных провинциальных семейств, раскиданных по бесконечным русским просторам, все члены этой семьи были самыми обыкновенными средними интеллигентами; на этом фоне неожиданно, как метеор, сверкнула яркая талантливая личность, в которой самым причудливым образом переплетались самые, казалось бы, несовместимые черты.

С недоумением смотрели на него родные и знакомые; все поражало их в странном мальчике. Наружность отдаленных ев-

рейских предков неожиданно повторилась в сыне витебского директора в такой яркой форме, что его никак нельзя было отличить от любого из еврейских детишек, которые ютились на витебских окраинах; он был больше похож на еврея не только чем его отец, но и сам его дед. Задумчивый и вечно погруженный в книги, он как-то странно выходил моментами из своего обычного состояния молчаливой замкнутости, чтобы совершить какой-либо эксцентрический, сумасбродный поступок. «Введенский — странный, странный ребенок», — говорили о нем гимназические учителя, — коллеги папашки. Но всего страннее была религиозность, экстравагантная, порывистая, неудержимая... она началась в раннем детстве; с семи лет с ним произошло что-то необычное, диковинное о чем он говорил потом очень редко, как-то вскользь с большой неохотой. «Семи лет я имел видение в храме», — сказал он мне однажды, когда мы говорили о книге Джемса «Многообразие религиозного опыта» — и тотчас перевел разговор на другую тему. Не было в городе более религиозного гимназиста, чем Саша Введенский; каждый день перед гимназией он посещал раннюю обедню: во время литургии приходил в экстаз, молился с необыкновенным жаром и плакал; худое тело высокого не по летам гимназиста сотрясало от рыданий, а молящиеся, вероятно, смотрели на него с изумлением и про себя говорили: «чудак, юродивый!» И дома он много и долго молился. Однажды попалась ему книга — «Идиот» Достоевского и он прочел ее залпом, не отрываясь, в один присест. Девяти лет прочитал он роман «Воскресение» в запрещенном заграничном издании и послал в Ясную Поляну негодующее послание; обиделся за главу об Евхаристии. Еще в раннем детстве он выучился (очень легко и быстро) играть на рояле и уже в одиннадцать лет разыгрывал довольно сложные вещи, так что многие считали его вундеркиндом. Очень рано потерял он отца, но отцовскую смерть перенес довольно равнодушно, зато еще более привязался к матери, которую нежно любил до самой ее смерти (в 1940 году) и, пользуясь правами епископа, после ее кончины причел ее к лику блаженных.

По окончании гимназии Александр Иванович поступает в Петербургский университет (на филологический факультет), — и с этого времени сразу же в его жизни наступает период бурной деятельности. Так же как в Витебске каждый день он бывает в церкви, в храме великомученицы Екатерины на Ва-

сильевском острове; с удивлением хозяйка квартиры (он жил на первой линии) отмечает, что в комнате молодого студента всегда горит лампада. В университете Александр Иванович увлекается больше всего философией (тогда историко-филологический факультет — был одновременно и философским). «Есть только две области после религии, которые доставляют наслаждение: гносеология и музыка», часто говорит он впоследствии. И музыкой занимается он неустанно, с увлечением, не знаям границ, каждый день по три-четыре часа играет на фортепиано, разучивая Шопена и Листа, которые на всю жизнь остались его любимыми композиторами. В 1910 году совершил он летом, вместе со своим товарищем, молодым студентом консерватории, певцом Ливером, гастрольную поездку по провинции, заезжая в самые глухие губернские и уездные уголки. Через пятнадцать лет (в 1925 году) совершил он примерно по этому же маршруту другое турне в качестве митрополита-апологета, только на этот раз он не играл на рояли, а потрясал стены филармонии и провинциальных лекториев своими речами на диспутах.

В университете у Введенского был близкий друг однокурсник Владимир Пищулин — тоже экзальтированно-религиозный юноша монашеского типа: впоследствии Введенский делает его священником и епископом, а потом (14 августа 1926 года) его бывший товарищ со слезами, публично, в храме, отречется от него и его дела, и будет считать полученное им из рук Введенского епископство величайшим грехом своей жизни.

В дореволюционное время, когда многие из петербургской интеллигенции были охвачены богоискательством, молодой студент Введенский становится частым гостем в салоне Мережковского и Гиппиус. Модные писатели обращают на оригинального студента-филолога свое внимание. Завязываются литературные связи, появляются новые знакомства и тут вдруг неожиданно оказывается, что мечтательный богоискатель обладает бешеной энергией и совершенно исключительной способностью натиска... В его голове рождается грандиозный план — выяснить причины неверия русской интеллигенции путем анкетного опроса работников интеллектуального труда в России. Задумав этот план, молодой Введенский начинает, как угорелый, носиться по редакциям газет и журналов — поднимает на ноги литераторов, профессоров, членов Государст-

венной Думы, земских деятелей. В конце концов, ему удастся заинтересовать своим планом либеральное «Русское слово»; в газете появляется соответствующее обращение за подписью: «А. И. Введенский». Начинается газетная шумиха, граничащая с сенсацией; на анкету откликаются тысячи людей. Скоро, правда, выясняется, что произошло забавное недоразумение, большинство читателей приняло безвестного студента за его прославленного однофамильца профессора философии А. И. Введенского. Посыпались обвинения в мистификации, так что молодому человеку пришлось выступить с печатным заявлением, что он не виноват в том, что другие носят его фамилию, имя и отчество. Так или иначе было заполнено несколько тысяч анкет и на основе этих данных Александр Иванович пишет свою первую статью «Причины неверия русской интеллигенции», помещенную в журнале «Странник» за 1911 год. Эта статья, блестящая по форме и глубокая по содержанию, является великолепным историческим документом.³

Для истории обновленческого движения эта статья интересна тем, что здесь как бы пунктиром намечено основное направление деятельности знаменитого проповедника и апологета. В основе массового распространения неверия лежат — два факта: кажущееся несоответствие религиозных догматов с прогрессом науки и глубокая испорченность духовенства, — отсюда две линии, по которым затем направляется деятельность будущего идейного вождя обновленчества: апологетика (примирение религии и науки) и реформация (обновление церкви). О то, насколько успешно были им выполнены эти две задачи в рамках обновленческого движения, мы расскажем на следующих страницах наших очерков, а пока отметим, что в этом труде двадцатитрехлетнего автора, быть может, проявилась и основная слабость его как деятеля. Есть что-то символическое в том, что его первая статья посвящена русской интеллигенции: всегда и во всем — и в своих реформах и в своей апологетической деятельности — он имел в виду прежде всего русского дореволюционного интеллигента: все его речи, проповеди, произведения предназначаются для рафинированной интеллигентской публики (все остальные слои общества порой как-то выпадают из его поля зрения), вот почему его деятельность в

³ Все произведения А. И. стали в настоящее время библиографической редкостью.

двадцатых-тридцатых годах, несмотря на весь новаторский пафос, все же имела привкус какого-то анахронизма. Следующие годы ознаменовались в жизни Александра Ивановича рядом важных событий: в 1912 г. он женится по страстной любви на молоденькой девушке, дочери провинциального предводителя дворянства, и с этого момента начинается запутанный и зигзагообразный путь его личной жизни.⁴

В это время он принимает решение стать священником. Чем руководился петербургский студент-литератор, принимая такое решение? Впоследствии он часто говорил о том, что пошел в церковь, имея твердое намерение «стать реформатором». «Я шел в церковь с твердым намерением сокрушить казенную церковь, взорвать ее изнутри», — слышал я от него не раз. Вряд ли, однако, он действительно ставил перед собой такие четкие и ясные цели. Натура эстетическая, порывистая, экспансивная, он был человеком минуты, легко поддающимся настроению. Религиозная настроенность, свойственная ему с детства, богоискательские веяния эпохи, — все это, вместе с неясными честолюбивыми намерениями, создали тип честолюбивого религиозного мечтателя, в котором искренний порыв сочетался с почти болезненной жадой самоутверждения. Так или иначе, с 1913 года, окончивши в это время университет, молодой Введенский начинает обивать архиерейские пороги. В церковных кругах, однако, встретили нового кандидата в священники холодно и недоверчиво: всюду и везде, где только он не появлялся, его подвергали томительным консисторским бюрократическим процедурам, а затем отказывали под каким-либо благовидным предлогом. «Представьте себе, — говорил он впоследствии, — они, оказывается, считали меня революционером и думали, что я добиваюсь места священника, чтобы вести революционную пропаганду».

⁴ Мы не упоминали бы про это, если бы сплетни и пересуды о личной жизни А. И. Введенского не пережили бы его и не оставались бы до сего дня любимой темой церковного мещанства. Скажу кратко: покойный был несчастен в личной жизни в силу сложившихся обстоятельств. Он страдал от ненормальных условий, в которых протекала его семейная жизнь. «Мне очень повезло по службе, — говорил он мне как-то раз с мукой на лице, — и страшно не повезло в личной жизни». Во всяком случае он до конца своих дней оставался верным другом и помощником своей первой жены и нежным отцом своих многочисленных детей. А. Л.

Тогда энергичный и талантливый искатель священства предпринимает смелый шаг — он является в Петербургскую духовную академию и заявляет о своем желании кончить ее экстерном. (Факт неслыханный в то время). Тогдашний ректор Петербургской академии епископ Анастасий принял просителя ласково и иронически: «Что Вам собственно от нас нужно, молодой человек? — Знаний. — Ну, полно вздор нести — это после университета то? — Я хочу стать священником, но меня нигде не берут, так вот я решил приобрести диплом духовной академии. — Вот это другой разговор. Правильно, молодой человек, вы смельчак — так и надо — сдавайте». В 1914 году А. И. Введенский, сдав в течение полутора месяца за весь курс Духовной академии, получил диплом об ее окончании. Вероятно, и академический значок мало бы ему помог, если бы не встреча с протопресвитером военно-морского духовенства Г. Шавельским: «Тот с радостью меня принял, не побоялся», вспоминал через тридцать лет Введенский. Перед самой войной, в июле 1914 года, А. И. Введенский наконец достиг своей цели и был рукоположен епископом Гродненским Михаилом в пресвитерский сан и назначен священником в один из полков, стоявших под Гродно, а через несколько недель грянула мировая война. Мы уделили столь много места этому мало известному периоду биографии Александра Ивановича не только потому, что все детали в жизни крупного деятеля представляют большой интерес для историка, но и потому, что биография Введенского это в какой-то мере биография того движения, наиболее выдающимся представителем которого он является.

Как в капле воды, в этом малоизвестном периоде его жизни отражается зреющее в некоторых кружках богоискательской интеллигенции течение, которое пробивает себе дорогу и в духовенство; там, в духовенстве, оно претерпевает ряд существенных изменений, и, в первую очередь, теряет ту декадентскую окраску, которая так характерна для религиозных исканий эпохи: декаденство, однако, осталось навсегда одной из существенных черт Александра Введенского как человека, и как деятеля. Уже во время первой литургии, которую он совершил на другой день после рукоположения, произошел знаменательный эпизод. Когда во время Херувимской песни новопоставленный иерей, стоя с воздетыми руками, начал читать текст Херувимской песни, молящиеся остолбенели от изум-

ления не только потому, что о. Александр читал эту молитву не тайно, а вслух, но и потому, что читал он ее с болезненной экзальтацией и с тем характерным «подвыванием», с которым часто читались декадентские стихи. Опомнившись от мгновенного изумления, епископ Гродненский Михаил, стоявший на клиросе, стремительно вошел в алтарь: «Не смей, немедленно прекратить, нельзя так читать Херувимскую!».

Надо сказать, что до конца жизни А. И. Введенский находился под сильнейшим влиянием декаденства; и если страстная тоска по правде, ощущение безвыходности, бессмысленности обыденной жизни, переплавленные могучим ораторским талантом, создавали изумительные, потрясавшие слушателей проповеди, то идейная спутанность, смещение моральных ценностей, свойственные декаденству, способствовали поразительной (как увидим ниже) беспринципности, свойственной этому сложному человеку. Двухлетняя служба в качестве полкового священника, а затем перевод (в 1916 г.) в Петербург в качестве священника в аристократическую церковь Николаевского кавалерийского училища — таковы основные вехи служебной биографии священника Введенского в период мировой войны.

В то время, как обновленческий «Златоуст», идя своим зигагообразным и петлистым путем, продвигался в церкви, подготовлялся к своей деятельности и другой крупный обновленческий деятель — Александр Иванович Боярский. Путь Боярского был менее сложен, чем путь Введенского, хотя он представлял из себя не менее характерную фигуру. Родившись около 1885 года в семье священника, Боярский, по окончании Духовной семинарии, поступает в Петербургскую Духовную Академию. Здесь, еще на первых курсах, он проявляет горячий интерес к рабочему вопросу. В 1906 году Александр Иванович — студент второго курса Духовной Академии впервые появляется среди рабочих Спасо-Петровской мануфактуры. В то время в среде петербургской духовной интеллигенции, к рабочим относились с некоторым страхом. «О рабочих, — вспоминал Боярский, — говорили, как о богохульниках, людях, которые только что живьем не едят попов». Однако с первой же беседы молодой студент приобретает популярность в рабочей среде (см. «Вестник труда», Петроград, 12 мая 1918 года, стр. 1 А. И. Боярский «Среди рабочих»). Народник, человек практической сметки, хорошо знающий жизнь, умевший и любивший просто и понятно говорить о самых сложных вещах, Бояр-

ский пользовался огромным уважением в рабочей среде. Окончив Академию, он становится священником в Колпино (под Петроградом) в рабочем поселке при Ижорском заводе. Смелый новатор, Боярский примыкал к крайним радикалам и был убежденным сторонником ориентации церкви на рабочий класс и приверженцем церковных реформ. Он проводил два-три раза в неделю тематические беседы, которые, по существу, превращались в своеобразный народный университет, предназначенный для молодых рабочих. В конце войны происходит знакомство двух Александров Ивановичей, — между ними возникает крепкая, идейная и личная дружба. Солидная, кряжистая фигура высокого, широкоплечего чернобородого А. И. Боярского представляла собой разительный контраст по сравнению с порывистым, дерганым, худосочным неврастеником А. И. Введенским.

«Священник Боярский, — писал известный кадет, впоследствии сменовеховец Н. А. Гредескул, — говорит просто, задушевно, спокойно, без экзальтации; со своей речью он близко подходит к слушателю. По временам он не только физически, но и духовно спускается с кафедры, оставляет тон оратора и говорит как бы не с массой, а с каждым в отдельности. И это создает моменты особой убедительности его речи. Свящ. Введенский более нервен, приподнят, экзальтирован. Его речь — не беседа, а настоящая ораторская речь. Он — все время перед массой и не в уровень с ней, а сверху; на возвышении. Он не убеждает, а проповедует. Его речь не распадается на отдельные эпизоды, а течет как одно целое, устремленное к своему финалу. И этот финал — не тихий спуск мысли после ее спокойного развития, а бурный подъем наиболее эффективного выражения. Речь Введенского на митинге была кончена кричащим голосом и патетическими словами». («Красная газета» 28 мая 1922 года № 117, стр. 5 Н. А. Гредескул «Переворот в церкви»).

К этим двум петербургским священникам примыкал еще третий о. Иван Федорович Егоров — священник из Введенской церкви, что против Царскосельского вокзала. Идеалист и бесребреник, малорослый, скромный, о. Егоров отличался огромной эрудицией и был великолепным, влюбленным в свое дело преподавателем Закона Божия. Будучи практическим деятелем, подобно отцу Боярскому, стремясь, как можно больше приблизить христианство к жизни, о. Егоров отличался в то

же время мистической настроенностью, которой был совершенно чужд Боярский. О. Егоров умер в 1920 году от сыпного тифа и потому только не сыграл в событиях 20-х годов той роли, которая ему предназначалась его товарищами; однако, он был крупнейшей фигурой в дореволюционном обновленчестве — в Петербургском триумvirате он играл роль связующего звена между «рабочим батюшкой» Боярским и утонченным декадентствующим эстетом Введенским.

«Это была замечательная дружба трех иереев, пожалуй, невиданная в истории церкви, которая, однако, дала очень мало, гораздо меньше, чем могла бы дать», — со вздохом говорил, вспоминая этот период своей жизни, А. И. Введенский.

В Петрограде развивал также свою деятельность молодой литератор, будущий священник и активный обновленческий деятель Евгений Христофорович Белков. Сын почтенного петербургского протоиерея Евгений Белков в это время подвизался в качестве беллетриста, пишущего рассказы из духовного быта

под псевдонимом «Х. Толшемский». Известный интерес представляет принадлежащий его перу сборник «В мире рясы», Петроград, 1916 г. Рассказы этого сборника, написанные в том же ключе, что и повести Потапенко и Гусева-Оренбургского, заслуживают внимания своей резкой критикой высшего духовенства и монашества. Таков рассказ «У игумена», в котором изображается беглый каторжник, сумевший в короткий срок, при помощи подкупа и интриг, стать игуменом захолустной обители. Это резкое антимонашеское выступление в устах одного из будущих обновленческих корифеев предвосхищает антимонашескую демагогию «живой церкви».

Наш обзор предистории обновленческого раскола был бы неполон, если бы мы не остановились еще на одном лице. Речь идет о богатырской фигуре епископа Антонина (Грановского). Мы не случайно употребили этот эпитет. Всякому, кто когда-либо видел Антонина, сразу приходило на ум это слово. Огромный рост, зычный громоподобный голос, резкие порывистые движения, обнаруживавшие большую физическую силу, внешность свирепого араба, — все это как бы подавляло в первый момент любого из его собеседников. Это впечатление еще более усиливалось у всякого, кто его слушал или читал его произведения. Беспощадная смелость мысли, суровая прямота характера в сочетании с глубиной ума; стиль тяжелый, запутанный, носящий на себе отпечаток своеобразной не на

кого не похожей личности — епископ Антонин был (как бы ни относиться к его деятельности) бесспорно очень крупным человеком. На его похоронах один из ораторов сравнивал его с Василием Великим. Мы сравнили бы его с Оригеном.

Подобно адамантову учителю, Антонин был страстным правдоискателем, экстравагантнейшим человеком, великим богословом и, подобно Оригену, он всю жизнь ходил по краю пропасти, все время находясь на волоске от ереси.

Александр Андреевич Грановский родился в 1860 году на Украине. Нам, к сожалению, очень мало известно о его юношеских годах. Однако, видимо, молодость его была мятежной и богатой приключениями; он много путешествовал, изучал восточные языки и, что совсем необычно, изучил их в совершенстве, занимался археологией, видимо менял профессии; лишь в 1891 году, в 31 год, он окончил со званием магистранта Киевскую Духовную Академию. Одновременно Александр Андреевич принял монашество с наречением ему имени «Антонин» и был назначен помощником инспектора Киевской Академии. Очень быстро поссорившись с начальством, после грандиозного скандала (скандал был вообще его стихией) иеромонах Антонин переводится в Москву, с большим понижением, в качестве смотрителя Донского духовного училища, чтобы через несколько лет, после очередной ссоры, вернуться снова в Киев смотрителем Киево-Подольского духовного училища. За это время иеромонах Антонин (благодаря своему несдержанному, порывистому характеру) приобрел себе бесчисленных врагов; однако приобрел себе и верного друга в лице архиепископа финляндского Антония Вадковского. Когда Антоний Вадковский становится митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, перед Антонином неожиданно открываются широкие перспективы. В 1899 году он переводится в Петербург, возводится в сан архимандрита и становится старшим цензором петербургского Духовного Цензурного Управления. На этой должности архимандрит прославился своим либерализмом: он не только пропускал в печать все, что поступало на его утверждение, но находил особое наслаждение в том, чтобы ставить свою визу на литературных произведениях, запрещенных гражданской цензурой.

В 1902 году выходит в свет его магистерская диссертация («Книга пророка Варуха». Репродукция. СПб. 1902), блестяще защищенная им на заседании Совета Киевской Духов-

ной Академии 18 декабря 1902 года. Эта работа является событием не только в русской, но и в мировой экзегетике. Как известно, книга пророка Варуха дошла до нас в греческом переводе и потому не принадлежит к каноническим книгам Ветхого Завета. Попытки немецких экзегетов Френкеля и Пресснера воспроизвести еврейский оригинал, основываясь на анализе греческого текста, не дали никаких положительных результатов. Эту же задачу поставил перед собой Антонин. Не ограничиваясь, однако, греческим текстом, Антонин привлек тексты сирский — пешито, а также и другие: арабский, коптский, эфиопский, армянский и грузинский. После скрупулезнейшего грамматического (морфологического, синтаксического) анализа Антонин приходит к выводу, что часть этих текстов переведена не с греческого, а с еврейского (впоследствии утерянного) подлинника. Такими текстами, в частности, являются сирский пешито, арабский и коптский. Основываясь на этих текстах (по его мнению, более древних, чем греческий текст, и более близких, чем он, к подлиннику) Антонин реставрирует древне-еврейский пратекст, который помещен на стр. 396-404, в конце его труда. Восстановленный, таким образом, через несколько тысячелетий после исчезновения оригинал произвел сенсацию не только в христианских, но и в еврейских кругах: ученые раввины всего мира комментировали эту книгу.

Через несколько месяцев после присуждения Антонину звания магистра богословия, 22 февраля 1903 года последовал Указ о возведении старшего члена СПб Духовного Цензурного Комитета в сан епископа Нарвского с присвоением ему наименования третьего викария СПбургской епархии (см. «Церковные ведомости» 1903 год № 9, стр. 57), а 28 февраля 1903 года в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры была хиротония нового епископа, которую совершали митрополиты Антоний Петербургский и Владимир Московский, епископы Владикавказский Владимир, Таврический Николай, Саратовский Иоанн, Тамбовский (будущий экзарх Грузии) Иннокентий и епископ Ямбургский (будущий святейший патриарх Московский и всея Руси) Сергей.

«Испарения будней сгущаются, — говорил в своей речи на наречении Антонин, — и в мире тяжело дымится. Оттого, быть может, люди наших дней, не довольствуясь ароматом роз

епископа, прикасаются к житейским его одеждам...» (прибавление к «Церковным ведомостям» № 9 1903 год, стр. 369).

«Возьми же от меня сей жезл пастырский и иди твердо предстоящим тебе путем вождя дружины Христовой», говорил ему в своей речи при вручении архиерейского жезла митрополит Антоний (там же, стр. 371).

Это был венец карьеры епископа Антонина, которая была вскоре разбита благодаря независимости его характера. Небосклон стал заволакиваться тучами очень скоро: выступая в комиссии по выработке законов о печати под председательством сенатора Кобеко, епископ Антонин, к всеобщему изумлению, высказался за полную, ничем не ограниченную свободу печати с совершенным уничтожением всякой цензуры. Одновременно председатель Цензурного комитета говорил всем и каждому, что не видит никакого смысла в своей должности и занимает ее только для того, чтобы саботировать свои обязанности. Все это сопровождалось едкими выходками по адресу власть имущих; митрополиту Антонию (человеку либеральному, гуманному и тактичному) приходилось с невероятным трудом сглаживать резкие выходки своего неугомонного викария. 1905 год страшно подействовал на впечатлительного и отзывчивого к общественным бедствиям епископа. Его речь перед панихидой о жертвах Порт-Артура проникнута искренней болью. — «Господи! — сотрясал стены Казанского Собора своим громовым голосом Епископ. — Прими же цену стольких страданий и стольких взятых от нас жизней во облегчение жития оставшихся». («Церковный Вестник» 1905 г. № 2, стр. 34, 35).

На 9 января епископ Антонин откликнулся письмом в редакцию газеты «Слово» («Слово» 21 января 1905 года № 43), в котором горько оплакивает невинных людей, павших на улицах Петербурга; после 17 октября он опускает из чина поминовения слово «самодержавнейший», а в декабре 1905 года публикует в газете «Слово» новую статью, утверждая, что неограниченная монархия есть учреждение дьявольского происхождения. В шуме революционных бурь все это сходило с рук; однако в 1907 году, как только в стране «восстановилось спокойствие», фрондирующему епископу немедленно припомнили все его выступления. По личному повелению Николая Второго, в 1908 году епископ Антонин был уволен на покой с пребыванием в Сергиевой Пустыни под Петербургом. О своих злоключениях он рассказывает следующее: «26 января го-

ворит Николай Извольскому: передайте кому следует, чтобы Антонин оставил службу. Митрополит все же тормозил, сколько мог, мою отставку. Наконец, в один прекрасный день Извольский говорит митрополиту: скажите Антонину, чтоб до пятницы подал прошение, а иначе в пятницу будет уволен без прошения, потому что два члена Синода — Серафим Орловский и Гермоген Саратовский — уже знают о воле Царского Села. Пришлось подать. Был на покое до 1913 года. 22 декабря 1913 года говорит Николай Саблеру: ну я вижу Антонин — хороший человек, так позаботьтесь о нем, устройте на службу. Стали думать, куда меня деть — хотели в Уфу, да потом вспомнили, что Елизавета Федоровна, великая княгиня, там монастырь построила — может приехать — и нашли другую дыру куда меня сунуть — Владикавказ. А через два года и оттуда выпшибли по болезни. Уже после революции, в 1919 году, когда жил я на покое здесь в Москве, стал я опять проситься, чтобы меня куда-нибудь послали, да мои старые товарищи по Питеру Арсений, Кирилл и Никандр мне говорят: «Эх, ты, балда, да разве тебе можно предоставить какое-нибудь место!» («Известия ВЦИК 11 августа 1923 года № 179, стр. 4)».

К этому следует добавить, что Антонин был строгим монахом, вел аскетический образ жизни и отличался общедоступностью: дверь его кельи была открыта для всех, в любое время дня.

* * *

История не определяется желаниями людей, но историю делают люди — и в каждом историческом деятеле отражается его эпоха. И в тех лицах, о которых шла речь в этой главе, очень ярко отразилось революционное предгрозье. Никогда, ни раньше, ни после, в русской церкви не могли появиться (и не появлялись) люди, подобные Введенскому, Боярскому, Антонину Грановскому. Их появление означало, что вся русская жизнь (в том числе и церковь) развивается под знаком наступающей революции.

Теперь мы будем говорить о революции...

РАССКАЗ МИТРОПОЛИТА НЕСТОРА

Старейший русский иерарх, Высокопреосвященный Митрополит Нестор поделился с нами воспоминаниями о своих встречах с Епископом Антонином (Грановским). Эпизоды, ко-

торые запечатлелись в памяти Владыки-Митрополита столь характерны, что мы решили поделиться ими с читателем.

Познакомился я с Епископом Антонином, — вспоминает Митрополит, — еще будучи иеромонахом, когда я приехал с Камчатки в Петербург, жил в Александро-Невской Лавре; там же жил и Епископ Антонин (это было еще при Митрополите Антонии Вадковском — и он был викарием). Вот, как-то, раз заходят ко мне епископы Никандр, Кирилл и другие, и говорят: «Идем, идем на именины к Антонину». Я говорю: «Да нет, да неудобно, да там одни епископы». А они мне: «Нет, нет, идемте, — все очень хотят, чтоб Вы были», — и мы пошли, целая компания — и в главе епископ Сергей (будущий патриарх) — ему говорят: «Вы должны говорить приветственную речь». Пришли — выстроились в ряд: хозяин высоченный, на нас смотрит сверху вниз. Тогда владыка Сергей вынимает из одного кармана огурец, из другого — блюдо для огурца, кладет огурец на блюдо и говорит:

Преосвященна поэта,
На-ко тебе это.⁵

И вот, через несколько лет, в 1918 году, был я в Москве, на Соборе в сане Епископа Камчатского. Уже не помню как — случайно или намеренно — попал я в Богоявленский монастырь; говорят мне — здесь Антонин живет на покое. Решил я его посетить. Подхожу к келье, прочел входную молитву, как полагается — слышу его голос: «Кто там — входи!».

Вхожу — Боже, что я увидел! Сидит на кровати больной, худой, изможденный, косматый, страшный: рубаха на нем — черная как смола. Кругом хаос, объедки, битая посуда, черепки. «Да, вот, — говорит — болен; все меня забыли — не до меня. Как это еще Вы зашли?»

«Владыко, дорогой, — я говорю, — не могу я Вас так оставить, скажу про Вас Святейшему Патриарху, устроим Вас в больницу».

Рассказал я Патриарху Тихону. Он забеспокоился. — «А я-то с делами упустил из вида. Спасибо, что сказали». И отсчитал довольно большую сумму керенками. «Прибавьте к своим, устройте, — говорит, — его в больницу». Нашел я больницу частную — снял для него отдельную комнату; поехал

⁵ Епископ Антонин писал очень неплохие стихи духовного и светского содержания.

на извозчике за Антонином — привез его в больницу. Он — ничего, тихий тогда был, никого не осуждал. Потом в больнице я его посещал, он благодарил, его вымыли-вычистили.

Вдруг через некоторое время, во время заседания Собора (в Лиховом переулке) приносят мне письмо от Антонина. Благодарит меня сердечно и пишет: «А теперь я исчезаю — и не ищите меня больше».

Я прибежал в больницу — что такое? Говорят: да, вот так; вдруг Владыка оделся и ушел. И куда — неизвестно.

РЕВОЛЮЦИЯ

«Чтобы человек, обладающий талантом известного рода, приобрел благодаря ему большое влияние на ход событий, нужно соблюдение двух условий. Во-первых, его талант должен сделать его более других соответствующим нуждам данной эпохи. Во-вторых, соответствующий общественный строй не должен заграждать дороги личности, имеющей данную особенность, нужную и полезную как раз в это время», — говорит Г. В. Плеханов в одной из своих работ, посвященных философии истории. (Г. В. Плеханов «К вопросу о роли личности в истории». М. 1941, стр. 33).

Такой эпохой для вождей обновленчества явилось время после февраля 1917 года.

Февральские дни — светлое, весеннее, незабываемое на века время. Пало тысячелетнее здание монархии, свобода, рожденная за сто с лишним лет перед тем, при звуках марсельезы во Франции, пришла «Наконец, на север». «Ах, свобода, свобода! даже намек, даже слабая надежда на ее возможность дает душе крылья, неправда ли?» — говорит у Чехова учитель Буркин, заканчивая этими словами свой рассказ о похоронах Беликова. И это имеет свой глубокий смысл: свобода и люди в футлярах: — непримиримые враги: при веянии свободы лопаются все футляры — так было и в 1917 году. Синодальный футляр, в который была укутана веками православная церковь, превратился в труху в первые же дни революции. Растерянность, граничащая с паникой, охватила круги высшего духовенства. Отстранение двух митрополитов (московского и петербургского); водворение в Синоде опереточного В. Н. Львова в качестве обер-прокурора, роспуск Синода и назначение нового состава из совершенно случайных, никем на это (кроме Львова) не уполномоченных лиц, — все это привело в пер-

вые месяцы после февраля к фактическому параличу церковной власти. В этой обстановке разворачивается в довольно широких масштабах деятельность обновленческих лидеров. Церковная реформация после февраля шла двумя путями: первый путь — это официальная «реформация», руководимая В. Н. Львовым. Ее лидер — крупный самарский помещик, примыкавший в 4-й Думе к националистам (партия Столыпина), войдя перед революцией в «желтый блок», получил во Временном правительстве портфель обер-прокурора, так как в кругу своих единомышленников в Думе имел репутацию специалиста по церковным делам. Между тем, быть специалистом по каким бы то ни было делам он никак не мог: человек удивительно поверхностный, ни к чему, кроме произнесения либеральных речей, не способный и комически самовлюбленный, он представлял собой совершенно карикатурную фигуру: есть что-то роковое в том, что русская церковная реформация начала с этой оперетки. Помимо мальчишеских скандалов с архиереями, Львов решил заняться и пропагандой: под его высоким покровительством организуется «Церковно-общественный Вестник», взявший своим девизом лозунг: «Свободная церковь в свободном государстве!». Во главе вестника стоял молодой профессор-историк Петербургской Духовной Академии Б. В. Титлинов. Одним из главных участников журнала был также протопресвитер Г. Шавельский. Наиболее крупной фигурой в этой вспыхнувшей на миг группе был, несомненно, Б. В. Титлинов. Крупный эрудит в области церковной истории, человек острого, скептического ума и холодного темперамента, колкий и надменный, он представлял собой тип светского человека, случайно помимо воли, благодаря происхождению и образованию, связанного с церковью. Европейец с головы до ног, он не переносил варварских нравов русского духовенства, из которого вышел. В качестве панацеи от всех зол он предлагал «демократические реформы», в силу которых и сам не верил. Короче говоря, в февральские дни церковь из рук чиновников вицмундирных попала в руки чиновников в пиджаках, умевших говорить громкие слова о «новой вере», но таких же холодных, ограниченных, не имевших в себе ни одной искры религиозного энтузиазма, как и их предшественники. Гораздо более жизнедеятельной и интересной была другая группа реформаторов, в центре которой находился питерский триумvirат.

У Александра Ивановича Введенского февральские дни ассоциировались с домом № 67 на Гороховой улице. В этом доме

жил почтенный, либеральный петроградский протоиерей Михаил Степанович Попов. Его квартиру Александр Иванович любил называть колыбелью обновленческого движения, никогда не забывая, в порядке иронической шутки, прибавить, что в доме напротив № 64 жил за год до этого человек, также игравший немалую роль в церковных делах: Григорий Ефимович Распутин. О. Михаил Попов (в будущем обновленческий архиепископ, рукоположенный в 1923 году, последовательно занимал кафедры Детскосельскую, Рязанскую и Тихвинскую, умер на покое в тридцатых годах) был человеком скромным и молчаливым. Единственным увлечением о. Михаила была благотворительность. Эта деятельность развила в нем интерес к социальным проблемам и сблизила его с питерским трио. В начале марта 1917 года на квартиру к о. Михаилу пришли отцы И. Ф. Егоров и А. И. Введенский. По их просьбе хозяин должен был их познакомить со своим довольно известным однофамильцем, членом 4-й Государственной Думы, протоиереем о. Дмитрием Яковлевичем Поповым. О. Дмитрий Попов представлял собой также колоритную личность. Зырянин по национальности, он был страстным «просветителем», который горячо стремился к тому, чтобы внедрить грамотность и культуру в свой родной, темный и отсталый народ. Старый земский деятель и общественник, о. Попов с радостью согласился принять участие в организации Союза демократического духовенства и мирян, как это предложили ему Введенский и Егоров. Началась кипучая, организационная работа, и через несколько дней старый петроградский протоиерей о. А. П. Рождественский открыл на Верейской улице (недалеко от дома, в котором жил Введенский) первое учредительное заседание Союза. Союз состоял из нескольких десятков молодых либеральных батюшек, большей частью с академическими значками.

Помимо тех лиц, которые были названы выше, в Союз входили протоиерей Лисицын, протоиерей из церкви Спаса на Бочарной улице, с Выборгской стороны, о. Павел Раевский, принимавший участие в обновленческом движении 1905 года, поставивший еще тогда свою подпись под знаменитой запиской 32 священников, требовавших реформ.⁶

⁶ Впоследствии обновленческий архиерей. Рукоположен в марте 1927 г. в Казанском соборе во епископа Кронштадтского. Одновременно был ректором Лен. Богословского ин-та. Затем архиепископ Лодейнопольский. В 30-х гг. обн. митрополит Ярославский; умер в 1939 г.

Характерно, что одним из деятельнейших членов Союза был свящ. Венустов (впоследствии «тихоновец»). Союз принял либеральную программу, избрал председателем протоиерея Рождественского, а секретарем Введенского и начал «действовать». Действовали, впрочем, в основном, те же трое: Боярский, Введенский и Егоров, — и деятельность их состояла, главным образом, в бесконечных выступлениях на различных митингах, собраниях, конференциях и т. д. Изредка они помещали статьи в «Церк.-общ. Вестнике». В то время, когда различные союзы, группы, партии росли каждый день десятками, как грибы после дождя, никто на новорожденный союз не обратил никакого внимания. «А как относилось к Вам высшее духовенство?», спросил я однажды Александра Ивановича. — «Они считали ниже своего достоинства нас замечать», — ответил Введенский. Единственным исключением был, видимо, епископ Уфимский Андрей. Этот иерарх, резко выделявшийся среди своих собратьев, вполне заслуживает того, чтобы посвятить ему особое исследование. Здесь же мы ограничимся самой беглой его характеристикой. Отпрыск старинного рода князей Ухтомских, он с детства отличался горячей религиозностью, которая еще усилилась благодаря трагическому случаю, произошедшему с ним в детстве. Преосвященный Андрей был увлекающимся и ищущим человеком. Вначале своей деятельности он увлекался теософией и спиритизмом, периодически помещая в мистических журналах статьи за подписью: «Князь-инок». После 1905 года потомок князей Ухтомских неожиданно увлекся революционным движением и почти открыто выражал свои симпатии эсерам. В то же время он оставался горячим молитвенником и страстным приверженцем церковного обновления. Епископ Андрей играл видную роль в «революционном» Синоде, в который он был кооптирован В. Н. Львовым. Епископ Андрей заинтересовался Союзом демократического духовенства, стал его покровителем и ввел его руководящих деятелей к В. Н. Львову. В июне 1917 года происходит случай, который потом часто ставили в вину главарям Союза. Передаем здесь слово А. И. Введенскому, пусть он сам расскажет об этом: «Вызывают в один прекрасный день нас всех троих (т. е. Введенского, Боярского, Егорова) к Львову, и он нам говорит: Вы едете сегодня на фронт. Я едва жену успел об этом известить. Приезжаем на другой день поздно вечером в Ставку. Вводят нас в кабинет начальника штаба генерала Алек-

сеева. Входим с трепетом: здесь мозг русской армии — тогда еще это ощущение было живо. Поднимается нам навстречу пожилой, осанистый генерал, знакомый по тысячам портретов. Говорит легко и свободно, со сдержанным волнением: Вам придется ехать на фронт, на самые опасные участки. Имейте в виду, что армия разложена полностью, армии больше нет. Одна из наших надежд — это Вы — духовенство. Поезжайте — может-быть, Вы сумеете что-то сделать. Предупреждаю, Вы идете на подвиг, потому что мы не можем гарантировать даже Вашу безопасность... И мы поехали в зону обстрела. Бросили меня на самый гиблый участок — туда, где солдаты сплошь бегут из окопов. Устроили митинг. Я говорил с жаром. Начал с того, что раньше, при царизме, я не призывал бы их идти в бой. Кончил. Взрыв аплодисментов, — «Качать его». Это единственный раз в жизни меня качали; пренеприятное ощущение. Голова кружится и все в животе переливается, а потом понесли на руках. Из какого-то чистенького домика выходит ксендз, смотрит испуганно: видит, солдаты тащат какого-то священника, руки и ноги у меня болтаются в воздухе — впечатление верно такое, что меня разрывают на части...» После этой поездки о Введенском заговорили. В августе он участвует в Совещании представителей русской интеллигенции в Москве, а вскоре назначается членом, так называемого, Предпарламента в качестве представителя от демократического духовенства. Каждый день и по несколько раз в день петроградское трио выступает на митингах и докладах; особенно часто выступает Введенский. Он все более левеет, он захлебывается в волнах собственного красноречия, он уже и слышать не хочет о буржуазной республике, ему нужен социализм, но вот уже и эсеровского социализма ему мало... он высказывается за левых эсеров, дружит с анархистами... На заседании предпарламента, когда обсуждается вопрос о том, какие партии должны участвовать в Предпарламенте — все русские партии или только социалистические, он стремительно вскакивает с места: «социалистов, социалистов — одних только социалистов!» («На правых скамьях, — говорит газетный отчет, — смех, крики: шут гороховый! Большевики ослабли от удовольствия...»)

Но вот грянули громы октября: история оказалась не живописным, веселым реву под аплодисментные плески, а суровой драмой. Первое время, все шло по инерции: продолжались митинги и доклады, петроградское трио участвует в вы-

борах в Учредительное собрание. На протяжении года выходит ряд левоцерковных журналов: «Голос Христа», «Божья Нива», «Соборный Разум» и «Вестник труда». К концу 1917 года левое петроградское духовенство (следует назвать те же три имени и упоминаемого выше о. Евгения Белкова, успешшего к тому времени стать священником) — организует кооперативное издательство «Соборный разум». В уцелевшей типографии на Лиговке, против вокзала, печатаются брошюры и журналы.

О чем думали, что говорили, о чем писали тогда вожди обновленчества? К их чести следует сказать, что политика не потушила окончательно в их сердцах мистического, религиозного пламени. В этом отношении интересен номер журнала «Божья Нива», вышедший в феврале 1918 года. Весь номер целиком посвящен памяти о. Иоанна Кронштадтского. В журнале представлены различные оттенки церковной мысли: в неожиданном соседстве с именами обновленческих лидеров мелькает имя консервативного церковного публициста Е. Пюселянина (Погожева).

Статья А. И. Введенского «Божественная литургия и Иоанн Кронштадтский» представляет огромный интерес для характеристики ее автора. Введенский начинает юношеским воспоминанием. Однажды в Витебске он присутствовал на служении знаменитого протоиерея. Рассказав о своем впечатлении, Введенский заявляет, что Иоанн Кронштадтский вечный пример для священнослужителей.

«Конечно, — говорит автор, — дело не во внешней копировке его манер, а в создании в себе такого литургийного творчества, огненного предстания перед страшным Престолом Вседержителя, чем был так переполнен о. Иоанн. Ибо природа подлинного религиозного чувства такова, что она меньше всего считается с внешностью. Экстаз есть высшая форма молитвенного воспарения к Богу, а во внешности он может разразиться эпилептическими судорогами. Когда в душу входит Христос, тогда говорит праведник».

«Я погибаю от любви и схожу с ума», — так закричал раз Иоанн Златоуст в церкви. Когда Евхаристия своим храмом имеет достойную душу, тогда неизглаголанная радость потрясает ее. «Отойди от меня, оставь одного, потому что я опьянен от Христа, — сказал однажды Сергей Радонежский своему ученику после причастия. Так бывало и с о. Иоанном. Он чуд-

но изменялся за литургией. Иногда это бывало странно окружающим. Бывало, что после пресуществления даров о. Иоанн в духовном восторге рукоплескал перед престолом. Странно? Но не призывает ли канон Богородицы «восплескать руками во славу Божественную?» Мы холодны и безрадостны, и нам непонятны те радости, которыми Господь награждает подлинно его любящих. И была у о. Иоанна каждая литургия — праздник Пасхи. Сейчас у нас намечаются всякие церковные реформы. Намечается и богослужебная реформа. Несомненно, что центральный ее пункт — литургия. Говорят об изменении текста, об общем пении и т. д. Все это может быть и так и все это может быть и нужно. Но самое главное — влить молитвенный порыв, молитвенную радость, молитвенное творчество в небесную литургию. Так, чтоб она была подлинным радостным порывом в вечность, чтобы небо было низведено на землю. Чтобы Христос подлинно, живо и действительно объединил всех и вся. И путь этот предуказан литургийным творчеством о. Иоанна». («Божья Нива» № 3-5, стр. 37).

Однако основной заботой петроградского трио являлись политические дела. «Что являлось тогда Вашей целью?» — спросил я однажды Александра Ивановича. — «Создание христианско-социалистической партии», — быстро ответил он.

Горячим сторонником вовлечения духовенства в политику на стороне социализма являлся о. Иван Федорович Егоров. В брошюрах «Пастырь церкви и политическая жизнь страны», «Нельзя молчать и ожидать» — он энергично высказывается против нейтралитета духовенства в классовой борьбе. Всюду и везде пастырь церкви должен быть застрельщиком в борьбе за правду, за освобождение сирых и убогих от векового гнета. В своей основной работе «Православие и жизнь в нем» посвященный проблеме преподавания Закона Божия, о. Егоров с большой силой говорит о необходимости для церкви быть в гуще жизни, всегда и всюду отстаивать справедливость. Он предвидит возникновение великого вселенского религиозного движения, которое стихийно возникнет в массах и охватит весь мир. Он горячо говорит о счастье быть предтечей религиозного возрождения и обновления человечества. Вдохновенному пастырю не суждено было прожить долго: он умер, как сказано выше, через два года, успев основать особое течение «Религия в сочетании с жизнью», которое просуществовало

до 1927 года, однако своими пророческими прозрениями Ив. Фед. Егоров обеспечил себе светлую память.

Работы А. И. Введенского этого времени также заслуживают внимания. В 1918 году вышли в издании Общества «Сборный разум» следующие брошюры: «Паралич церкви», «Социализм и религия» и «Анархизм и религия». Возьмем для примера эту последнюю работу А. И. Введенского. В первой части автор отмечает внутреннее сродство анархизма с объективным идеализмом. Их главная точка соприкосновения индивидуализм. «Если Кант, — говорит Введенский, — сравнивает себя с Коперником, то анархисты могут требовать для себя еще более славных венцов...» (стр. 21). Из русских анархистов А. И. Введенский цитирует: Шатова, Грива и др. Разбирая их взгляды, А. И. Введенский констатирует родство христиан с анархистами в признании бесконечной ценности каждой человеческой личности и цитирует по этому поводу слова Афанасия Великого: «Христос вочеловечился, чтобы мы обожествились». Но далее Введенский отмечает полную противоположность анархизма и христианства в методах: «Христианство никогда не скажет: как можно больше динамита! Оно выведет другое требование: как можно больше любви! Любовь — пусть это будет тот динамит, который взорвет всю неправду социальной действительности! Любовь — пусть это будет тот огонь, в котором сгорит все, мешающее подлинной, поистине божественной свободе человека! Тогда на земле не только будет царить, как об этом мечтает анархист Грав, справедливость и свобода, которые он пишет с большой буквы, но будет прямо рай» (стр. 47). Все это очень красиво, только, к сожалению, очень мало конкретно.

Гораздо более практически пытается подойти к социальным вопросам А. И. Боярский в своей работе «Церковь и демократия» («Спутник христианина-демократа», Петроград, 1918). Брошюра начинается с обозрения положения церкви до революции: констатируется, что она была в угнетенном положении, превращенная в служанку господствующих классов, изолированная от борьбы за интересы народных масс. Автор указывает, что все же церковь пользуется в народе огромным авторитетом, доказательством чему является, между прочим, тот факт, что на выборах в Учредительное Собрание в Петрограде церковный список вышел на четвертое место (стр. 13-14). Церковь должна принимать активное участие в строи-

тельстве новой жизни: «Без Христа, — говорит автор, — не было и не будет истинной свободы, равенства, братства», (стр. 14). Политическая платформа разворачивается о. Боярским в 4 главе — «Современные политико-экономические вопросы при свете христианского церковного сознания».

«Церковь Христова, — начинается глава, — содержащая всю полноту Христовой вечной истины, не может быть низводима до уровня политической партии (стр. 17). Однако церковное сознание имеет свое мнение о насущных вопросах, и это мнение может быть выражено в следующих 13-ти пунктах»:

1. Государственный строй. Соборный (коллективный) разум должен лежать в основе государства: какая бы то ни была единоличная, бесконтрольная власть категорически отвергается.
2. Отрицание наступательной (агрессивной) войны.
3. Отрицание смертной казни.
4. Отрицание сословий.
5. Равноправие женщин.
6. Труд как основа жизни — не должно быть ни одного нетрудящегося человека.
7. Седьмой параграф называется: «Кооперация и капитализм». Автор высказывается за замену капиталистической собственности на орудия производства собственностью кооперативной. Кооперативы должны состоять из рабочих.
8. Восьмой параграф называется «Богатство и бедность». Здесь доказывается, что истинный христианин не может быть богатым.
9. Восьмичасовой рабочий день.
10. Земля объявляется общей собственностью. У помещиков земля должна быть отобрана; однако здесь же о. Боярский делает оговорку, выражая надежду (стр. 29), что крестьяне не будут «обижать других землевладельцев».
11. Одиннадцатый параграф посвящен общей собственности. Здесь о. Боярский высказывается за культивирование и всяческое поощрение общинных форм собственности; в качестве примера приводится община, созданная Иваном Алексеевичем Чуриковым в Вырице под Петроградом. «Общность имущества, — говорит о. Александр, — ценна с христианской точки зрения как выражение духовного единства, как его завершение» (стр. 31).
12. Свобода совести.
13. Тринадцатый пункт озаглавлен: «Методы борьбы со злом». Сущность этого пункта может быть выражена тремя словами: «Исключительно мирные методы». «Такова, — заканчивает свою брошюру «рабочий батюшка», — платформа свободного сына православной церкви» (стр. 32).

Как видно из этой брошюры, о. Боярский недаром так дол-

го вращался в среде питерского пролетариата, он не только учил ижорских рабочих уму-разуму, но и сам многому от них научился. «Платформа свободного сына православной церкви» приближалась к точке зрения значительной части тогдашнего пролетариата.

ПЕРЕД РАСКОЛОМ

Церковь Христова, воинствующая на земле и торжествующая на небесах, — нет на земле слов более чудесных, понятий более возвышенных, образов более прекрасных. Из всех концов земли, из всех краев вселенной собраны миллионы людей, соединенные сверхъестественной связью-силой, исходящей от еврейского Плотника, распятого при Тиберии, Сверхчеловека, Спасителя мира; Иисуса Христа — Единородного Сына Божия.

И основа церкви — борьба. Борьба со злом и неправдой, борьба за спасение людей, за Царствие Божие, грядущее в силе.

Борьба — основа человеческой жизни. «В борьбе крепнет убеждение и способность его отстаивать», — говорит известный русский мыслитель П. Л. Лавров («Исторические письма», 1870 г. стр. 83). И вот, в течение почти тысячелетия Русская Православная Церковь не знала борьбы: привыкнув отождествлять себя с Государством Российским; она и не знала никаких врагов, кроме тех, которые имело государство. Люди, горевшие священным огнем, звавшие на борьбу за осуществление евангельских идеалов, принуждались к молчанию. «Обществу, — говоря опять словами Лаврова, — угрожает опасность застоя, если оно заглушит в себе критически мыслящие личности». (Там же стр. 65).

Застой и кладбищенская тишина царили в русской церкви в дореволюционные времена. Февраль пробудил от векового сна Русскую церковь — и после первых месяцев растерянности она переживает совершенно новые, никогда раньше невиданные радостные события.

По всей Руси веет крылатая весть: скоро будет Собор, который исцелит язвы церкви, даст ей новое каноническое устройство, откроет новые перспективы для ее деятельности. Летом 1917 года происходят выборы епископов — явление невиданное на Руси (если не считать Новгородскую Республику). В июне 1917 года такие выборы увидела древняя Москва. Как уже было сказано выше, в первые же дни революции

был уволен на покой митрополит Московский Макарий (человек праведной жизни, но крайний консерватор). Решено было назначить ему преемника демократическим путем, всенародным тайным голосованием. 19 июня собрался в Кремле Епархиальный съезд, члены которого были избраны на приходских собраниях. 20 июня на Кремлевской площади, перед соборами, была поставлена урна, в которую члены Епархиального Съезда опускали избирательные бюллетени. После окончания голосования урна была внесена в алтарь Успенского Собора и (после проверки бюллетеней) архиепископ Ярославский Агафангел вышел на амвон, чтобы объявить имя нового Первосвященителя церкви московской. Несколько тысяч человек, затавив дыхание, напрягли слух, ожидая с нетерпением, кто будет избран. Это нетерпение было понятно, если учесть, что впервые за 1.000 лет истории русской церкви одним из главных кандидатов в митрополиты был выдвинут мирянин, светский человек А. Д. Самарин. Александр Дмитриевич — представитель славянофильской династии (племянник знаменитого славянофила Ю. Ф. Самарина и сын Д. Ф. Самарина также известного славянофила) — пользовался огромной популярностью среди московской интеллигенции. Будучи очень религиозным человеком консервативного склада, А. Д. Самарин с юных лет выступал в качестве церковного публициста: в 90-е годы он приобретает известность своей резкой полемикой с В. С. Соловьевым, которая ведется им со строго православных позиций. Репутация строго православного деятеля обеспечивает ему влиятельное положение в московском земстве и назначение в 1913 году на пост обер-прокурора Святейшего Правительствующего Синода. На этом посту А. Д. Самарин проявляет необыкновенную стойкость и принципиальность. — «Это личное назначение царя, — пишет П. Н. Миллюков, — оказалось неудачным для власти, потому что Самарин, человек правых убеждений, был слишком честен и непреклонен в своих религиозных убеждениях и мешал извилистой и нечистой церковной политике, корни которой через Распутина восходили к императрице». (П. Н. Миллюков «Воспоминания» том II, стр. 205, Нью-Йорк 1955).

Ореолу борца против распутищины был обязан А. Д. Самарин столь необычным выдвижением своей кандидатуры на

московскую митрополичью кафедру.⁷ Он получил очень большое количество голосов: из 800 членов Съезда за Самарина голосовало 303 человека, за архиепископа Виленского и Литовского Тихона — 481 человек, остальные 16 голосов распределились между архиепископами Платоном, Антонием, Арсением и епископом Андреем. Через некоторое время подобным же образом был избран митрополитом Петроградским викарный епископ Вениамин, пользовавшийся популярностью в народе за свое благочестие и общедоступность. Митрополичьи выборы произвели огромное впечатление на народ (см. журнал «Московский Церковный Голос», 5 июля 1917 года, № 17-18, ст. «Избрание первосвященителя церкви московской»). 28 августа 1917 года, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, был открыт 1 Всероссийский Поместный Собор.

Задачи этого собора были сформулированы еще за 36 лет до того следующим образом: «Будущий Собор Русской Церкви, — писал в 1881 году Владимир Сергеевич Соловьев, — должен торжественно исповедать, что истина Христова и церковь Его не нуждаются в принудительном единстве форм и насильственной охране и что евангельская заповедь любви и милосердия прежде всего обязательна для церковной власти. Отказавшись, таким образом, от внешней полицейской власти, церковь приобретает внутренний нравственный авторитет, истинную власть над душами и умами. Не нуждаясь более в вещественной охране со стороны светского правительства, она освободится от его опеки и станет в подобающее ей достойное отношение к государству» (В. С. Соловьев «Собрание сочинений» то I III, стр. 382-383. Ст. «О духовной власти в России»). Собор 1917-1918 г.г., собравшись в самый разгар революции, принял ряд постановлений, которые санкционировали новое положение церкви в государстве, признал свободу политических убеждений за сыном церкви, восстановил в священном сане лишенных его за сопротивление царской власти: митрополита Арсения Мацеевича, умершего в 1772 году, и тогда еще здравствовавшего о. Г. С. Петрова, признал необходимость ряда церковных реформ — в этом его положительное значение.

⁷ В принципе выдвижение мирянина в епископы вполне возможно, если кандидат соответствует каноническим требованиям, что и было в данном случае (Самарин не был женат). Однако подобный факт не имел precedентов за последние тысячу лет.

Огромное историческое значение имеет также восстановление Собором патриаршества и реформа управления. 11 ноября 1917 года совершилось восстановление на Руси патриаршества: дряхлый, слепой схимник Алексий из Зосимовой пустыни вынул из урны, стоящей у иконы Владимирской Божией Матери, жребий с именем избранника русской церкви. Как известно, из трех кандидатов, выдвинутых Собором, патриархом был избран московский митрополит Тихон, призванный за 6 месяцев перед этим на митрополичью кафедру. 21 ноября (4 декабря), в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы была совершена интронизация вновь избранного Патриарха; и в истории русской церкви открылась новая страница, связанная с первосвятительством Тихона, святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

«Патриарх Тихон», — не было, пожалуй, в русской церкви имени, вызывавшего столь бурные споры, имени, столь обожаемого и столь хулимого, имени, покрытого такой всемирной славой — и столь поруганного и униженного. Теперь, однако, когда 35 лет отделяют нас от дня его смерти и когда уже давно улеглись страсти, вызванные церковной смутой, можно спокойно и беспристрастно оценить личность и историческое значение покойного Первосвятителя Русской Церкви. По иронии судьбы, патриарх Тихон, который был в силу обстоятельств одним из самых драматических лиц в истории русской церкви, являлся обладателем на редкость спокойного темперамента и был очень уравновешенным, добродушным, мягким человеком. И биография его до избрания на патриаршество развивалась по одной прямой линии. Василий Иванович Белафин родился 19 января 1865 года в семье священника, в гор. Торопце Псковской губернии. В спокойной обстановке крохотного провинциального городка прошло детство будущего патриарха. В то время город Торопец насчитывал всего 5 тысяч жителей, находился в 22-х верстах от железной дороги и, по существу, мало чем отличался от деревни. Отец будущего патриарха был, однако, довольно образованным человеком, и Василий Иванович поступил в духовное училище с довольно хорошей подготовкой. Физически крепкий, веселый, остроумный мальчик был любимцем своих сверстников; наделенный от природы хорошими способностями, он был одним из лучших учеников, любил читать и писать стихи — привычка, которая у него осталась и впоследствии, даже тогда, когда

он уже был патриархом. По окончании Псковской Духовной Семинарии, выпускник Василий Белавин в числе лучших воспитанников посылается в Петербургскую Духовную Академию, которую он окончил в 1888 году со званием кандидата богословия. В Академии он близко сошелся с ректором, епископом (будущим митрополитом) Антонием Вадковским, о котором он сохранил навсегда теплые воспоминания. На последнем курсе ему пришлось познакомиться и с новым инспектором, экспансивным, талантливым иеромонахом, которого тогда в академических кругах называли «малым Антонием» и который уже тогда вынашивал планы восстановления патриаршества на Руси. Именно благодаря неукротимой энергии «малого Антония» впоследствии будет восстановлено патриаршество, — и в тот самый момент, когда он должен будет вступить на патриарший престол, жребий укажет имя его бывшего ученика Тихона, — и митрополит Антоний Храповицкий, имеющий за собой соборное большинство, тут же смиренно признает свое поражение и публично поклонится своему бывшему ученику до земли.

По окончании Академии, Василий Иванович, не принимая духовного сана, возвращается в свою родную Псковскую семинарию в качестве учителя французского языка. («Ярославские епархиальные ведомости», 5 января 1914 года, № 1).

Каков был облик будущего патриарха в то время? На этот вопрос отвечает воспоминание одного из его учеников по Псковской семинарии Бориса Царевского. Однажды молодой учитель побывал в доме его родителей. «Ты посмотри, какие у него глаза, — говорила мать Царевского своей дочери после ухода В. И. Белавина, — чистые, ясные, как у голубя. — От него веет таким теплом и добродушием, и он такой умный», — отозвалась дочь. Допивавший стакан чаю батюшка деловито предостерег женскую половину, что расчеты на него как на жениха очень плохи. «Его, Василия Ивановича, когда он был студентом, прозвали «патриархом», и дорога ему в монахи. Вы не смотрите, что он говорун и веселый такой («Соборный разум», № 1-2 стр. 18-19 Б. Царевский «Наш первосвятитель»). Действительно, в 1891 году Василий Иванович принимает монашеский постриг с именем Тихона; тогда же он был рукоположен епископом Псковским и Порховским Гермогеном в иеромонахи. О. Тихон продолжает преподавать в Псковской семинарии: только теперь он преподает уже не французский язык,

а основное, потом нравственное и догматическое богословие. Он искренно увлекается своим делом и впоследствии, будучи уже архиепископом Ярославским часто берет для проверки кипы тетрадей из семинарии. Мягкий и либеральный учитель заслужил особую любовь учеников за свою вежливость и «кротость»: он никогда никому не ставил оценок ниже «4» и «5». Иеромонах Тихон делал обычную карьеру ученого монаха: в 1892 году он становится архимандритом и назначается ректором Холмской Духовной Семинарии. 19 октября 1897 года о. Тихон был рукоположен во епископа Люблинского.

Его речь на наречении, очень простая и ясная, сильно отличается от витиеватых речей его собратьев. «Когда-то в дни ранней юности, — говорил будущий патриарх, — епископское служение представлялось мне, — да и мне ли одному, — состоящим из почета, поклонения, силы, власти. Ныне разумею, что епископство есть прежде и более всего не сила, почет, власть, а дело, труд, подвиг» («Приб. к Церковным Ведомостям», 1897 г., 43, стр. 1560-1561).

А на другой день, в Свято-Троицком Соборе Александро-Невской Лавры был торжественно посвящен в епископы будущий патриарх. Рукоположение совершали: митрополит С. Петербургский и Ладоский Палладий, архиепископы Казанский Арсений и Финляндский (будущий митрополит Петербургский) Антоний, епископ Нарвский Иоанн и епископ Гурий. Епископа Тихона с нетерпением ждал его начальник архиепископ Варшавский Флавиан, — множество различных дел ожидало его в беспокойном Царстве Польском, которое всегда было самым уязвимым местом Российской Империи. Епископу все же пришлось задержаться на несколько дней в Петербурге — ровно настолько, чтобы принять участие в рукоположении настоятеля Черемнецкого Иоанно-Богословского монастыря архимандрита Вениамина и епископа Ямбургского. Пройдет не многим более четверти века и рукоположенный 25 октября (через несколько дней после Тихона) Вениамин Муратовский возглавит номинально обновленческий раскол и станет юридическим центром для всех борющихся с тихоновской церковью.

На месте своего нового служения епископ Тихон заслужил всеобщее одобрение. Вежливый и тактичный епископ умело смягчал антагонизм между польским и русским населением и осторожно налаживал отношения с униатами. Благодушный и религиозный, он очень любил служить и произносить пропо-

веди: за свое одиннадцатимесячное служение в Люблине он произнес 120 речей. 14 сентября 1898 года епископ Тихон неожиданно назначается экзархом Северной Америки и переезжает в Нью-Йорк. Благодаря природному такту он сумел ужиться и в этих, столь чуждых ему условиях, многое сделал для расширения русской епархии и, между прочим, основал под Нью-Йорком русский монастырь. 25 января 1907 г. епископ Тихон назначается в Ярославскую епархию, которой он мирно и спокойно правит до 1914 года при помощи двух своих друзей: Иосифа (Петровых), которого он сумел выдвинуть епископом Рыбинским, и своего келейника иеромонаха Серафима Самойловича, впоследствии архиепископа Углицкого, — характерно, что обоим впоследствии было суждено сыграть крупную роль в истории русской церкви. В 1908 году архиепископ Тихон, будучи в Петербурге, имел свидание с о. Иоанном Кронштадтским в Вауловском скиту Иоанновского монастыря. Старый и больной протоиерей, вопреки этикету, первый закончил беседу следующими словами: «Теперь владыко, садитесь Вы на мое место, а я пойду отдохну». («Церковные ведомости», 14 июля 1918 года, № 23-24, стр. 706-707). Эту случайную фразу впоследствии всячески «обыгрывали» духовные ораторы в своих панегириках патриарху, желая этим сказать, что Иоанн Кронштадтский как бы назначил Тихона своим преемником в качестве религиозного вождя русского народа.

3-го января 1914 года будущий патриарх был назначен архиепископом Виленским и всея Литвы; в этом сане он пребывал до июля 1917 года, когда, как мы видели, он был избран на Московскую митрополичью кафедру.

Что из себя представлял патриарх Тихон в дореволюционное время как общественный деятель? Его враги впоследствии усиленно распространяли (и устно и печатно) слухи о том, что патриарх до революции, якобы, примыкал к черносотенцам. Следует сказать, что история совершенно это не подтверждает: ни в одной речи, произнесенной патриархом, ни в одной статье, напечатанной в епархиальных ведомостях тех городов, где он святительствовал, нельзя найти ни малейших следов «черносотенства». Правда (будучи в Вильно) он как и большинство архиереев числился почетным членом местного отделения «Союза русского народа». Однако, никогда, никакого участия в работе Союза он не принимал. Что касается приветствия председателя Виленского отделения СРН Кандау-

ровой, в котором она говорит об особой роли архиепископа, которую он играл, якобы, в «Союзе» (это приветствие впоследствии всячески использовали враги патриарха), то эту тираду истерички следует отнести к обычным славословиям такого рода, в которых льстивые «восторги» смешиваются с женской экзальтацией. Люди, близко знавшие патриарха до революции, говорят, наоборот о его либерализме и терпимости, что очень идет к его мягкой и гуманной натуре. Так, например, архиепископ Тихон положительно отзывался об М. М. Тарееве — смелом богослове-новаторе, которого не выносила официальная церковь.

«Что ты, что ты, — возмутился преосвященный Тихон, — рассказывает его ученик Б. Царевский, — какой он неправославный? Православие тем и хорошо, что оно способно многое включить в свое глубокое русло», («Соборный разум», стр. 19). Очень интересен для характеристики патриарха его отзыв об увольнении митрополита Макария на покой. «По его мнению если бы всеми уважаемый старец-митрополит и был виноват в том соприкосновении со «старцем» Распутиным, в котором, его обвинял этот барин, на время надевший красную рубашку (Львов), не ему все же выступать с обличениями и кричать и топтать ногами на святителя. Зачем преосвященный Макарий все-таки подал прошение об оставке? — заметил я.

— То-то все мы лакеи! — с горечью воскликнул Владыко. — Веками унижений приучены к покорности! Ну да не все, Слава Богу! Скорее бы конец всему этому! Последние фразы были сказаны с такой глубокой горечью, что я искренно покался в душе, что неосторожно затронул его наболевшие раны». (Там же стр. 19). Таков был человек, которому 21 ноября 1917 года была вверена русская православная Церковь.

Наряду с патриархом был избран также Священный Синод, состоявший из 6-ти человек: митрополитов Антония Харьковского, Арсения Новгородского, Сергия Владимирского, Платона Одесского, архиепископов Анастасия Кишиневского и Евлогия Волынского. На случай смерти членов Синода было избрано также шесть заместителей (кандидатов в члены Синода): митрополит Петроградский Вениамин, архиепископы Таврический Димитрий, Могилевский Константин, Тамбовский Кирилл, епископы Вятский Никандр и Пермский Андроник («Церковные ведомости», № 21-22 за 1918 г., стр. 633). В качестве «Нижней Палаты», был избран также Церковный Совет, со-

стоявший из представителей белого духовенства и мирян. Избрание патриарха было встречено повсюду верующими с восторгом. Правда, А. И. Введенский в своей известной книге «Церковь и Государство» вспоминает, что в январе 1918 г. он якобы имел беседу с протопресвитером Г. Шавельским, во время которой было высказано намерение уже тогда отколоться от патриарха. Никакими конкретными данными это намерение, однако, не подкрепляется; скорее всего мы здесь имеем дело с одним из тех разговоров, которые (как говорят французы) сочиняют, спускаясь с лестницы.

Как вел себя, однако, торопецкий попovich, попавший на патриарший престол? Надо сказать, что, будучи патриархом, Тихон очень мало изменился. Спокойствие, добродушие, чувство юмора не покидали его никогда в жизни. Если позволительно привести здесь литературную аналогию, покойный патриарх был удивительно похож на Кутузова, каким его изображает Л. Н. Толстой в романе «Война и мир». Скромный, простой русский человек с ясным практическим умом и добрым сердцем — таким оставался до смерти патриарх Тихон. Чтобы дать представление об его личности приведем несколько эпизодов, связанных с его поездкой летом 1918 года в Петроград (29 мая — 3 июня 1918 г.). «Сотрудник одной из Петроградских газет спросил патриарха, что доносится к нему со всех сторон России: патриарх после некоторого раздумья лаконически ответил: «Вопли» («Церк. Ведом.» 14 июля 1918 года, № 23-24, стр. 691). Отвечая на экзальтированную речь прот. Н. С. Рудницкого (председателя правления братства православных приходов), патриарх сказал: «Я слышал сейчас, что братство объединяет людей, готовых на подвиги исповедничества, мученичества, готовых на смерть. Русский человек вообще умеет умирать, а жить и действовать он не умеет. Задача братства не в том только, чтобы воодушевлять на мучения и смерть, но и наставлять, как надо жить, указать, чем должны руководствоваться миряне, чтобы Церковь Божия возрастала и крепла. Наши упования — это жизнь, а не смерть и могила». (Там же, стр. 696). «Церковь должна быть свободна от бюрократического порядка», — говорил он тогда же. Здесь, в Петрограде, он встречается в первый раз с обновленцами; на Стремянной улице, в зале собраний при церкви С. Троицы, делегация общества «Соборный Разум», состоящая из четырех человек (свящ. Евг. Белкова, прот. Мих. Попова, прот. Конст.

Околовича и секретаря В. И. Лебедева), вручила ему адрес «Да... это хорошо... теперь все стало соборное и церковь соборная, и Россия соборная, и разум соборный», — сказал патриарх (журнал «Соборный разум», № 6-7, стр. 13). Вообще патриарх очень терпимо относился к реформаторам: в Москве, в Храме Василия Блаженного, подвизался свящ. о. Роман Медведь, известный своей независимостью, который не раз публично заявлял, что он по ряду вопросов не согласен с патриархом. В церкви Тихона Амафунтского на Арбате служил о. Иван Борисов, настроенный примерно также. Наконец, при патриархе развивал свою деятельность о. Владимир Быков — крупный биолог, принявший священный сан. О. Владимир смело реформировал богослужение и скандализировал консерваторов своими оригинальными проповедями-беседами. Патриарх ему покровительствовал и даже отвел ему для богослужения одну из церквей Зачатьевского монастыря на Остоженке. Следует также упомянуть об имевшей место в 1919 году попытке создать Рабоче-крестьянскую Христиано-социалистическую партию, задуманную свящ. Гребневской церкви, что на Лубянке, впоследствии ренегатом, С. Калиновским. Патриарх благословил священника на создание этой партии с крайне левой программой и лишь по независящим от патриарха обстоятельствам партия не была создана. Наконец патриарх смотрел сквозь пальцы на деятельность Антонина, который после революции как с цепи сорвался: проживая на покое в Заиконоспасском монастыре (на Никольской), совершая литургию посреди храма, читал евхаристические молитвы вслух, кроил и перекраивал богослужение, изменяя его каждый день...

* * *

Мы охарактеризовали деятельность патриарха в бурные революционные годы (1917-1921 гг.) и забыли мы сущую «мелочь»: знаменитые антисоветские воззвания патриарха и его деятельность в качестве одного из вождей антисоветских сил в стране. Остановимся и на этой стороне его деятельности. На предыдущих страницах мы старались дать совершенно объективную характеристику Патриарха Тихона, как деятеля и как человека. Как видит читатель, патриарх Тихон был умным и добрым человеком, который однако являлся типичным представителем дореволюционного русского духовенства, — таким он был и по своим воззрениям, и по своим вкусам, и по своему психическому складу. Странно было бы ожидать от этого

человека, чтобы он рассуждал как марксист, да еще большевик, и приветствовал бы Октябрьскую революцию: тогда он не был бы главой русского духовенства. Отражая позицию русского духовенства и почти всей тогдашней русской интеллигенции (даже таких людей как А. М. Горький, Куприн, Скиталец и другие) патриарх выступил против советского правительства с рядом воззваний. С крещенским воззванием 6/19 января 1918 года, в котором он выступил с протестом против кровавых эксцессов, с воззванием против Брестского мира, а также с резким письмом к В. И. Ленину, написанном к первой годовщине Октября, в котором содержалось требование всеобщей амнистии. Что характерно для всех этих воззваний? Прежде всего отметим, что патриарх, в противоположность некоторым священникам, нигде не восстает против социалистических и коммунистических принципов, ни даже против революции, как таковой: — он восстает, главным образом, против эксцессов и против отдельных актов Советского Правительства (Брестский мир).

«История — не Невский проспект», говорил в свое время Н. Г. Чернышевский. Головокружительный рывок сделала история в 1917 г., следствием этого явился глубокий раскол в русском народе и обществе, — этот раскол пролегал глубокой щелью в каждой семье, в каждом городе, в каждом медвежьем уголке: все в России разделилось на приемлющих и неприемлющих революцию. Должна была расколоться и Русская Православная Церковь и раскол церкви наступил в весенние дни 1922 года.

(Продолжение следует)

Анатолий Левитин и Вадим Шавров

НА СЛУЖБЕ У ЯПОНЦЕВ*

В институте я застал большие перемены — теперь ни одного советского не было, зато много старых знакомых — в канцелярии все те же «Амплий» и Тихообразова. Попрежнему преподавали Ульяницкий и Гогвадзе. Новые были Ширяев, хорошо говоривший по-японски, старая учительница русского языка и проф. Гинс. Гинсы собирались в США к сыновьям и Гинс делал все возможное, чтобы сблизиться с японцами, завоевать их доверие и получить визу в Америку. Он писал большие статьи в японском журнале «Луч Азии», издававшемся на русском языке, о росте японской экономики, о могуществе Японии, о ее прогрессе во всех областях жизни. В то время мы с женой жили в доме Гинса, наша квартира была стена в стену и мы постоянно слышали за стеной удары молотка закладываемых ящиков...

Опять начались привычные занятия, чтение отрывков из разных произведений классиков, поверочные работы, разбор прочитанного. Но вот я заметил очень большую перемену в студентах. Теперешние сильно отличались от тех, с которыми я занимался в 26-29 гг. Те студенты были как-то скромнее, в них не было ни самодовольства, ни наигранной важности. Отчего это происходило я скоро понял из вопросов, которые время от времени студенты мне задавали: «Как вы думаете, г-н учитель, союз Ниппон с Германией очень большая сила?» «Да, конечно, очень большая сила», отвечаю я. «Я думаю Англия скоро будет разбита?», говорит другой. (В школе ученики-солдаты всегда встают, в институте студенты задают вопросы сидя). «Почему германская армия так скоро разбила Польшу и Францию?» спрашивает третий и весь класс смеется. «Потому что германская армия очень сильна и немцы долго готовились к войне», отвечаю я. Одобрительные «вссс...аа-а» всего класса. Теперь японцы, что называется, заражены шовиниз-

* См. кн. 80, 82, 84 «Н. Ж.».

мом до мозга костей. В их воображении «Великий Ниппон» принял размеры и силу богатыря, который насаживает на штык русских пигмеев как на вертел.

Попрежнему я возвращался домой с Ульянником, он также досаждал разговорами о масонах, жидях и «мировом заговоре». Так незаметно подошел июнь. Между школой и институтом время бежало быстро. Стояли знойные дни маньчжурского лета. И утро 23 июня запомнилось мне навсегда. Это был понедельник, восьмой час утра, я шел по Большому проспекту в школу. Было жарко, пыльно, уже душно. Когда я подходил к Ашихейской улице, где на углу стоит большой магазин Чурина — пересекая улицу, с противоположной стороны быстро шел Кузьмин — «Подожди! — крикнул он — идем вместе!» Он подошел и мы вместе стали переходить улицу. На противоположном углу была аптека Бернштейна: «Пушкинская аптека». У дверей аптеки на стене всегда вывешивались объявления газеты «Харбинское Время» с срочными сообщениями. «Смотри! — воскликнул Кузьмин — война!» На белом газетном листке было напечатано большими жирными буквами — «Германия объявила войну СССР». — «Ну вот, теперь конец большевикам», радостно произнес Кузьмин. У меня упало сердце. «Еще неизвестно», сказал я. «Ну как неизвестно, — ответил Кузьмин: — ты только при японцах будь осторожен, а то подумают, что ты на стороне большевиков!» Я молчал, но я был действительно на стороне, но только не большевиков, а русских, русского народа.

Так мы молча дошли до школы. Тут нас сразу охватила суэта, какое-то возбуждение, сутолока. Внизу у лестницы появилась большая черная доска, на которой вывешивались «срочные» сообщения на японском языке. Во дворе школы уже стояла полевая военная радио-станция, около которой хлопотали японские саперы. Новости поступали каждые полчаса, наверху они переводились Такеучи, который их громогласно объявлял. В учительской было возбуждение. Большинство, то-ли искренне, то-ли делало вид — радовались. На всю учительскую громко по обыкновению острил Поперек: «Я за Гитлеровича!» Такеучи сидел с торжественной миной на лице и объявлял очередное сообщение, которое приносил солдат: «Немецкие войска стремительно наступают». — «Фронт красных прорван». — «Красные банды бегут». Я сидел в отдалении на конце стола, рядом с Никифоровым, а напротив меня Куксина.

Никифоров шепнул: «И откуда так быстро такие сведения?» А Куксина с видимым волнением говорила: «А все-таки это ужасно, ведь это же русские!» В этот день Такеучи объявил, что мы можем в 12 ч. идти домой, т. к. офицеры будут заниматься с солдатами, объясняя им ход событий... Я постарался поскорее выйти, чтобы быть одному, настроение было такое, когда не хотелось никого видеть, да еще слушать, как «красные банды разбиты» и т. д. Мне еще предстояло к 3 ч. быть в институте. Там мои занятия кончались к 1-му июля, оставалось всего пробыть полторы недели. Подходя к собору я увидел быстро шагающего Химикуса. Этот человек был самых неопределенных занятий — чем-то торговал, где-то работал у японцев, был самых пронемецко-прояпонских настроений и даже когда началось дело у Халтин-Гола, пожертвовал на «японскую армию» платиновый десятирублевик, вывезенный из России. И вот этот Химикус, увидя меня, помахал рукой и торопясь крикнул: «Ну теперь конец! Разделят Россию»...

Через сотню шагов я столкнулся с генералом Люповым. Этот старый офицер довоенного генштаба, во время войны — нач. штаба корпуса, а во время гражданской — командир корпуса — выделялся исключительной ограниченностью. Я его хорошо знал. Впервые я встретил его в Самаре, когда я был при Галкине. Люпов отличался тем, что при встрече непременно останавливал и пускался в бесконечные философские разговоры о мировом масонстве, о «дьявольском замысле» погубить Россию и т. д. Был он одинок, вел спартанский образ жизни, в его небольшой комнате, куда он раз меня затянул, кроме стола и стула была длинная узкая лавка т. е. деревянная доска, на которой он спал. Жил он уроками, был педантично акуратен во всем решительно. Я когда мог избегал его ибо, к моему несчастью, он любил особенно передо мной разводить свои теории, считая меня старым знакомым. Но тут я не успел от него увернуться. Он, конечно, остановил меня и принялся излагать свое авторитетное мнение относительно стратегии немцев: «Ну вот, во-первых, здравствуйте, — начал он. — Теперь, конечно, большевикам скоро конец. Это совершенно ясно. Немцы наступают в трех главных направлениях — на юге на Киев, который на-днях будет взят, в центре — на Москву, на севере на Петроград — теперь Ленинград. Советское командование совершенно бездарно, фронт уже прорван в нескольких местах — вопрос полного разгрома — две-три не-

дели. Вот, батюшка мой, какие дела!» закончил он. «А вы не думаете ваше превосходительство, что сейчас дело идет о бытии русского народа и что независимо от власти и правителей русский народ инстинктивно понимает, что его ждет, если победят немцы и так легко не даст себя покорить». «Ничего он не чувствует, поверьте мне, а немцы придут, по крайней мере наведут порядок, уверяю вас!» Это был тяжелый день. В институте — торжествующие лица студентов — они явно были рады нападению Гитлера. В учительской Ульяницкий безапелляционно заявлял: — «Нет никакого сомнения, что красные будут разбиты, ведь это же ясно как Божий день!» Приходилось молчать и единственно о чем думать это, чтобы не выдать себя. Дома у нас с женой было полное согласие — мы оба не верили в поражение России. Наша уверенность ни на чем не основывалась, кроме инстинктивного чувства. Так потянулись дни войны. Меня ужасающе мучил вопрос: выступит Япония или нет? Русским будет очень тяжело, если японцы нападут на Д. Востоке. В школе каждый день, лишь только мы утром собирались в учительской, Такеучи, торжественно объявлял «только что» полученные новости по японскому радио: «Германские войска взяли Киев и стремительно наступают на юг. Ленинград накануне падения! Красные банды (иначе он не говорил) бегут!» На всю учительскую Поперек кричал: «Поздравляем вас Петр Павлович! Гитлерович молодчина!»

Как-то в эти дни, только что начался урок, открывается дверь и входит Такеучи. Останавливается у доски, минуты две молчит, слушая мои объяснения урока, а затем говорит, раздельно произнося слова: «Большевистское правительство бежало в Кюйбишев — германские войска атакуют Москву!» Все это было тяжело и отвратительно, однако были и исключения. Никифоров, хорошо меня зная и вполне доверяя, после очередной «новости», которую сообщил Такеучи, закуривая, мне прошептал: «По девять раз в контр-атаку ходят, вот тебе и бегут!» Куксина тоже не радовалась успеху немцев, но молчала. Очень характерно, что японские сводки и радио-сообщения отличались необыкновенным враньем, то же самое было когда они сообщали о своих головокружительных успехах у Заозерной, а потом у Номонхана. Вскоре Такеучи, держа перед собой «сводку», громогласно объявил: «Петроград, а теперь Ленинград, взят. Немецкие войска вошли в город!» Начались радостные восклицания. Никифоров поторопился закурить,

Куксина прошептала: «А все-таки это ужасно!» Когда я пришел домой, выяснилось, что Такеучи сообщал заведомо неверные сведения — Петроград держался.

Между тем мои занятия в институте закончились. Елизавета Ивановна Такенаучи по этому случаю устроила хороший обед, с хорошей закуской, пирогом и пр. А вечером Такенаучи пригласил меня в японский ресторан, где было устроено сики-ки. О войне мы не говорили совершенно. Потом я очень редко виделся и с Елизаветой Ивановной и с самим Такенаучи. Эти первые месяцы войны все были поглощены событиями на фронте. Японцы строжайше запретили иметь радио-аппараты с короткими и ультра-короткими волнами. Но несколько раз в месяц специальные наряды полиции ходили по домам и проверяли радио. Нарушение этого приказа грозило японским застенком. Можно было слушать только сообщения и программу местной радио-станции. И тем не менее, очень многие ловили сообщения «информбюро». Дело в том, что Чита, Хабаровск и Владивосток транслировали Москву, а эти станции можно было ловить на средней и даже на длинной волне. Сообщения и сводки Москвы обычно слушали около 8 ч. вечера. И надо сказать, что советские передачи отличались гораздо большей правдивостью, чем немецкие и в особенности японские. Это привело к тому, что японским сводкам никто не верил и даже верные японские слуги часто в них сомневались. По мере того, как наступление немцев замедлялось, а Ленинград и Москва еще не были взяты — японцы становились замкнутее, а Такеучи перестал делать «сенсационные» сообщения. Даже местное радио, т. е. японское, сообщало, что «сопротивление красных усиливается», «в некоторых местах идут упорные бои» и т. д.

Тем временем наступила маньчжурская «золотая осень» — единственное время в году хорошей, тихой погоды. Гинсы уехали в США. До последней минуты они не были уверены выпустят ли их японцы. Гинс старался уверить Ниимура, что уезжает с женой и свояченицей исключительно только затем, чтобы повидать сыновей и что они обязательно вернуться в Харбин. Ниимура поверил и содействовал тому, что Гинсов выпустили.

В конце октября, только что я вошел в учительскую, как Такеучи встал со словами: «Ильин-сан, мне надо с вами поговорить, пойдем в коридор». Я как-то сразу почувствовал,

что-то неладное. До звонка оставалось минут 5, ученики сидели уже по классам. В коридорах было тихо, пустынно. Такеучи остановился, встал против меня и начал, как водится издалека: — «Ну, вот что Ильин-сан мне, конечно, очень неприятно это вам говорить, но вот поступил на вас донос, что вы оборонец!» На слове «оборонец» он сделал ударение — «Вы — за большевиков. Правда ли это?» Что тут было делать? Я решил затронуть патриотические чувства Такеучи: «Такеучи-сан! Вы любите Японию?» Он даже несколько удивился: — «Ну конечно!» — «Ну вот видите: а я люблю Россию!» — «Но это не Россия, а большевики, Германия ведет справедливую войну против большевиков, для спасения русского народа!» — «Я понимаю, — ответил я, — но ведь каждый день убивают-то русских людей! Мне все-таки их жалко». — «Жалеть не надо! Это коммунисты. Германия победит и тогда наступит счастливая жизнь, Ильин-сан», как-бы уговаривая меня, говорил Такеучи. Потом помолчав, он заявил: «Начальник школы Танака-сан сказал, чтобы я вам передал, что он этому не верит и больше об этом говорить не будем». В это время прозвенел звонок — я пошел в класс.

Итак, кто-то «настучал». Я знал японцев и поэтому был уверен, что этим дело не кончится и хоть Танака благородно и заявил, что он этому не верит, но это ровно ничего не значит. Как это всегда бывает, в учительской уже знали, что у меня был какой-то не совсем «благополучный» разговор с Такеучи и многие смотрели на меня как-то подозрительно. Прошел месяц. В школу стали приезжать новые ученики. Начали составлять новое расписание — этим ведали обычно Дёгтев, Кедров и Гредякин. Вместе с этим происходила и перетасовка учителей. И вот утром вхожу я в учительскую и Гредякин мне дает новое расписание. Беру и вижу — 5-ый класс. Думаю — ошибка. Говорю Гредякину: «Но мой класс 2-ой?» — «Теперь вы будете в младшем классе — это распоряжение начальника школы, в старшем классе будет новый преподаватель — Козловский-сан». Такеучи во время этого разговора сидел с каменным лицом и ни слова не произнес. Козловского я знал давно — еще до первой мировой войны — он был артиллерийский офицер и мы встречались в одном доме в Петербурге. Потом мы встречались в Харбине. Он был женат, имел сына и дочь. Жил уроками, преподавая в гимназии, которую основали методисты и чтобы иметь более обеспеченное положение, перешел

в методизм. Вот этого Козловского Танака и назначил во 2-ой старший класс и кроме того председателем комиссии по составлению нового учебника для более скорого изучения русского языка. В эту комиссию вошли Левицкая, Кедров, Григорович, Куксина. Обо мне больше никто уж не заикался.

Война на западе затягивалась, немцы Ленинграда взять не могли, застряли и под Москвой. Японцы тянули и, повидимому, выступать пока не собирались. По радио каждый день выступал представитель военной миссии, который сообщал об очередных успехах немцев, о подавляющем превосходстве немецкой авиации, о новых немецких танках, которые могут преодолевать любое препятствие и т. д. И вот, наступило 24 ноября по старому стилю, день Екатерины. В этот день мы с женой уже много лет подряд проводили вечер на именинах Екатерины у наших старых друзей, супругов П. Как всегда великолепный ужин, масса закусок, именинные пироги, настойки и пр. Много добрых знакомых. Русские в Харбине при всех «режимах», в самых, казалось бы, тяжелых обстоятельствах, ухитрялись широко праздновать и дни именин и рождений, Пасхи, Рождества. Возвращались домой далеко за полночь. В это время в Маньчжурии уже зима с основательными морозами. Проснувшись рано утром, слышим за стеной, в соседней квартире, где жила семья японца-губернатора Хейлуцзянской провинции, непрерывное бормотание радио на японском языке. Быстро собравшись мы с женой расходимся — она на Пристань на уроки, я — в школу. На улице какое-то оживление. Сломая голову несутся мотоциклетки с японскими военными, проносятся несколько автомобилей. Навстречу быстро идет Зд-кий. Темная личность, живущий все время какими-то аферами, но ярый японофил. Человек неглупый и ловкий. Радостно сообщает: «Слыхали? Война!» У меня упало сердце — неужели напали на Россию? — мелькнуло в голове. — «Какая война? С кем?» — стараясь быть спокойным, спросил я. — «Да с Америкой! Сегодня ночью японцы потопили весь американский флот в Перл-Харбор! Знаете? Здорово! Теперь американцам конец, а заодно и англичанам. Лордам по мордам!» — и он побежал дальше.

Когда я еще только подходил к дверям школы, я уже слышал, что там какое-то возбуждение. На дворе у полевой радиостанции суетилась группа солдат, перерывисто постукивая работал мотор, все время принимались телеграммы. Наверху сно-

вали в коридорах ученики. В учительской царило возбуждение. «Ну теперь американцам покажут!» — слышались возгласы. Такеучи сидел буквально надувшись. Не успел я сесть на свое место, как вошел Танака. Он не шел, а словно маршировал. Остановившись посредине учительской, обращаясь ко всем, он, вбирая и выпуская с шумом воздух, заговорил: — «Сегодня ночью Ниппон объявил войну США и Англии. Американский флот уничтожен в Перл-Харбор, дальнейшие операции ниппонского флота и авиации успешно развиваются!» Танака торжествующе обвел всех глазами. Поперек крикнул «Ура Ниппон!», кое-кто его поддержал. Потом мы пошли в классы. В 5-ом классе, на передней парте сидел ст. унтер-офицер Кобаяси. Он уже немного говорил по-русски. Только что я поздоровался и мне ответили: «Здравствуйте, г-н учитель!», как этот Кобаяси глядя на меня произнес: «Скоро белый дом станет черным домом!» — «Вы так думаете?» — сказал я. — «Да, да, конечно!» — ответил он. Я начал урок. Теперь потянулись дни головокружительных успехов японцев. Однако население было переведено на карточки. По карточкам выдавали европейскому населению хлеб — 400 гр. на человека, сахар, муку, бобовое масло. Китайцам только чумизу, гаолян и масло. Английское, американское консульства были закрыты. Американские граждане, также как и английские, были арестованы и отправлены в концлагерь в Мукден.

Недели через две после нападения на американский флот в Перл-Харбор, упоенные славой победителей, японцы решили напомнить, для поднятия духа «нации Ямато», о героической смерти двух японских офицеров, которые в 1904 г. были пойманы русским разъездом в районе реки Нонни в Маньчжурии. Эти офицеры, переодетые китайцами и даже с искусственными косами, имели задание взорвать мост через Нонни. Если бы это удалось, то сообщение по КВЖД было бы прервано на довольно продолжительный срок, что, естественно, отразилось бы на снабжении и пополнении русской армии. Разъезд был от заамурского полка, которым командовал полковник Межак — латыш по происхождению. Уже заканчивая объезд данного района, начальник разъезда, унтер-офицер заметил двух странного вида китайцев. Для привычного глаза, никакой маскирад не может помочь японцу стать похожим на китайца. Их остановили и доставили в штаб полка. При обыске нашли план моста, динамит, карту Маньчжурии и две тысячи иен. Японцы тут

же сознались. Через день состоялся военно-полевой суд. Приговор был вынесен сразу же: смертная казнь через расстрел. Судили японцев как шпионов. Председателем был военный юрист — полковник Афанасьев. Японцы с величайшим спокойствием выслушали приговор, просили 2 тысячи иен передать русскому красному кресту и благодарили за «справедливый приговор» — они боялись быть повешенными. Приговор был приведен в исполнение на другой день. Их расстреляли за городом. Капитан Симонов, командир этапной роты, командовал взводом, который расстрелял японцев. Это было в 1904 г. Прошли многие годы. Полковник Афанасьев — уже генерал-майором занял пост на КВЖД — начальника гражданского отдела т. е. по существу губернатора г. Харбина. Полковник Межак дослужился на войне до генерал-майора, а капитан Симонов делал карьеру в штабах, закончив свою службу полковником. Отшумела война.

Когда Япония, казалось, прочно утвердилась в Маньчжурии, создав «Маньчжу-ди-Го» — «великую маньчжурскую империю», ген. Межак, крепкий кряжистый старик — стал латвийским консулом, генерал-майор Афанасьев, сильно одряхлев, доживал свои дни на положении «белого эмигранта», а полковник Симонов устроился сторожем на водочном заводе фирмы «Чурин и Ко». И вот в один прекрасный день, утром, Симонов из своей сторожевой будки увидел остановившийся у ворот автомобиль японской военной миссии, из которого вышли два японских офицера — один держал в руках большую, красивую корзину с фруктами, а у другого был букет цветов. Японцы вошли в ворота. Симонов им навстречу... «Всё... полковник Симонов?» — заговорил один из них. — «Да я полковник Симонов», — не понимая в чем дело произнес Симонов. Японцы поклонились: «Вы... расстреляли двух японских офицеров в 1904 г. Это верно?» — У Симонова екнуло сердце: «Я исполнял приказание, это был приговор военно-полевого суда», — оправдываясь ответил Симонов. «Очень холодно... да, да очень холодно, мы очень благодарны, теперь они великие герои!» Симонов ожил, стал восхвалять доблесть японских офицеров. Японцы просили подробнее рассказать как все было и просили Симонова принять «скромный подарок» в «благодарность» за расстрел героев.

Та же история повторилась с генералом Межак и Афанасьевым. Им тоже были преподнесены фрукты и цветы и

японцы просили их как можно подробнее рассказать о том, как были задержаны два офицера и как происходил суд. А затем, дня через два к Симонову явился майор из военной миссии. Он заявил, что японское командование очень просит полк. Симонова посетить Японию и объехать военные школы — его покажут как офицера, приведшего приговор в исполнение. Ему будет заказана форма русского полковника при орденах и оружии, он поедет в сопровождении японского офицера из военной миссии, который будет его представлять. Срок поездки две недели. Симонов получит 150 иен. Путешествие, гостиницы и пансион за счет военного командования. Японец очень интересовался какие ордена есть у Симонова. Тут Симонов оказался в затруднительном положении. Дело в том, что он принадлежал к тому типу офицеров, которые всю свою жизнь ухитрялись прослужить в канцеляриях и штабах и единственный раз, что он был в строю, это когда недолго командовал этапной, нестроевой ротой. Поэтому и ордена у него были все «мирные», как говорится, «за выслугу лет» и дальше Станислава, двух Анн и нескольких медалей похвастаться ему было нечем. Тем не менее японец просил Симонова не отказываться и дал ему на размышление два дня. Симонов заколебался. Начались совещания «в адмиральский час». Спрашивал совета. Однако, что тут можно было советовать? Одни находили, что «показ» русского полковника вещь не очень то почетная, другие говорили, что тут советовать что-либо весьма трудно. Как бы то ни было Симонов согласился. Ему дали 2-х недельный отпуск. Японец привез полную форму — защитный китель, синие бриджи с кантом, сапоги со шпорами, золотые полковничьи погоны, папаху, шашку и ордена: Георгиевский крест и Владимира с мечами, ко всему этому новенький чемодан с двумя сменами белья. Симонов несколько засмутился: все-таки как-то неудобно было надевать Георгиевский крест! Владимир еще туда-сюда, ну, а Георгия? Однако японец уверил его, что это для того, чтобы произвести наиболее сильное впечатление, что-мол героев расстрелял не какой-нибудь рядовой офицер. Потом Симонов рассказывал, как он путешествовал по городам Японии, начиная с Токио, где посетил военную академию. Его роль была несложной. Входили в класс. Симонов становился у кафедры. В форме русского полковника с Георгием в петлице, он стоял на вытяжку, а его «гид», японский майор, принимался объяснять слушателям кто перед ними

стоит и как происходил расстрел. Слушатели военной академии — офицеры и юнкера военных училищ с каменными лицами слушали, а когда «представление» оканчивалось, Симонов кланялся, а японцы дружно аплодировали.

Каждый день радио приносило известия о новых успехах японцев. У нас в школе царил торжественное настроение. Перед новым годом Танака объявил, что с нового года будет новая программа и будет составлен новый учебник, рассчитанный на обучение русскому языку в 3 месяца. Составление такого учебника было поручено «комиссии» Козловского, которую мы окрестили «трест мозгов». Характерно, что не нашлось ни одного человека, который бы возразил против этого идиотства. Все молча приняли эту «реформу», а было не мало и таких, которые радостно ее приняли: «Ну, японцы могут! Они народ упорный!» — говорили Козловский, Поперек и др.

Дела немцев на русском фронте были не так успешны — под Москвой они были разбиты и к великому удивлению японцев, немецкая армия покатила назад. По этому поводу, японский военный обозреватель майор Накамура, выступая по радио, предупреждал, чтобы никто не смел и думать о неуспехе немецких армий! Отступление под Москвой это просто напросто один из эпизодов, которые на войне всегда возможны и никакого влияния на общий ход войны это не может иметь. Вообще жизнь становилась все тяжелее — требовалась величайшая осторожность в разговорах, т. к. кругом были «стукачи». Многих мы знали, но много было и скрытых, которые работали «сдельно», за 5 иен «пришивали бороду», т. е. доносили на кого-нибудь просто зря, лишь бы «заработать». Начались аресты. Исчезали люди — возвращались редко, а если и возвращались, то сильно пострадавшие. Арестованных пытали, а потом прививали им тиф, от которого они умирали. У японцев служила в качестве полицейских целая партия русских-сади-стов, которые и производили все эти «операции» заплочных дел мастеров. Так погиб Домбский зять Кулаева. Домбский заведывал гостиницей, которая принадлежала Кулаеву, и находилась прямо против вокзала. Веселый, общительный, компанейский — Домбского знал весь Харбин — ему дали прозвище «Муха» — которое так за ним утвердилось, что иначе его никто и не называл. Он имел неосторожность, получая иены и го-би, покупать на черной бирже, которая в Харбине и Шан-хае процветала, американские доллары. Как-то к гостинице

подъехала мотоциклетка с кареткой и двумя японцами из жандармского управления и «Муху» забрали. Его пытали, а затем он «заболел» тифом и скончался. Совершенно неузнаваемый труп его был выдан вдове и похоронен в Харбине на старом кладбище. Елизавета Филипповна Домбская в 1957 г. с женатым сыном-хирургом и внуком уехала в Канаду.

Новый 1942 г. японцы справляли торжественно. Америка отступала. Англия терпела поражения в Африке. Японские сводки отличались невероятным хвастовством. Каждый день сообщалось о десятках сбитых американских самолетов, о гибели нескольких кораблей, о необычайных успехах в Индо-Китае. Всюду были расклеены карикатуры на Рузвельта и Черчилля: — японский дредноут разрезал пополам американский крейсер, в воде барахтается тонущий Рузвельт, вокруг него тонут матросы и офицеры, многие уже пускают пузыри! Вот стоит во весь рост генерал Тооджо — он высок и строен, опирается на саблю, а у ног его, на коленях — маленький, изможденный Рузвельт и толстый Черчилль с сигарой в зубах. У обоих молитвенно сложены руки и они, подняв головы, просительно смотрят на «великана» Тооджо. Как известно Тооджо кончил тем, что неудачно стрелялся, а по выздоровлении был повешен.

Удивительно было то, что наряду со всеми военными ликованиями японцы все хуже обращались с эмиграцией и все больше восстанавливали против себя русских. Со стороны казалось, что словно какая-то злая воля толкала их делать разные глупости. Например, были введены маневры воздушной обороны, которые производились каждое 18-ое число, но часто они бывали и неожиданные. В каждом квартале был старшина, в большинстве русский, но в некоторых районах были и японцы. К сожалению надо признать, что было немало русских, которые, выслуживаясь перед японцами, из этой «обороны» делали настоящее мучительство, а японцы так просто свирепствовали. В день маневров все мужское население города должно было иметь на ногах защитные обмотки, а женщины — в брюках. Лишь только раздавался вой сирены и гудки заводов и фабрик, как все сломя голову должны были выбегать из домов и строиться в заранее указанном месте. Начальник обороны проверял все ли на лицо, затем командовал поворот, сам становился во главе и взяв локти к телу, вся шеренга бежала с криком «ййсо-ййсо!» к месту предполагаемого пожара или «зажига-

тельной бомбы». Тут все становились цепью, не стесняясь вваливались в любой дом, где из кранов наполняли ведра водой, быстро их передавая друг другу и последний выливал воду на землю. Иногда для более наглядного «примера», в какую-нибудь квартиру бросалась «бомба» — эта бомба взрывалась, испуская клубы удушливого дыма, который принимались тут же заливать. Особенно часто это практиковалось с китайцами. Последние часто терялись, не вовремя выбегали, мать с грудным младенцем и целым выводком ребят часто оставалась сидеть в своей «фанзе» и вот тут-то ей и бросали бомбу, от которой все в панике бросались бежать. Постигла раз беда и нас с женой. Лишь только раздался вой сирены — это было летом в июне часов в 7 вечера — мы быстро вышли из квартиры, надеясь избежать «маневров» и пошли по улице, которая была совершенно пустынна. Но на нас донесла соседка-японка, сказав, что мы были дома и «убежали». В нашем районе, к несчастью, был во главе японец. Меня вернули, а жене удалось уйти. Открыли двери в квартиру, выстроили всех цепью и передавая ведра друг другу, принялись заливать нашу кухню! Лили с криком «яйсо! яйсо!» минут 30 и залили всю кухню, а под кухней был подпол для хранения продуктов, куда через щели люка вода протекала целыми струями. Я стоял и со скрежетом зубным смотрел на эту «операцию». А потом часа два мне пришлось вычерпывать и вытирать воду. В подвале был картофель, который погиб. Все это было сделано в «наказание» за то, что мы осмелились уйти! Если сигналы заставляли людей на улице, то они были обязаны немедленно скрываться в подъезды и подворотни. За этим строго следили специальные наряды полиции. В случае, если какая-нибудь женщина оказывалась в юбке, а не в брюках, к ней подбегал полицейский и без стеснения, грубо задирает ей юбку на голову! Конные японские жандармы развезжали по тротуарам. Около магазина Чурина, где обычно на тротуаре было много народу, были случаи, когда прохожих лошади сбивали с ног, а раз дело кончилось трагически. Жenu полковника Каншина — старого заамурца — лошадь так сильно ударила в спину, что она упала и не могла подняться. Ей помогли встать и отвели домой. У нее оказалось настолько серьезное повреждение позвоночника, что она вскоре скончалась.

Вместо ген. Янагита, начальника военной миссии, был назначен ген. Дои. Он, как я уже говорил, ввел для русских эми-

грантов специальные значки. Дои был типичный представитель партии «Молодой Японии», мечтавшей о господстве «нации Ямато» во всем мире. Он неоднократно выступал и его речи неизменно начинались словами: «Я солдат! И как солдат могу сказать, что Ниппон идет от победы к победе. Ниппон воздвиг несокрушимую стену обороны, которую никто не может разрушить. За две тысячи шестьсот лет Ниппон не знал, поражения!» Слушая эти речи, читая сводки, смотря на карикатуры, мне каждый раз приходила в голову одна и та же мысль: неужели все эти Дои, Тооджо так глупы и настолько потеряли здравый смысл, что не видят и не понимают того, что «Великий Ниппон» будет разбит на голову? Ведь начать борьбу с богатейшей страной в мире — США, да еще в придачу к ним — с англичанами, народом упорным и в десять раз более богатым чем «ниппон» — было чистым безумием. И, конечно, не один я так думал!

К новому году мне было выдано наградных на 5 го-би (иен) меньше, чем всем остальным. Это было последствием доноса, также как и перевод в младший класс. Тем не менее, занятия у меня шли очень успешно и на очередных поверочных испытаниях, мой пятый класс оказался на первом месте среди младших классов. Однако, никакой похвалы я не получил, а Такеучи был даже как будто недоволен. Но меня ожидало еще нечто худшее. Был конец пасхальной недели. Около 2 часов я шел домой. У магазина Чурина встретил И. П. Шевченко. Могучего сложения, высокий и массивный, Шевченко был «построечник», как называли тех, кто приехал в Маньчжурию на постройку КВЖД. Был он человек без всякого образования, но сметливый, толковый и оборотистый. И он и его брат Патрикий быстро разбогатели на лесных концессиях, стали домовладельцами и были ко времени 1-ой мировой войны одними из самых богатых людей Харбина. Революция все спутала. У Ивана Прохоровича, однако, уцелел хороший 3-х этажный дом и прекрасный особняк, в котором он жил сам. Оказавшись без привычного дела, выбитый из колеи, он ударился в политику. Очень гостеприимный, не прочь выпить, посидеть в кабачке, он угощал всякого, кто готов был слушать его рассуждения на политические темы. В результате он оказался в окружении проходимцев и стукачей, которые за его счет пили и ели, бывали у него и чуть не ежедневно приносили ему «свежие новости». Вот этот Иван Прохорович, с пакетом в руках, увидев меня,

стал приглашать к себе: — «Идемте, у меня хорошая ветчина осталась, есть гусь копченый и вот тут кое-что достать удалось. Настойка на черносмоудином листе, пошли!» Я соблазнился. А по дороге встретили Волынского и Д-ского — сына известного предсказателя погоды. Этот Д-ский был настоящий харбинский Мюнхаузен. Весь Харбин знал его замечательный рассказ о том, как его принимал царь и как он бывал «запросто» в царской семье: «Неоднократно меня приглашали к чаю государь и государыня — говорил Д-ский. Тут он небрежно доставал из заднего кармана брюк массивный серебряный портсигар, закуривал и, делая особенно выразительные глаза, продолжал: — обычно мы были троим. Государыня наливает мне стакан чаю и спрашивает, беря шипчики в руку, — вам сколько кусков сахара, Юрий Николаевич? А государь с некоторым удивлением смотрит на А. Ф. и говорит: да разве ты не знаешь, что Юрий Николаевич всегда пьет чай с двумя кусками сахара?» До прихода японцев Д-ский ухитрился устроиться при «штабе» китайских войск. Получал он гроши, но жил шантажем и крупными взятками. Всегда хорошо, даже элегантно одетый, с отличными манерами светского льва — он очень импонировал людям. С приходом японцев стал «осведомителем» у японцев, «работая сдельно» для жандармского управления.

Пока мы рассаживались, раздался звонок и появились князь У., тоже стукач, который поставлял сведения И. А. Михайлову и японской жандармерии, и женатый сын Шевченко. Этот последний кончил в Германии коммерческий институт, мечтал о победе немцев, отличался редкой глупостью и не расставался с князем У. И вот я совершенно неожиданно оказался в этой компании. Шевченко разливал водку, приветливо угощал, весело поблескивая своими украинскими глазами. Разговор сразу начался о войне. Волынский развязно говорил о том, что в красной армии совершенно бездарное командование — «У них кое-чего стоят, может быть, командиры рот, а выше все никуда не годятся». — «Однако Москвы не взяли до сих пор!» — сказал я. «Возьмут, не беспокойтесь», — заявил князь У. — «Немцы идут на Сталинград. Это колоссальная операция закончится охватом Москвы с фланга — это теперь уже вполне ясно», — говорил князь. В этом духе разговор продолжался все время. Я до конца не досидел, несмотря на то, что Шевченко старался меня удержать: «да куда же вы?»

да подождите, выпьем еще наливки, у меня знаменитая, сам настаивал!»

Ровно через два дня, когда в 12 ч. раздался звонок на большую перемену, и я вошел в учительскую, Гредякин объявил мне, что меня хочет видеть «Танака-сан». Я отправился к нему в кабинет. Постучал. «Ай, ай!» — услышал я и вошел. Он сидел у стола и смотрел на какую-то бумажку разграфленную красными продольными линиями и испещренную иероглифами. Я поклонился и встал у стола. Японская выдержка. Молчим. Наконец Танака поднимает голову: — «Вот тут, Ильин-сан, — он показывает на бумажку, — сказано, что вы позавчера были в одном доме и говорили о войне — это правда?» — «Да, правда, Танака-сан». — «Вы говорили, что немцы не могут победить, вы за большевиков?» — «Нет этого я не говорил. Я сказал, что Москвы еще не взяли, что война затягивается. Больше я вообще ничего не говорил». Танака встает и подходит к карте, которая висела направо на стене. Это большая карта Тихого океана. Он некоторое время молчит. Потом поднимает руку и пальцем показывая на Гавайские острова произносит: «Потом вы сказали, что ниппонский флот потерял в Перл-Харбор тысячу тонн!» — «Это неправда. Я ничего подобного не говорил. О Перл-Харборе и ниппон при мне вообще разговора не было», ответил я. Танака идет к столу и садится, смотрит на бумажку. «Это было у Шевченко за обедом?» — «Да у Шевченко, только это был не обед, а просто я зашел по его приглашению закусить» — «Кто там был?» — Я перечислил присутствовавших. — «Как вы думаете, кто мог бы об этом сообщить?» — Я стал мучительно думать. Перед глазами мелькали — князь У., Волынский, Д-ский, сын Шевченко. Кто? — спрашивал я себя. Мне явно «пришили бороду» — приклеили Перл-Харбор, это было самое опасное. Кому-то захотелось меня окончательно утопить. Думал и ничего не мог придумать. Кроме самого Шевченко любой из этой компании мог «настучать». «Я, Танака-сан, не знаю. Каждый из присутствовавших мог донести, а кто не знаю!» Молчание. Потом Танака переворачивает лист чистой стороной, ударяет по нем ладонью и говорит: «Ну хорошо. Я вам верю. Больше говорить об этом не будем, только будьте осторожнее в будущем». Я молча кланяюсь и выхожу. В учительской Такеучи сидит как истукан, Гредякин на меня не смотрит, Дёгтев, стоя посреди учительской, смотрит на меня и говорит: «Пло-

хо вы кончите!» Я ничего не сказав сел на свое место рядом с Никифоровым. Он шепотом спрашивает: «Что-нибудь нехорошее?» — «Да вот кто-то настучал, написал донос, да еще и ложный». «Надо быть осторожным, батюшка, вы знаете здесь на каждом шагу стукачи! Вот и меня жмут, несмотря на мой японский орден». Дёгтев, когда пришла красная армия, был забран и отправлен в СССР, где вскоре закончил свои дни в концлагере, а мы десятый год наслаждаемся спокойной жизнью в Швейцарии. Так опасны бывают иной раз пророчества.

Прошел май, июнь. За Гон-Конг русскому населению было выдано по фунту сахара сверх нормы, а за Сингапур по бутылке водки. Танака почти каждый день появлялся в учительской и топая полусогнутыми ногами повторял одно и то же: «Перл-Харбор, Гон-Конг, Сингапур!» и вбирал и выпускал воздух. В классе обязательно кто-нибудь из учеников произносил: «Скоро Америке конец», а раз даже один поднялся и заявил: «Г-н учитель, вы слышали, что ниппонские самолеты летают над Вашингтоном?» — «Нет, не слышал, это кто сообщает?» — «Это пишут в ниппонских газетах», последовал ответ. — «Ну вот, я ведь ниппонских газет не читаю!»

А жизнь между тем становилась все тяжелее. Хотя ниппонские самолеты и «летали над Вашингтоном», население все больше мучили «маневрами» противовоздушной обороны, все чаще были сирены, все чаще приходилось выбегать на улицу, строиться, шла проверка, потом беготня с криками «яйсо, яйсо!», а затем приказано было во дворах, в садах и перед домом рыть окопы почти в рост человека, в которые населению следовало «укрываться», наконец ввели «ночные тревоги». С наступлением темноты электрический свет выключался, город погружался в полный мрак, а в домах все окна надлежало завешивать специальной черной бумагой, которую надо было для этой цели покупать. В комнатах можно было пользоваться свечами. Наряды полиции обходили дома и если не дай Бог где либо замечался в окне малейший луч света — выбивали стекла. Базары китайские были пусты, в гастрономических магазинах почти ничего не было. Сало, рис доставали «из-под полы» только благодаря китайцам, которые рискуя жизнью (т. к. за торговлю рисом китайцев замучивали) все же рис приносили. На вопрос, как он не боится, китаец, вытирая пот с лица грязной ветошью, отвечал: — «ничего, его девять человек про-

падай, один приносит — фацай (доход, прибыль) имей наши люди много!»

Мы в школе первое время пользовались некоторым преимуществом т. к. имели заборные книжки на военный кооператив, также как и все служащие военной миссии. По этим книжкам можно было получать рыбные, фруктовые и мясные консервы, кило муки в месяц, сигареты. Сигареты также выдавались населению по карточкам — китайцы ими тоже торговали из-под полы. Так как взрослые подвергались слишком большой опасности, они посылали на улицу подростков. Эти 10-12-летние мальчуганы необыкновенно ловко торговали, считали, давали сдачи, никогда не ошибаясь. Завидя полицейского улепетывали во весь дух. Однако, кооперативом мы пользовались недолго. Скоро русским многое перестали давать. Приходишь в кооператив, увидишь какой-нибудь рыбный консерв, хочешь взять и вдруг резкий окрик: «Русским нету!» Была совершенно непонятна эта какая-то озлобленность и даже издевательство в отношении русских эмигрантов, в которых японцы хотели видеть «союзников в борьбе» с коммунизмом!

Но, может быть, больше всего русское население было возмущено вмешательством японцев в религию. Упоенные первоначальными успехами, они совершенно потеряли голову. «Нация Ямато» стала избранным народом.

На площади, против св. Николаевского собора, не без умысла, японцы выстроили в глубине храм богини Аматерасу-оомигами — «Дзинця». И вот ген. Дои приказал, чтобы православные священники, также как и все русские эмигранты, проходя мимо храма богини Аматерасу, снимали головные уборы и кланялись. Все учебные заведения в дни японских праздников «побед» должны были в строю выходить к храму и трижды кланяться. Но всего возмутительнее было то, что в православных церквях, в молитвах предписывалось упоминать богиню Аматерасу-оомигами. Так например вместо «Господи благослови» — говорить: «богиня Аматерасу благослови!» — К великому сожалению, огромное большинство харбинского духовенства не только не имело мужества протестовать, но и на самом деле в церкви, во время службы, упоминали Аматерасу с полного одобрения небезизвестного епископа Нестора. Этот Нестор, высокий, красивый брюнет, тип католического прелата, пользовался большим успехом у харбинских дам. Когда пришли советские он был назначен Московской патриархией

правлящим епископом Маньчжурской епархии. В продолжении 8 месяцев, что советские войска занимали Маньчжурию, Нестор разъезжал в великолепном автомобиле с красным флагом по Харбину. А когда советские ушли, китайцы Нестора арестовали по обвинению в шпионаже. Это была темная история. Вместе с ним была арестована какая-то американка-монахиня, его поклонница. Нестор был выслан в СССР, где его восстановили в звании епископа и дали одну из епархий в Сибири.

Одного священника, настоятеля храма в Молягоу (часть Харбина) я как-то спросил: «Ну как же, батюшка, вы теперь будете с этой Аmaterасу?» Он не задумываясь ответил: «А что же? Скажу Аmaterасу, а сам думаю — Бог — вот и всё тут!» Этот «священнослужитель» тоже отправился в СССР, где получил приход. Однако на деле оказалось «не всё тут!» Правящий архиепископ Мелетий, человек очень старый и серьезно больной отказался подчиниться генералу Дон, в чем нашел горячую поддержку в лице епископа Дмитрия и его сына иеромонаха Филарета — в миру Юрия Николаевича Вознесенского, инженера по образованию, ныне находящегося в Америке, где он возведен в сан митрополита русской Православной Церкви за рубежом. К Мелетию и Дмитрию присоединился епископ Иона Хайларский. Они составили обращение к православным Харбина и Маньчжурии, начинающееся словами: «Аз есмь Господь Бог твой, да не будет тебе Бозе иные разве мене» (1-ая заповедь). Воззвание было отпечатано в сотнях экземпляров на ротаторе и быстро распространилось по рукам. Впечатление было сильное. Японцы всполошились. В покои Мелетия, при Софийском храме, были командированы от военной миссии подполковник, майор и капитан с приказом «угуворить» Мелетия отказаться от воззвания и объявить в церквах о своем подчинении распоряжениям японской военной миссии. Прибыли японцы в покои архиепископа около 12 ч. дня. Больной Мелетий их сразу принял. Он был очень слаб. Японцы принялись его «угуваривать». Мелетий им ответил, что христианская религия запрещает поклоняться другим богам и что изменить свое решение он не может. Около двух часов длились «угуворы». Наконец японцы просили «подумать» и сели в приемной. Через час они снова появились. Мелетий ответил то же. Опять уговоры, опять «перерыв». Так продолжалось до 8 ч. вечера. Совсем ослабевший владыко был тверд и непоколебим, заявив, что подписавшие с ним воззвание,

никогда не отступятся от христианской религии. Разозленные японцы уехали ни с чем, и ген. Дои забил отбой. Дело принимало слишком серьезный характер. На следующий день от военной миссии по радио было объявлено русскому населению, что произошло «недоразумение» т. к. распоряжение ген. Дои относительно богини Аматерасу было «не верно понято». Ген. Дои, по словам диктора, «хорошо понимает, что каждый может веровать по-своему, но он только «просил», чтобы к священной для японцев богине Аматерасу-оомигами русские относились с тем-же уважением, как и к своим святыням!» На этом «инцидент» с японской богиней закончился. Так побеждают твердость и сила духа. Месяца через два владыка Мелетий скончался.

В школе становилось все тяжелее. Все чаще приходилось сидеть почти весь день, потому что Танака устраивал после уроков «педагогические» собрания, на которых поучал «скороостному» методу изучения русского языка. «Трест мозгов» работал, и в скором времени должен был выйти «учебник», по которому в 3 месяца любой японец мог выучить русский язык. Мне не суждено было заняться этим «гениальным» методом. В конце июля я снова был «приглашен» в кабинет Танака. Началась все та же церемония. Я вошел, поклонился. Танака кивнул головой и воцарилось молчание длившееся с минуту. Затем он поднял голову, посмотрел на меня и начал: «Ильин-сан! Я очень доволен вашей работой и ученики тоже, но теперь мы приступаем к новой программе и я думаю, что вам будет очень трудно — он помолчал — да, да очень трудно... поэтому я очень вам благодарен, но нахожу, что вы больше преподавать не сможете!» «Я благодарю вас Танака-сан за хорошее отношение и вполне с вами согласен, я, конечно, понимаю, что мне будет трудно», сказал я. «Да, да трудно! — произнес он, — и конечно вам лучше уйти!» Он встал и протянул мне руку. Я вышел и направился в учительскую. Из-за печки на меня, слегка насмешливо, смотрел Дёгтев. Я взял свой портфель и подошел к Такеучи. Он конечно знал в чем дело. «Я уволен, Такеучи-сан, — сказал я, — разрешите вам пожелать всего хорошего». — «Очень жаль, очень жаль, но конечно сейчас будет много работы, Ильин-сан, пожалуйста получите ваше жалование за июль — он вынул уже заготовленный конверт — мы вам очень благодарны», — и он протянул мне руку. Рядом сидевший Гредякин пожелал мне «всего

хорошего». Я обернулся к учителям, все по очереди желали «всего хорошего». Я обошел всех и со всеми простился. Кое-кто посочувствовал: — «Ну ничего И. С. не огорчайтесь, вы устроитесь, это не беда»... Так закончилась моя долголетняя и полная приключений служба у японцев в 1942 году. И однако, это было еще не все.

В 44 году судьбе было угодно еще раз на короткий срок свести меня с японцами. Эти два года у меня был частный урок с одним молодым русским парнем — он готовился в политехникум. Жена по-прежнему давала уроки английского языка и преподавала английскую литературу в Колледже ХСМЛ. Теперь во главе харбинского отделения ХСМЛ стоял японец Сакай (по-японски «Сакай» — колодец) — методист, очень славный японец, но однако, находившийся под неусыпным наблюдением японского жандармского управления. Ему не доверяли. И вот в начале ноября, как-то днем, пришел посланный из 1-го отдела военной миссии (пропагандный отдел) и передал мне, что меня «требуют» во 2-ой отдел. Должен сказать, что мы с женой были встревожены. После увольнения из школы, я как «оборонец» был на подозрении. К нам обязательно раз в месяц приходил полицейский-русский, который рассаживался в столовой и с игривой улыбкой начинал допрос: На какие средства мы живем? Сколько получаем? Кому и где даем уроки? Кто наши знакомые и с кем чаще всего видимся? После этого он поднимался, критически оглядывал наши две комнаты, смотрел на полки с книгами, говорил: — «А книжечек-то многовато!» — то ли поощрительно, то ли с упреком, протягивал руку с пожеланием «всего хорошего» и уходил. И естественно, что шел я в 1-ый отдел с тяжелым чувством: — вернусь или не вернусь? Волновался за жену: что она будет делать, если я «исчезну».

Пришел в приемную, какой-то русский пошел «доложить». Минут 10-15 ждал, настроение было скверное. Появился худой, среднего роста японец в штатском. Я встал, он не подавая руки кивнул головой: «Пожалуйста садитесь», — произнес он на вполне приличном русском языке. Я сел и он напротив меня. «Из Ниппон приехали журналисты — начал он к моему великому изумлению — это сотрудники больших токийских газет. Их десять человек. Ну, они хотят ознакомиться с жизнью Маньчжудуго и Харбина и намерены изучить русский язык. Мы наметили двух преподавателей — Дудукалову (муж ее,

как я говорил, служил в 1-ом отделе и пользовался у японцев особым доверием) и вас. Вас нам очень рекомендовали. Если вы согласны, жалование 100 иен в месяц. Они, вероятно, пробудут в Харбине 3-4 месяца и думают за этот срок достаточно изучить русский язык. В доме украинского общества уже снята большая комната и завтра вы можете сюда притти и с ними познакомиться, а потом начать занятия. Надо купить черную доску и затем составить список, какие таблицы вы найдете нужным купить и какие учебники. Мы вам выдадим деньги и вы, пожалуйста, купите все необходимое». Нужно ли говорить, что я, стараясь не выдавать своих чувств, с радостью согласился. Мне было решительно все равно в какой срок эти журналисты хотят «изучить» русский язык. Назначил он мне притти к 11 часам утра. Домой я пошел, как говорится, не чуя под собой ног.

На следующее утро к 11 ч. я был в 1-ом отделе. Там я застал Дудукалову и группу японцев, которые и оказались журналистами. С ними были два японца из 2-го отдела. Началось знакомство. Эти журналисты были несколько иными чем ученики военной школы и студенты японо-русского института. Во-первых, все они были гораздо старше — вероятно от 30 до 35-38 лет, затем, держались они несколько свободнее, развязней с видом некоторого превосходства. Первым делом решено было устроить «банкет». Нужно сказать, что с 1943 г. в Харбине и городах Маньчжудиго японцы ввели три раза в неделю «трезвые дни», т. е. запрещалась продажа спиртных напитков во всех ресторанах, гостиницах и «забегаловках». И вот вышли мы гурьбой на улицу и зашли в первый ресторан «Самсон», как оказалось некоторые из новых учеников немного говорили по-русски. Первый вопрос был: — «Есть водка?» Водки не было: «Сегодня водку продавать нельзя». Пошли в следующий «О Гурмэ» — там тот же ответ. Тогда направились в отель «Нью Харбин», решив обедать без «выпивки». Был подан все тот же «английский» обед, который мы съели в сухомятку. Дело происходило в пятницу. Решено было, что занятия начнутся в понедельник.

Мы с Дудукаловой распределили часы. Мне были выданы деньги на покупку доски, таблиц и учебников. Китаец-столяр сделал мне небольшую доску, а затем я приобрел таблицы и учебники. Я остановился на таблицах Усова — больших стальных листах с картинками и на его же учебниках. Для начала я

ограничился 1-ой частью. Усов был синолог, преподавал русский язык в политехникуме китайцам и издал несколько учебников. К понедельнику я устроил класс и мы с Дудукаловой начали наши уроки. Для всех кроме, кажется, одних японцев и немцев было ясно, что война проиграна. Тем не менее ген. Дои все чаще выступал со своими воинственными речами, которые начинались неизменно: «Я солдат...» Затем он заявлял все о той же «несокрушимой стене», которую воздвиг ниппон. И заканчивал патетическим возгласом: «никогда на священную землю ниппон не ступит вражеская нога!» В магазине Чурина ежедневно вывешивались сводки о ходе военных операций на море — каждый день топились не менее десятка американских кораблей, а потери ниппон выражались в один-два эсминца. Летчики «камиказа» — пилоты «самоубийцы» — нещадно пускали ко дну дредноуты США. Военный комментатор, выступая по радио, рисовал картину общего хода военных действий. По его словам на германском фронте немцы отступают «по стратегическим соображениям» и «никто не должен думать, что под Сталинградом немцы потерпели поражение». Об этом запрещалось говорить! «Неудача у Сталинграда — это небольшой эпизод всегда возможный в ходе военных операций!», — заканчивал свой обзор военный комментатор.

Продолжались маневры воздушной обороны, участились «затемнения» и битьё стекол. А мы с Дудукаловой каждое утро через день — один день она, другой я — ходили в украинский дом, где собирались наши журналисты. Уже с первых уроков стало ясно, что вся эта затея просто забава, которую журналисты придумали непонятно для чего. Вернее всего, их послали из газеты для знакомства с жизнью Харбина и русской эмиграции и в связи с этим решено было, что они в 3-х месячный срок «изучат русский язык?» Как-бы то ни было занятия проходили с «прохладцей». Занимались мы с 9 ч. утра до 12 ч. дня — и это все. При украинском доме была столовая, где журналисты иной раз обедали, ели украинский борщ, который им очень нравился. На новый год они объявили перерыв на целых пять дней. В классе я объяснял слова, спрашивал по картинкам изображенные предметы, читали по складам первые уроки. Вели себя журналисты несколько развязно, но вполне почтительно. Нет-нет задавались вопросы: — «Что вы думаете, г-н учитель, о хара-кири? — неожиданно задает вопрос один из журналистов, — адмирал Того большой герой!

Он сделал хара-кири!» Все смотрят на меня. В черных, как вишни, глазах японцев светится легкая усмешка. «Конечно, хара-кири большое геройство, — отвечаю я (на лицах удовольствие) — но нам это непонятно, у нас никто хара-кири не делает», — говорю я. Все довольны, вбирают воздух и хором произносят «ааа». «Как вы смотрите на камиказа?» — спрашивает другой. — «Камиказа — большое геройство!» — говорю я. Снова радостное «ааа». «Эта война очень большая, кто победит по-вашему, г-н учитель?» Вопрос каверзный и очень трудный. «У ниппон очень сильная армия и флот», — говорю я. Все довольны. По счастью весьма слабое знание русского языка и малый запас слов не дают возможности развивать рискованные темы, а я спешу переходить к таблицам с картинками. Я спрашивал у Дудукаловой, задают ли ей те же вопросы. Оказывается — совершенно те же. «Ну, а что вы ответили на вопрос «кто победит?» — спросил я. — «Ну, конечно, ниппон», — ответила она как будто даже удивившись, что я ее об этом спрашиваю.

После нового года занятия наши пошли совсем кое-как. Постоянно из 10 человек 3-4 отсутствовали, «успехов», разумеется, не было никаких и в конце концов нам было объявлено, что журналисты собираются уезжать, и нам с Дудукаловой устраивается прощальный банкет в ресторане «Иверия». На этот раз, чтобы опять не остаться без водки, просили меня позвонить в бюро по делам российских эмигрантов, чтобы приготовили для военной миссии 15 бутылок водки. В то время в продаже водки почти не было, доставать ее было трудно и выдачей водки ведало бюро... Как только я сказал — «для военной миссии» — мне с поспешной готовностью ответили, что я могу за ней приехать в любое время.

Я помню в тот день был жестокий мороз и я основательно промерз, когда получил в корзинке 15 бутылок и пешком нес их в «Иверию». Вечером к 8 ч. мы собрались в «Иверии». Кроме журналистов были еще какие-то 3 японца из военной миссии. Стол был уставлен массой самых разнообразных закусок. Пили много, японцы изрядно напились. Были шашлыки, был пломбир — японцы принялись целовать руки Дудукаловой. Шутили, танцевали какие-то странные танцы. Мы были в отдельном большом кабинете. Во втором часу ночи решили итти в кабаре «Фантазия», которое было тут же недалеко. Шли под руки. Коверкая слова, на каком-то непонятном русском языке япон-

цы объяснялись нам в любви: «русские очень хорошо! очень хорошо!» В кабаре оказалась мрачная пустыня. Несколько кельнерш с виду каких-то несчастных сидели по углам. Мы расселись за столом. «Программа», как кельнерши заявили, давно кончилась. Было какое-то убогое меню, ни вина, ни ликеров, которых кто-то потребовал. Ограничились пивом «сакура». У одного из журналистов оказался с собой аппарат и он нас снял. Эта группа, к удивлению, очень хорошо вышедшая, сохранилась у меня до сих пор. В четвертом часу мы вышли на улицу. Было очень холодно, нигде ни души.

Так закончил я свою карьеру у японцев. Много раз потом я думал, кому я был обязан не только тому, что удален, но даже некоторой популярностью? Вопреки всему, после увольнения меня из школы с «волчьим билетом» — «оборонец», — за мной присылают и предлагают заниматься с журналистами?! Этого я никогда не узнал. Но судя по всему, кто-то из моих бывших учеников в японо-русском институте занимали довольно большие места или в Харбинском жандармском управлении или в каких-то других административных учреждениях. Итак мое самое близкое «знакомство» с японцами, в самых разнообразнейших условиях продолжалось почти непрерывно с 1926 г. по 1942 г. включительно т. е. 16 лет.

Помню, в 3 часа ночи, если не ошибаюсь, с 8-го на 9-ое августа мы проснулись от грохота взорвавшейся бомбы где-то недалеко от нас. В это утро мы встали рано, что-то часов в 6. Я вышел на крыльцо и услышал необычайный шум в городе. Мы быстро собрались и пошли на улицу. Первые же встречные сказали нам, что СССР объявил войну Японии. Быстро куда-то шел Зданский: «Ну вот все проглядели! — возмущался он — подумайте не знали о том, что СССР готовится напасть!» По улицам шли колонны японских войск. На углах, на площадях расставляли гаубицы и полевые пушки времен 1904 года русско-японской войны. К 12 часам дня «Харбинское время» выпустило первое сообщение. Говорилось, что советская армия перешла границу в трех направлениях и атаковала японцев ночью. Как обычно масса вранья о сбитых советских самолетах, об отражении всех атак и т. д. Между тем, для непосвященного было ясно, что в первый же день японская линия обороны была прорвана внезапной атакой со стороны Пограничной.

В городе говорили, что американские летчики сбросили

над Нагасаки и Хиросима какие-то невероятной силы бомбы, которые уничтожили эти города. Японцы по радио заявляли, что слухи о таких бомбах — вздор: «таких бомб нет даже у самих японцев!» А 11-го августа японский император лично выступил по радио, объявив о капитуляции «нации Ямато».

В дни после капитуляции и до прихода красной армии, русские организовали «дружины» по охране порядка в городе. Эти дружины принялись неистово грабить совсем растерявшихся японцев. Японские магазины, предприятия, аптеки — были начисто ограблены. Не мало людей разбогатело на этом «трофейном» имуществе, как его сейчас же окрестили. Это было, отвратительное зрелище. А когда вошла красная армия — грабеж уже стал повальным. Тут было, что называется «Сарынь на кичку!» Началась серия японских самоубийств. Покончил с собой директор японо-русского института Танака (другой, не тот, который был при мне), он застрелил жену, сына и застрелился сам.

Как-то в эти дни я встретил одного из своих бывших учеников ст. унтер-офицера Икэда. Он шел посередине улицы, и, видимо, был совсем растерян. Я его окликнул. Он быстро и как-то радостно, словно ожидая от меня сочувствия, подошел. Я ему протянул руку: — «Ну, что Икэда плохи дела?» — сказал я. — «Да, да, г-н учитель, Япония пропала!» Он немного постоял, потом очень смущенный поклонился: — «Ну ничего, не отчаивайтесь Икэда, теперь надо жизнь устраивать по-новому». — «Да, да, конечно, спасибо, г-н учитель, до свидания!» И он опять низко поклонился. Вскоре началось массовое выселение японцев из Маньчжурии и Китая.

Теперь мне кажется, что мое многолетнее общение с японцами дает мне некоторое право, в виде заключения, сделать некоторые выводы о характере этого народа и о его духовных качествах. Не углубляясь в историю Японии, надо сказать, что японцы вполне сложившаяся нация. Они у себя на островах создали свое государственное устройство, у них — свое собственное национальное лицо. Бедность японских островов работала в японце трудоспособность, упорство, терпение и крайнюю нетребовательность в борьбе за существование. С другой стороны, экзотическая красота этих островов привила вкус и любовь к изящному. Но более чем двухтысячелетняя изолированность от внешнего мира создала в характере японцев подозрительность, недоверчивость, а отсюда и лукавство.

Японец никогда, на самый простой вопрос, не ответит сразу — во-первых, потому, что он тугодум, а во-вторых, потому, что он вам не доверяет. У японца совершенно отсутствует воображение. Один западный профессор, который много работал в Токийском университете однажды сказал мне: «У японцев большая способность к анализу, но полное отсутствие способности к синтезу — у них для этого не хватает воображения». Это же отсутствие воображения сделало то, что они себя переоценивают и полностью не отдают себе отчета в том, что они могут и чего не могут. В своем несколько тупом, ограниченном патриотизме японец думает, что он все может и что ему все доступно и даже в гораздо большей степени, чем другим народам. Отсюда и легенда, что японский народ произошел от «затерянного» колена Израиля и божественного происхождения. В этом отношении две «войны» с Китаем в 94 г., когда китайцы вышли против японцев с зонтиками и драконами на палках, и с Россией в 1904-5 гг., когда японцы «случайно выиграли» войну — сыграли для японцев роковую роль. Я умышленно сказал — «случайно выиграли» войну, а не победили, потому что в то время Россия уже заболела и ее «лихорадило» революцией. Победить Россию японцы не могли. Они рисковали на эту войну, совершенно не рассчитав и не продумав своих сил и возможностей. Им просто повезло, помог случай. Так иной раз приходит в клуб человек с рублем в кармане и поставив этот рубль на карту начинает бешено выигрывать — ему везет и он неожиданно выигрывает 100 рублей. Вместо того, чтобы уйти, человек увлеченный удачей сидит до утра и... остается не только без рубля, но и в долгу. Приблизительно тоже случилось и с японцами: бешеный успех, — Лаоян, Мукден, Цусима — совершенно вскружили им головы и с этого момента они более чем когда-либо вообразили себя «судьбоносным» народом. Им мерещилась уже картина господства «великой нации Ямато» на безбрежном величии Тихого океана и просторах Сибири. «Нам нужен Уссурийский край», — говорил мне унтер-офицер японской армии. Это был «минимум», а там и Сибирь до Урала. А когда они во время русской гражданской войны очутились в Уссурийском крае — они там зимой замерзали целыми кучами! И в конце концов это их безумие привело их к войне с США и Англией. «За две с половиной тысячи лет Великий Ниппон не знал поражений», — будет говорить генерал Тооджо, а за ним повторять ген. Дои. В ре-

зультате Япония пришла к катастрофе. Цусима погубила не Россию, а Японию. Большие успехи, как и большие несчастья по плечу великим народам! В этом отношении у японцев странным образом есть что-то общее с немцами, недаром они их выученики, и все их взоры были всегда устремлены на Германию. Конечно, у немцев для мании величия данных много больше, но тем не менее и немцы после двух войн с Австрией в 66 г. и с Францией в 71 г. тоже вообразили себя «господствующей расой», что привело их сначала к 1914 г., а затем к нацизму и неизбежной катастрофе. Благодаря тому же отсутствию воображения японцам не хватает созидательного дара, что заменяется их удивительной способностью к перениманию и копированию. При их упорстве и трудоспособности они достигли в этом отношении огромных результатов, скопировав сначала цивилизацию Китая, а затем и белой расы, что однако осталось на поверхности, никогда не будучи претворено. Слепая уверенность, что они все могут, привела к тому, что японцы часто брались за то, что им не по силам. Задолго до войны, кажется в 22 или 23 году, я сидел за именинным столом у Н. Гондати. Николай Львович был очаровательным собеседником. Зашел разговор, конечно, о России, о Дальнем Востоке, где Гондати был генерал-губернатором. Кто-то спросил: «А как вы думаете, Н. Л., может Япония начать войну с США из-за Китая?» Гондати со своей обычной манерой несколько покровительственно отвечать — привычка старого сановника — сказал: «Что вы, батюшка, да разве это возможно, ведь это глиняный и чугунный горшки. Ну сами посудите, что будет, если глиняный горшок ударится о чугунный?» Гондати был умный царедворец, он хорошо знал японцев, имел один из высших японских орденов и, конечно, мысли не допускал, чтобы японцы с их ресурсами, могли рискнуть на войну с США. И однако... вопреки всякому здравому смыслу, они напали на Америку, а «заодно» объявили еще войну и Англии! «Глиняный горшок» разбился...

И. С. Ильин

ФИЛОСОФ БИБЛЕЙСКОГО ОТКРОВЕНИЯ*

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЬВА ШЕСТОВА

1

Он знал одну лишь пламенную страсть.

М. Лермонтов

Иегуда-Лейб Шварцман, приобретший мировое имя под псевдонимом «Лев Шестов», родился 31 января 1866 г. в Киеве. Его отец Исаак Мойсеевич Шварцман был тем, что называется *self made man*. Одаренный исключительным умом, даром блестящего остроумия, он обладал глубокими познаниями в области еврейской религиозной мысли и был неистощим, при беседах с сыном, в передаче легенд, мифотворческих рассказов, которыми так богата еврейская письменность. Многие из этих легендарных рассказов, преданий, изречений вошли в сочинения Л. Ш., и будущему исследователю источников его философского творчества предстоит благодарная задача протянуть нить, прочно связывающую философию автора «На весах Иова» не только к Библии, но и к позднейшей еврейской религиозной мысли. Сам Шестов, знакомясь с еврейским религиозным преданием из устной передачи отца, мог читать, к своему большому сожалению, свою настольную книгу Библию только в переводах. Он получил классическое образование, как большинство еврейской молодежи в России того времени. Питомец киевской и московской классических гимназий, он в молодости не сразу нашел свой настоящий путь — бросился на математический факультет, чтобы, после кратковременного пребывания на нем, перейти на юридический, но на поприще юриспруденции он и не думал делать, так называемой карьеры. Его кандидатское сочинение, посвященное «Положению рабочего

* Эту статью о философии Льва Шестова мы получили из Иерусалима от г-жи Д. Войславской. Автор статьи, покойный Г. Л. Ловцкий, приходился шурином Льву Шестову. Г. Л. Ловцкий был композитором, учеником Н. Римского-Корсакова. Статья печатается впервые. РЕД.

класса в России», по тогдашним цензурным и политическим условиям, не могло быть напечатано, так как появление такого произведения в царской России являлось бы, по отзыву университетской профессуры, призывом к революции. Эта диссертация была последней данью Шестова научно-практической деятельности.

Когда Ницше, блестящий профессор в 24 года, ушел, «из дома ученых и захлопнул за собой дверь», он оглядывался с отчаянием на напрасно загубленные годы в области филологии. Профессорская карьера никогда не манила Л. Ш. В царской России она и была закрыта для него, как для еврея; когда же он силой обстоятельств вынужден был в старости начать читать лекции сначала в Крыму, в симферопольском университете, а затем в течение долгих лет в парижском университете, он всегда говорил и читал только о тех проблемах философии, которые его занимали в данный момент: он и на кафедре создавал ту атмосферу, в которой зарождается нестерпяемое никакими догмами свободное исследование в философии. Настоящим образом думать, говорит автор «Апофеоза беспочвенности», человек начинает тогда, когда он убеждается, что ему не ч е г о д е л а т ь. Для Спинозы все земные блага сводились к богатству, почестям и страстям, но амстердамский отшельник отвернулся от всех этих приманок жизни во имя своей «интеллектуальной любви к вечной вещи». Шестова не привлекали ни богатство, ни почести, но философия была для него величайшей с т р а с т ь ю, и он вносил в свои философские думы и искания высшее напряжение, не знающее оглядки самозабвение, без сна, без отдыха, без заботы о собственном благополучии, здоровье, славе, успехе, семейном уюте.

2

Я ненавижу читающих бездельников Ницше

Постоянно среди книг, Л. Ш. не был книжным червем: больше, чем книги, больше, чем живое слово, он любил беседовать с живой природой. Сень деревьев в лесу, тишина звездной ночи, одиночество среди снежных равнин, в глетчерах, на головокружительных тропинках швейцарских гор оплодотворяли его мысль сильнее, чем кабинетные удобные условия работы. Шестов, мастер философского письма, не любил писать и заставлял себя садиться к столу только, чтобы «закре-

пить» на бумаге свои выношенные в уединенных прогулках живые мысли.

Философия была для него, как для Платона, величайшей музыкой. Великолепный стилист, он писал с той классической простотой, которая устраняет всякую напыщенность. «Возьми красноречие и сверни ему шею», говорил он вместе с Полем Верленом; у него нет и «непрямых высказываний», как у Киркегора: свою мысль он выражал с крайней прямоотой, сразу, с первых страниц всякого нового произведения, без всяких диалектических ухищрений и уверток, часто с горькой иронией философа, который видит, как паутинообразная диалектика опутывает непроницаемой сетью «доводов», «аргументов», «критикой» древо жизни и убивает, — конечно, в своем воображении только — и Бога, и жизнь. Уже в названиях книг, метких, заостряющих поставленные себе автором задачи, в «удачах и счастья на цитаты», как говорил друг Л. Ш. М. О. Гершензон, с ослепительной яркостью сверкали основные мысли, занимавшие Шестова в то или другое время его жизни.

Уже в первой своей книге «Шекспир и его критик Брандес» Л. Ш. начинает свою борьбу против философов — палачей, отрубивших голову Богу. Шекспир для него гениальный провидец-философ. Методом вслушивания в философское содержание шекспировских трагедий Шестов выявляет ту бесконечно разнообразную, единственную, неповторяющуюся мелодию человеческой души, которую поверхностные критики хотели уложить в «общее» красивых, но ничтожных слов, «в подвижную внешность истории или жизни», «в яркое и ароматное цветение, которое природа расточает на поверхности бытия». (Тэн).

«Отрубили голову Богу, чтоб иметь право отрубить голову королю», однако и человеку, за права которого якобы вступилась новая философия, не поздоровилось: он отдан был в жертву мертвым сущностям, но автономная мораль, добро, братская любовь для Шестова не Бог — надо искать того, что выше добра, надо искать Бога (т. 2 «Добро в учении Толстого и Ницше. Философия и проповедь»). А это часто против нашей воли, приводит нас к окраинам жизни, и философ, не убоявшийся ни боли пессимизма, ни холода скептицизма, победивший в себе и то, и другое, на уединенных тропинках а д о г м а т и ч е с к о г о м ы ш л е н и я (т. 4 «Апофеоз беспочвенности»), для не боящихся головокружения научается прислушиваться

к той таинственной музыке, которую ему поют жизнь и смерть; настоящим образом думать о «Н а ч а л а х и к о н ц а х» (т. 5) человек начинает не в средних поясах философии обыденности, а когда он вырван из «общего», из «всемства», по выражению Достоевского; тогда наступают те «В е л и к и е к а н у н ы», когда гений срывает с себя венок постылой земной славы, когда философ отмечает весь обыденный «прагматический» (Джемс) религиозный опыт с его отбором общественно «полезных» безумий, и человек становится лицом к лицу с последней тайной. «Истина настоящего пророка с пророком рождается и с ним же умирает. То же, что остается после пророка, что становится достоянием истории, уже не истина, а общеобязательное, обыкновенно очень полезное, общественно ценное суждение». (Т. 6, стр. 310).

Л. Ш. не хочет отдать «В л а с т и к л ю ч е й» ни единой всепасающей догме, ни материальным или идеальным сущностям, вычерпываемым нашим падшим разумом из самого себя. Из глубины земной юдоли он вместе с псалмопевцем взывает к Господу и его скорбь перевешивает «Н а в е с а х И о в а» (т. 8) песок морей, все эти материальные и идеальные сущности, которые навалились мертвой тяжестью на живую человеческую душу.

Шестов зовет нас к неусыпному бодрствованию: если уснут и те немногие праведники, которые живы верой, то мир навеки окаменеет в цепях слепой Необходимости, Рока, Судьбы древних, «первого двигателя» аристотелевой философии, мертвой «субстанции», действующей по законам своей природы (Спиноза), застынет в последней агонии пред бездушным Ничто, оборотившимся в Вечность, Неизменность, мертвый закон — все это идола спекулятивной, умозрительной философии, с которыми борется философия библейского Откровения (Т. 9) «Киркегор и экзистенциальная философия. (Глас вопиющего в пустыне)».

Между «А ф и н а м и и И е р у с а л и м о м» (т. 10 сочинений Л. Ш. с подзаголовком: «Опыт религиозной философии»), между умозрительной философией и философией Откровения нет и не может быть примирения: либо надо отдаться во власть мертвых «сущностей», диктуемых нашим разумом, либо в сверхъестественном усилии прорвать заколдованный круг, очерченный вокруг нас умозрительной философией: этот круг — точно меловая черта, проведенная на земле вокруг

петуха, за которую он не осмеливается переступить. Надобно сверхъестественное напряжение, чудо пробуждения от сна с открытыми глазами, трагический опыт, чтобы при жизни проснуться к жизни, чтоб дерзновенно прорваться за пределы «умопостигаемого» мира, перейти границу, отделяющую нас от тайн тысячи и одной метафизической ночи.

3

«Кто настоящим образом философствует, тот готовится к смерти и умирает»

Платон

Шестов не разрушает всего, созданного до него в философии, чтобы воздвигнуть на развалинах свою новую, стройную систему. Философия, в противоположность науке, бережно сохраняет — не из антикварной любви и любопытства — все, вплоть до бесформенных торсов-фрагментов, что создавала философская мысль на протяжении тысячелетий исторического существования человечества, все истины, вечные и преходящие, все противоречия и заблуждения. И Л. Ш. в этих сокровищах прошлого и настоящего тщательно разыскивает и находит великолепные озарения, молнии философских откровений, даже у тех мыслителей, которые ему абсолютно чужды по духу, как Аристотель, Декарт, его современник — «друг-антипод» — Гуссерль; он с негодованием, очень редким у него, отвергает только те мысли, в которых он не находит божественных следов, как, например, толстовское «добро», «первого двигателя» Аристотеля, бога-субстанции Спинозы, систему «лучшего Бога», до которой «додумался» протестантский теолог А. Гарнак на 75-м году своей жизни и т. п.

Философия для Шестова не рождается «из удивления», как наукообразно построенная философия Аристотеля, а из отчаяния, из провала в пропасть, когда наступает «вдруг» «истинное пробуждение души в самой себе» (Плотин). Это случается с человеком редко, очень редко, в минуты, даже мгновения экстаза; нужен страшный подчас опыт, чтобы выбить нас из колеи привычного «категориального» ленивого плетения кружева мыслей по «законам» логики, чтоб у нас, как у Гамлета, «распалась связь времен». И истинный философ «пальцем о палец не ударит, чтоб поставить время на место: пусть его разбивается вдребезги».

Мы часто не углубляем достаточно наших мыслей, не додумываем их — сознательно или бессознательно — до конца, бросаем их по дороге, из боязни попасть в дебри противоречий; нас подстерегают на каждом шагу и требуют покорности и повиновения выдуманные не жизнью, а нашим все из себя «черпающим» разумом «законы» достаточного основания, противоречия и др.; мы доверяем только тому, что создано нашими руками, нашим разумом, на каждом шагу ощупываем почву, оглядываемся и боимся в философии «взлететь над научным знанием» (Плотин). Но зачем настоящему философскому знанию подпорки, точно «оно не может само держаться»? Вы видите, что уже Плотин в редкие минуты экстаза поет гимн — «апофеоз беспочвенности».

Шестов не опирается ни на догмы, ни на авторитеты: свидетельство одного зрячего для него больше значит, чем миллионы согласных между собой показаний слепых, и оттого он черпает опыт многообразный, расцвеченный яркими, «кричащими» противоречиями, у первоисточника — у патриархов, у пророков, у провидцев всех времен существования философской мысли. Он не боится мифов, легендарных рассказов, преданий; поэты и их метафоры для него не «лгут», как для Аристотеля: всюду, где он замечает дерзновенное стремление вырваться из власти $2 \times 2 = 4$, поработившей наше мышление и диктующей ему свои законы, его слухстораживается. «Стена» для него не отвод, не предлог сойти с намеченного пути: надо, по слову пророков, колотиться головой об стену, убить законы нашего привычного «умозрительного» мышления, чтобы выйти на свободу, к началам всего, к истокам существующего. Но в центре мироздания у Л. Ш. ч е л о в е к, не тот «теоретико-познавательный субъект», из которого умозрительная философия сделала «сознание вообще», а э т о т человек, созданный по образу и подобию Божьему, живущий, любящий, страдающий, проклинаящий, умирающий.

4

*Когда эта кожа распадется в клочья,
лишенный моего тела, я увижу Бога.
Я Его увижу сам; мои глаза Его бу-
дут созерцать, не чужие...*

Кн. Иова. 19, 26-27

Есть еврейская легенда, рассказывающая о том, как

Господь занес свою карающую десницу, чтобы уничтожить вавилонский мир, и отвел ее, когда увидел нескольких праведников, которые проводили бессонные ночи над Торой и старались разгадать таинственный смысл Вечной Книги. Одним из таких праведников, для которых первая и последняя мысль о Боге, был и есть для нас Л. Ш. Из юдоли печали и слез он взывал к Господу, и всемогущий Саваоф услышал его: его прах вернулся к земле, откуда он был взят, не к родной земле, не к Сиону, о котором он вместе с псалмопевцем не говорил, а скорбно пел: «Да прилипнет мой язык к гортани, если я забуду тебя, Сион».

Л. Ш. похоронен на чужбине, на кладбище в Булони, предместьи Парижа. На надгробной плите фамильного склепа, в котором он похоронен, высечены пять традиционных еврейских букв, свидетельствующих о том, что он никогда, даже внешне не отрекался от Израиля, в котором он родился. Автор «Опыта адогматического мышления» не придерживался внешних обрядностей, но, по его настоянию, на могиле его брата были прочтены псалмопения тем же парижским раввином, которому выпала доля проводить в место вечного упокоения и его прах. Немощное тело было предано земле в осенний день — «очей очарованье», воспетый с такой силой, ударяющей по сердцам, его любимейшим поэтом Пушкиным, а дух его, не угасавший в нем до последней минуты его земной жизни, вознесся к Господу. Он умер, не пресыщенный годами, на 73-ем году своей жизни. Он «знал» предчувствовал пред смертью, что не напишет своего труда об индуcской религиозной философии, но горел юношеской страстью, перечитывая и передумывая индуcские религиозные предания и мифы. «Странствованием по душам» индуcских религиозно-философских мыслителей и провидцев он заключил свое земное странствие.

5

Что такое философия? Самое важное.

Плотин

Заветной мечтой и задачей философов всех времен было, за редкими исключениями, создать метод, оружие разыскания истины по образцу того метода, которым пользуются точные науки, сделать из философии «строгую науку» (Гуссерль) или по крайней мере гарантировать от вторжения «мечтательности

и суеверия» (Кант) наши размышления о «последних вещах». Самых смелых противников рационализма, готовых даже пожертвовать в философских исканиях «дискурсивным» разумом, покидает мужество, когда они должны пуститься в плавание на поиски не дающейся, как клад, в руки последней истины и не снабжены при этом научным компасом, светом «большого» разума, «умного зрения» Спинозовской или иной интуиции. Они боятся быть «сметенными наукой» и ищут даже в религиозных откровениях нечто общеобязательное, что можно было бы вывести за скобки и подвергнуть научному рассмотрению — они хотят усмотреть логику даже в религиозном многообразном опыте. В скобках они тогда согласны оставить то загадочное, таинственное, что нам говорят видения пророков и озарения религиозных вождей человечества.

Для Шестова нет примирения между наукой и философией, если даже призвать на помощь научному методу разыскания истины «умное зрение» — интуицию во всех ее видах. Путь философии лежит не через академию Платона, куда был запрещен вход всем, не знающим геометрии, это не путь «королевских наук» — математики и естествознания, где добываются всеобщие и необходимые истины, к которым, по Канту, жадно стремится разум. Философия не может быть ни общим делом, ни наукой в общепринятом смысле этого слова. Основной признак научного знания, что оно может передаваться всякому и требует согласия всех; нет двух научных истин для Эйнштейна, предположим, и Ньютона: воскресни сегодня Ньютон, он бы пришел с творцом теории относительности к о д н о й истине. И эта одна общеобязательная научная истина служит жизни т. е. преходящим, практическим нуждам. «Задача философии вырваться, хотя бы отчасти, при жизни от жизни (т. 8, стр. 199), не брезгать ни противоречиями, ни мифами, искусство изображать жизнь как можно менее естественной и как можно более таинственной и проблематической». Оттого в философии, как в религии и в искусстве, творец значит столько же, сколько и сотворенное им. В то время, как наука включает нас в «общий» мир, где царят ее «законы», установленный ею порядок, философия нас выбрасывает из созданного научной, умозрительной философией космоса научных идей и приучает нашу мысль там спрашивать, где для науки кончаются всякие вопросы.

6

*Возможна ли метафизика?
Кант*

Мы знаем, как автор «Критики чистого разума» ответил на этот вопрос: раз метафизика не может быть построена по образцу «королевских наук» математики и естествознания — то все наши попытки проникнуть за пределы «посюстороннего» мира напрасны, «потустороннее» останется для нас навсегда тайной за семью печатями: наш разум, «диктующий законы природе», свидетельствует об этом с той неоспоримостью и безапелляционностью, с которой он изрекает все свои приговоры-суждения, свои общеобязательные и необходимые истины. Бытие Божье, бессмертие души и свобода воли, т. е. все то, что составляет содержание метафизики по Канту, «не доказуемо», Бога и иной мир можно принять на веру, как «постулаты» практического разума, в силу требования нашего «морального настроения».

Как у Спинозы, Бог отождествляется с моралью: разум дал Канту глубокую уверенность и твердое знание, что Бог откровений целиком относится к области фантазерства и суеверия. Разуму, «пробному камню истины», доподлинно известно, что такого Бога нет и быть не может, и что «откровения» тоже нет и быть не может. Во владениях разума логическая конструкция метафизики должна быть той же, что и логическая структура уже о п р а в д а в ш и х себя положительных наук (т. 8 стр. 43), а так как в «запредельное» нельзя проникнуть теми средствами, которые предоставляет в наше распоряжение разум, то метафизика невозможна.

У Шестова не положительные науки судят метафизику, а метафизика — положительные науки. Философское «знание» не есть научное знание, которое стремится к возможному в пределах земных, к общеобязательной истине, к правилу-закону в пределах космоса. Кант, в сущности, написал не «критику», а апологию чистого разума: в царстве последнего не человек даже диктует законы природе, а законы диктуются законами же, на место человека живого поставлен мертвый принцип, «сознание вообще». Создается заколдованный круг, из которого человек естественными средствами вырваться не может. В пределах разума и в критической философии, и в после-критической философии господствует вместо жизни мерт-

вый космос идей, вместо Откровения — научный закон, норма нравственности, убивающие и Творца, и Его божественный произвол.

7

*Все признали, что разум судит, но
сам суду не подлежит.*

Лев Шестов

Можно побить разум его же собственным оружием, и софисты, — те софисты, которые торговали истиной, — делали обильное употребление из этого оружия, но Шестов меньше всего склонен заниматься бесплодной диалектикой, отдаться «самодвижению понятий»: он человека ставит над разумом, дерзновение э т о г о единичного человека, вырвавшегося из лона «общего», ставит выше «законов» логики. Истин даже больше чем людей. Декарт, строгий рационалист сегодня, допускает завтра, что Бог — даже его Бог, который в силу законов своей природы, не может быть обманщиком, — мог бы создать гору без долины — допускает явную «нелепость», с точки зрения «ясного и отчетливого» мышления по законам научно вышколенного разума. Не только на небесах, даже здесь, на земле «законы» разные для разных людей: в ком царственное доверие к жизни, кто предназначен «к лучшей участи», для того своя логика, тот не оглядывается, ища подпорки, тот не поддерживает истину логическими доказательствами, чтобы она не упала; в такие минуты даже Сократ бросает свою диалектику, чтобы прислушаться к голосу своего «демона», Платон уходит от своих идей-чисел к Эросу, к мифам; даже у бесстрастного Спинозы, говорящего о страстях человеческих, как о треугольниках и перпендикулярах, вырывается — редко, правда — вздох: — «все прекрасное так же трудно, как и редко».

Наукообразная философия еще готова пожертвовать так называемым «дискурсивным» разумом, который возвращается со своего «пробега» по вещам, не только отягощенный мёдом своего подчас очень обманчивого опыта (всело, погруженное в воду, нам кажется сломанным, небо представляется твердым куполом и т. д.), но и заключенный в строгие, неумолимые формы нашего восприятия: пространство, время и закон причинности для Канта — неограниченные властелины мира одушевленного и неодушевленного. Опыт, который не укладывается

в рамки общеобязательности, Канта раздражает, тот единственный, неповторяющийся опыт, который умоэзрительная философия выбрасывает за борт. Но, как сказано, новейшая философия готова пожертвовать этим разумом, так сказать, улучшить его: за поверхностным, иллюзорным, «феноменологическим» слоем, под покрывалом Майи, скрывается иная, настоящая действительность, в которой царят непреложные «законы», истины, существующие раньше богов. Этим истинам сами боги, если бы они существовали, должны были бы подчиниться. Но богов нет, а если они и существовали в фантазии суеверных людей, то давно умерли: их убила та философия, «свободный дух», которой не хочет слышать никаких «мистических» голосов из «лучшего мира»: пред разумом должны «оправдаться», чтобы получить право на бытие и Творец, и Его создание; сама очевидность должна пойти на суд разума и получить там «правовой документ», доказательство ее права на существование-признание. Что такое самоочевидности, что такое самоочевидная истина? Это, так сказать, «аксиомы философии, предшествующие теоремам «геометрии бытия»: целое, напр. больше своей части, два больше одного; невозможно, чтобы один и тот же предмет, одушевленный или неодушевленный, одновременно был в двух местах; нельзя остановить бег времени, а тем более обратить его, чтобы, напр., Сократ, отравленный в 399 году до Р. Х. вдруг ожил и заговорил с нами в лице, положим, Спинозы. Тут — математика, законы природы, а кто спорит с законами природы? Тут наш разум, вооружившийся своими законами, воздвигает «стену», о которой говорит Достоевский в своих «Записках из подполья» и пред которой человек, не вырвавшийся из «общего» аристотелевского мира, не вырвавшийся из «всемства», пасует: ум, воспитавшийся на эвклидовой геометрии, говорит нам, что к плоскости из данной точки можно возвести только один перпендикуляр; Лобачевский создал не-эвклидову геометрию, геометрию кривого пространства, где из одной точки можно возвести бесконечное количество перпендикуляров, он создал законы новой геометрии с ее новыми самоочевидными истинами, но законов, диктуемых разумом, он не нарушил: он перевел только наше мышление в новое пространство не трех, а четырех измерений; возникли новые аксиомы-самоочевидности, новые теоремы-истины кривого пространства, принимаемые сознанием-согласием всех ученых: одни законы сменились другими. В матема-

тике может одновременно царить только одна истина: один и один всегда там равняется двум.

Так говорит умозрительная философия, но что нам открывает действительность? ...«в действительности бывает и так что один и один равняется и трем, и нулю. Когда природа сложила ваятеля Софрониска и попивальную бабу Фанарету, в результате получилось не два, а три, при чем третий, Сократ, оказался много бóльшим, чем оба первоначальных слагаемых, взятых вместе». Мы видим, что на доводы и неотразимые доказательства нашего «математически» вышколенного разума мы не всегда можем полагаться. Декретируемые им в виде аксиом самоочевидности мы должны преодолеть. Даже в той области, где его рука, что называется, владыка, мы должны контролировать его «работу». Уж на что Д. С. Милль был защитником опытной, наукообразно построенной философии, но и он говорил, что если бы какая-нибудь посторонняя сила, божество, всякий раз, когда мы складываем два и два предмета, подкладывало пятый, то наш разум с такой же уверенностью провозгласил бы вечной истиной $2 \times 2 = 5$, с какой он теперь утверждает, что $2 \times 2 = 4$. Недаром опыт Канта раздражает: он нам приносит «капризы» жизни и действительности, где мы на каждом шагу переживаем даже чудеса, но умозрительная философия старается изо всех сил отклонить свое внимание от чуда, видя в нем насилие, а в скептических сомнениях и по отношению к разуму, и по отношению к чувственному опыту, болезнь, которую надо в себе победить, поклонившись тому же разуму, который мы, проснувшись от «догматической дремоты», начали критиковать.

Когда мы спросим себя, каким это образом случилось, что разум одновременно себе присвоил роль и прерогативы неограниченного властелина, хозяина бытия, и роль судьи в собственном деле, то ни в одной из теорий познания, созданных до сих пор математически или научно вышколенными умами человечества, не получим удовлетворительного ответа или получим сердитый окрик Аристотеля, что много спрашивать есть признак невоспитанности философского ума — надо уметь во время остановиться: «ничего чересчур». Одним словом, в той или иной форме нам, более или менее любезно, как очаровательная Сусанна своему Фигаро, замазывают рот. Добросовестный философ попадает в положение трагического нищего осли, который не может ни нести, ни сбросить своей тя-

жести. Даже пробудивший Канта от «догматической дремоты» Юм говорит, что он похож на человека, который избежал с трудом кораблекрушения — между Сциллой «показаний чувств» и Харибдой «доводов разума», и все-таки пускается на том же утлом суденышке — в силу «привычки» — в далекое кругосветное плавание, в надежде добыть золотое руно солидных доказательств и аргументации: пусть «необходимость существует в уме, не в объектах», пусть, «необходимость — внутреннее впечатление ума», мы во власти какой-то сверхъестественной силы, которую сами боги не могут сбросить: — «непреодолима власть Необходимости».

8

Необходимость — нечто непереубедимое.

Аристотель

Юму открылось, что мы находимся во власти какой-то таинственной силы, которую люди называли необходимостью, но на самом деле необходимой связи между явлениями нет: это наш научно вышколенный разум, в силу привычки, устанавливает там закономерность, где существует случайное соотношение фактов. Как будто и для него, как для Гамлета, распалась связь времен: все возможно; все что угодно может произойти из всего что угодно; еще один шаг и случайность, недоказуемость закономерной причинной связи между явлениями уступит место божественному произволу. В действительности произошло не то: против фактов Юм не спорит, тем более против исторических фактов. В одном из своих писем он заявляет, что ему никогда не приходило в голову отрицать историческое существование, напр., Юлия Цезаря, наш разум только бессилен доказать существование этого факта в прошлом, приходится прибегнуть к *в е р е* в пределах разумно допустимого.

Если Юм вернул разуму почти все права, отнятые у него повседневным опытом и здравым смыслом, пустившись без «солидных доказательств» на утлом суденышке в дальнейшее плавание на поиски принуждающей истины, которой могли бы подчиниться все люди, то Кант, проснувшийся под влиянием знаменитого шотландского философа от «догматической дремоты» пошел «дальше Юма» и вернул оскорбленному разуму все отнятые у него, было, права: все необъяснимое изгоняется в область «вещи в себе», и так называемые «синтетические суждения *a priori*» обеспечивают единой истине принудитель-

ность: мы снова попадаем в царство неограниченной необходимости, из которого метафизика торжественно изгоняется, так как ей недоступен «королевский путь» математических наук. И эта позиция сохраняется в умозрительной философии, с некоторыми вариантами, до нынешнего дня: боязнь попасть в область «фантастики и суеверия» так сильна в представителях спекулятивной философии, что они предпочитают худой мир с наукой и ее методом, чем добрую ссору с поработившим нас и нашу волю божеством-Необходимостью.

Это принуждающее «начало», как Протей, на протяжении тысячелетий исторического существования человечества являлось в разных образах. У язычников это Рок, Фатум, Судьба, стоящая над богами. Хотя стоики и утверждали, что *fata volentem ducunt, nolentem trahunt*, но волевой элемент отступал на задний план перед силой принуждения: ведут ли судьбы хотящего человека, или тащат, против его воли, точно пьяного в участок, свобода человеком утеряна. И не только человеком, но и богами. И люди, и дьяволы, и боги, и ангелы должны склониться перед «невозможно»: они все равноправны, или вернее, равно бесправны пред истиной, которая всецело подчинена разуму. Необходимость «не оскорбляет» даже Ницше, который «убил закон» — *amor fati* его лозунг. Что же это за страшная сила, пред которой склоняется и Творец, и творение? Кто вызвал ее к жизни? Или, может быть, это то бездушное Ничто, пред которым в страхе — «обмороке свободы» (Кьеркегор) склонился в бессилии человек? Или — еще страшнее: та Неизменность, которой дано обессилить, парализовать даже божественную любовь?

9

«Мне кажется, что мир спит».

Шекспир. Король Лир

Мы находимся во власти какой-то страшной силы. Как бы мы ее ни назвали, она с неумолимостью идеально построенного механизма будет перемалывать все, что попадетс между ее зубьями; она, как удав, задушит в своих объятиях все живое и прежде всего живого человека, несмотря на его вопли, протесты, проклятия. Умозрительная философия, вооружившись своим «геометрическим методом», своим «умным зрением» — третьим родо́м познания, интуицией, ответит вам на ваши крики, взывающие к небу, со зловещим спокойствием: «не пла-

кать, не смеяться, не проклинать, а п о н и м а т ь» (Спиноза). Небеса молчали, молчат и будут молчать. Не искать же в самом деле помощи у легкомысленных богов Олимпа: сам Зевс в серьезную минуту признался Хризиппу в своем бессилии — и он не может не преклониться пред истиной-Необходимостью. Он не может дать человеку тело и внешние вещи в полное распоряжение, а только на подержание, но он может уделить часть «от нас» (богов) — свободу хотеть или не хотеть. Правда, когда Прометей захотел похитить у него «полноту власти» — божественный огонь, он был прикован руками слепых прислужников Зевса, Силы и Гефеста к скале, где коршун ему неустанно выклевывал печень и из его души исходили стоны нечеловеческие, под бременем той Необходимости, от которой и богам не спастись. Тело наше приковано цепями, а душа в муках очищения (катарзиса) попадает в каменные объятия Ананке. Кому не нужен божественный огонь, тот «поймет», что за невозможным нечего гнаться: кто возлюбит разум и будет его слушаться, тому будет хорошо на белом свете. Этот же разум подскажет человеку стоическую добродетель: сами по себе «вещи» не имеют ценности, в нашей воле считать, что мы захотим, ценным или ничего не стоящим. Отсюда и берет начало так называемая автономная мораль... «Этика сама себе дает законы. Ей дано, что угодно (конечно, что угодно ей) признать стоящим, важным, значительным и тоже что угодно признать нестоящим, неважным или никуда негодным. С автономной этикой тоже никто, даже и боги не могут бороться. Все обязаны ей покоряться, все обязаны пред ней склониться. Этическое «ты должен» родилось в тот момент, когда Необходимость сказала свое «ты не можешь» и человеку, и богам». (IX, 29).

И так оно остается до наших дней: сам «Бог не требует невозможного», свой божественный произвол он подчинил Разуму, а, Разум «увидел», что необходимость — непреодолима, т. е. что ему не дано овладеть созданным умершими богами миром». (VIII, 349) Бог превратился в «начало», действующее «по законам своей природы» под эгидой Вечности; огонь Откровения — в ровный повседневный свет «общеобязательных, необходимых суждений», в религию «в пределах разума», в «постулат» морального настроения, в проповедь добра и благочестия. В Библии можно найти нравственное поучение, а за истиной надо пойти к тому неумолимому судье, который изре-

кает, что сумма углов в треугольнике равняется двум прямым.

Лишь редкие философы, которые прошли мимо большой дороги умозрительной философии, чувствовали, что их воля поработана, что они находятся во власти какого-то «наваждения и сверхъестественного оцепенения» (Паскаль), из которого нельзя вырваться естественным путем. И они делали сверхъестественные усилия, чтобы при жизни проснуться к жизни и прорвать заколдованный круг, очерченный вокруг нас Необходимостью.

10

Все, что разум смог вычерпать из себя это — блаженство в фаларийском быке.

Лев Шестов

Разум сковал нас цепями Необходимости, вечными истинами, которые не в нашей власти. Необходимость, пред которой склоняются сами боги, может у нас отнять отечество, лишить детей, пытать нас на медленном огне, по воле тирана, в фаларийском быке, — стоическая добродетель повелевает нам испытывать блаженство, которое является не наградой за добродетель, а добродетелью самой. Над жизнью мы не властны: мы должны поплатиться за свое «нечестие», за то, что в дерзновенном порыве вырвались из лона «единого» в «общее» мы и должны вернуться — так судила Судьба, над которой и боги не властны. Что в нашей власти, это — благочестие, и мудрец, причастившийся стоической добродетели, должен испытывать блаженство даже в фаларийском быке или, по крайней мере, «одинаково равнодушно нести и ждать того, что ему готовит судьба» (Спиноза): «что действительно, то разумно» (Гегель) —

Пусть рушится небесный свод,
(без страха на развалины гляжу).
развалины не устрашат.

А в ком нет стоицизма, кто не удовлетворится Спинозовским «пониманием» и начнет вопить, тому умозрительная философия ответит: «Вопи не вопи, твое дело пред судом разума безнадежно проиграно, твои стоны будут звучать сладкой музыкой в ушах тирана-Необходимости». Если так решала вопрос спекулятивная философия относительно *э т о г о* живого человека, то о так называемых «жертвах истории» нечего и гово-

рять. Если настоящие ужасы жизни, по воле разума, превращаются в нечто неизбежное, то как можно серьезно говорить об ужасах прошлого и требовать отчета, как Белинский, за каждую жертву инквизиции, истории? В судьбе Сократа, в жертвах инквизиции, преждевременной гибели таких гениев, как Пушкин, Лермонтов, Джордано Бруно, мы «умным зрением» должны видеть либо «идеальную механику процесса развития» (Гегель), либо даже «благую руку Провидения» (Вл. Соловьев), *о п р а в д а н и е д о б р а*. Даже Киркегор, гениальный создатель экзистенциальной философии и яростный противник Гегеля, бежавший от него к «частному мыслителю» Иову, не может сделать «движение веры»: его Бог бессилен ответить на вопли распинаемого человечества; на пытке собственного существования, в фаларийском быке, он должен был признать, что сам Бог изнемогает в каменных объятиях «Неизменности», весь любовь и милосердие Он не может избавить Киркегора от страха пред Ничто, от жалкого бессилия и перевести его из «категории» мысли в «катеорию» жизни. Писать религиозно-этические назидательные сочинения датский мыслитель может, он может предаваться без конца «лирической диалектике», говорить без конца в не прямой форме о своем несчастье, но обнять любимую женщину он не может.

«Убили Бога» (Ницше) и на Его место воздвигли алтарь идолу — добродетели (блаженству даже в фаларийском быке).

11

«...вы будете, как Боги, знающие добро и зло.

Кн. Бытия, III, 5

И Сократ, и его второе воплощение — Спиноза жили в тех «категориях», в которых мыслили; они, может-быть, не испугались бы и фаларийского быка: Сократ это доказал своей стоической смертью, знание для него равносильно добродетели, и он умел самой ужасной истине смотреть прямо в глаза. Но его ученик Платон уже спасался от ужасов жизни в свой идеальный мир, и возможно, говорит Шестов, что знаменитая теория идей зародилась у Платона, когда умирал его божественный учитель: подлинного Сократа нам суждено увидеть «там», в идеальном мире. Спасает ли, однако, «бегство» в иной мир от ужасов бытия? Проблема о происхождении добра и зла, карамазовский мучительный вопрос о слезинке замученного

ребенка властно вторгается в философию. Разрешение этой проблемы не становится более легким от того, что мы «бежали» из мира реального в мир идеальный, или от того, что наше знание превратило реальное в необходимое и научило нас принимать все, что нам судьба приносит. Может ли живой человек, свободный человек принять все «дары» нашего разума и основанной на разумных основаниях самозаконной морали — бесчестие своих дочерей, убийство своих сыновей, гибель своей родины?

Весь мир облетели знаменитые изречения Ницше: «Не старайся быть врачом у постели безнадежно больного», «слабого надо еще толкнуть». С моральным негодованием многие обрушились на автора «По ту сторону добра и зла», кротчайшего и добрейшего человека в личной жизни, за его проповедь сверхчеловеческой жестокости. Эту проповедь «свины, перебравшиеся через ограду его мыслей», превратили в «слово и дело», в гнусную действительность. Мы обращаемся к помощи этики, чтобы обуздать дикие инстинкты: мы боимся, что с устранением морального начала Фальстафы станут господами бытия, и мы бежим обратно к этическому, хотя оно нас не одаряет, а все отнимает, хотя оно ведет с собой и уничтожение, и смерть, ужасы бытия, пытку в фаларийском быке. Самый легкомысленный и беспечный человек придет в отчаяние перед арсеналом средств, которыми располагает этическое, чтобы смирить непокорного человека, и смиритсЯ. Ведь этическое идет на поводу у неумолимостей, диктуемых нашим все из себя черпающим разумом — тут и Судьба, которую возлюбил даже Ницше, тут и Необходимость, которой одинаково подвластны и боги, и смертные. «Не от меня моя жестокость», говорит Киркегор: и его Бог не может прорвать заколдованного круга, очерченного Неизменностью законов Его существа: Он может ответить словами любви и милосердия, но не может устранить фаларийского быка, не может уничтожить ужасы бытия, раздавить грех.

Кто же эта грозная сила, перед которой склоняются и боги, и смертные? Когда этика нас засадила в фаларийский бык своим неумолимым «ты должен», «геометрический метод» разыскания истины пришел со своим неумолимым «ты не можешь». Сам Бог или субстанция или природа «действует по законам своей природы и никем не принуждаемый»: в начале был закон. Кто продиктовал этот неумолимый закон? Тот же

падший разум, который диктует нам, что сумма углов в треугольнике равняется двум прямым. На вопли Иова, страждущего человечества, он отвечает: «не плакать, не проклинать, а понимать». Умозрительная философия видит в Библии не истину, а «благочестие и повиновение», т. е. засаживает нас снова в застенки, по воле тирана-Необходимости, на этот раз оборотившегося уже в Вечность. Этика, построенная геометрическим способом, отняла у нас надежду выбраться из фаларийского быка раз и навсегда.

Спокойный и уравновешенный Спиноза, «улучшивший» наш интеллект третьим родом познания, «умным зрением», привел нас к тому же дереву познания добра и зла, плодами с которого змей, который «был хитрее всех зверей полевых», соблазнил нашу праматерь Еву.

12

*Дерево познания высасывает все соки
из дерева жизни.*

Лев Шестов

Библейское сказание о грехопадении есть основа и краеугольный камень в философии Льва Шестова. Он снова и снова к нему возвращается, для него это — истина, открывшаяся маленькому, бродячему, «невежественному» народу. Змей, этот «синий безногий чулок» (Гейне), соблазнил много тысяч лет тому назад своей «диалектикой» человечество, и с той поры оно, очарованное, не может отвести глаз от дерева, хорошего для пищи, приятного для глаз и вожделенного для созерцания. Как Боги мы не стали, и наши глаза «открылись» только на нашу наготу, на нашу немощность и бессилие: путь к саду Эдемскому нам прегражден, и пламенный меч охраняет путь к дереву жизни.

Возможно для нас, падших людей, вернуться к райскому состоянию неведения, когда все было «добро зело», все было первозданная красота, и мы мыслили в тех категориях, в которых жили? Умозрительная философия скажет, что такое невозможно. Как может человек препираться с Господом, как препирался Иов, ливший хулу, как воду? Как можно вернуть себе первозданную свободу, утерянную нашим прародителем в раю. И тут «скучные утешители» Иова в «диалектике» прославления Бога-справедливости, воздающего несчастному старцу «по заслугам» за его безумное дерзновение — препи-

раться с Высшей Неумолимой Силой! — сходятся со «спекулянтами» (Киркегор) умозрительной философии: все должно склониться пред Его Величеством Разумом, угождать всем его моральным требованиям. Все ужасы бытия, постигающие даже праведников, неизбежны — так говорит Змей-Разум. О, он не обманул людей, соблазнив их плодами с древа познания добра и зла: даже для Киркегора, когда он не может сделать «движение веры», которое дало бы ему обладание любимой женщиной, сам Бог становится нравственным Началом: соединившись с Сатаной, Он кует свои коварные планы против человека. О Гегеле нечего и говорить: он всецело поклонился Змею. Для Ветхого и Нового Завета у него сарказмы Вольтера. Может ли человек на известной ступени своего развития принимать всерьез фантастические измышления, возникшие в младенческую пору его исторического существования?! Мы обладаем неоценимым сокровищем — «самодвижением понятий», разве не стоит за этот дар всё из себя черпающего разума пожертвовать произволом Творца, вселенной да и самим Богом? «Все, что действительно, разумно». Змей добросовестно изложил нам всю «философию духа» Гегеля. Пеняй на самого себя, если ты не обладаешь стоической добродетелью, и вопишь, когда по тебе проходит колесница истории. Ты взываешь к Небу, ты проклинаешь, плачешь, негодуешь, но не хочешь «понять», как полагается всякому философу, стремящемуся к «истинной философии», что судьбы человечества решаются на математически точных весах, «геометрическим способом» (Спиноза). Судьба Сократов, при смене одной эпохи другой, быть отравленными, как отравляют бешеных собак: наш разум диктует свой закон, и яд-цикута не делает разницы между мудрейшим из людей и взбесившимся животным. С благословения этики, «мыслящий тростник» должен испытывать блаженство даже в фаларийском быке: ведь «блаженство не награда за добродетель, а добродетель сама».

Если же э т о т страдающий, любящий и проклинаящий, живущий и умирающий человек выпадает из «общего» мира, где царит стройный порядок, «соответствие вещей и идей», если он не хочет быть камнем, одаренным сознанием, «презреннейшим ослом», осужденным умереть с голоду между двумя вязанками сена, не захочет быть даже «мыслящей вещью» и возопит не к «субстанции», конечно, а к Господу, по

образу и подобию которого он создан? На его вопли, на его «неудачи» самая снисходительная умозрительная философия, готовая даже идти на компромисс и допустить философию веры, ответит: в философии «исключений» не может быть; истинная философия есть философия «общего» — это значит, единая всеспасающая догма должна восторжествовать в мире. Разум сказал свое державное слово, и весь мир должен ему подчиниться, не то он пыткой, «без пролития крови», будет приведен к единой истине. «Разум вотще истратив все средства убеждений и удостоверившись, что «исключения» увещаниям духовной власти не поддаются, передает их в распоряжение светской власти неулыимостей с тем, чтобы она «без пролития крови», распорядилась согласно своим вечным законам и положила конец их бесплодной тревоге». (Шестов).

Змей-Разум оказался хитрее не только всех зверей полевых: он перехитрил самого Творца Вселенной и превратил Создателя в нравственное Начало, не терпящее «исключений», посылающее их на костры за нарушение законов «благочестия и повиновения». Сам Бог не может помочь своему рабу-человеку в силу неизменности законов своей природы, по которым он действует (Спиноза). Библейский змей оказался духовным вождем лучших представителей мыслящего человечества (Шестов).

13

Я открылся тем, которые Меня не спрашивали, был найден теми, которые не искали Меня.

Кн. пророка Исани 65, 1

Мы, волей умозрительной философии, очутились в очарованном царстве, где господствует неограниченный Самодержец-Разум с его общеобязательными и необходимыми суждениями, с его законами, с его самоочевидностями, непреложными, как аксиомы геометрии, с его автономными правилами поведения — их же нельзя преступить. Сам Бог, чтобы получить «предикат бытия», право на существование, должен обратиться за разрешением, «доказательствами» к тому же Деспоту, который повелел раз и навсегда, чтобы дважды два равнялось четырем. Мы окружены «стеной», похуже стен каторж-

ной тюрьмы: там хоть есть надежда на выход, здесь — в царстве Разума нет исхода.

Но разумная философия решила без Хозяина. Миг — и замороженное царство рассыпается, как мираж в пустыне, умолкают, сраженные Господом, все «гладкие уста». Бог не захотел, чтоб созданный Им по своему образу и подобию человек превратился в пса, лающее животное, и возлюбил субстанцию интеллектуальной любовью, чтобы мыслящий тростник превратился в «презреннейшего осла» или даже в «мыслящую вещь», «сознание вообще» и т. п. Его Раб рвется в неизбывной тревоге за пределы «умопостигаемого» мира к истокам Бытия, и «там», повидимому, любят непокорных, которые дерзновенно отказались слиться с мертвой идеей, отказались обнимать и падать ниц пред богами-идолами, какие бы «соблазнительные» имена ни давала им философия веры. Этой философии веры Шестов предпочитает безбожие «исключений», приходящих в ужас от того, что сделали люди, «убив Бога». Пути Господа неисповедимы: Он открывается одним и ослепляет других. Творениям рук человеческих, доводам нашего разума, требованиям идола-морали, сокрушающим и сильного своей верой протца нашего Авраама, и дерзновенно препирающегося с Творцом Иова, Шестов противопоставляет в качестве «довода» громы с Синая. В том горнем мире, в который нас зовет философия Шестова, грех раздавлен, там зло вырывается с корнем — с ним не договариваются, его существования не оправдывают; «теодицеи», стремящиеся к оправданию божества, пустившего зло в мир, в сущности, увеличивают «диалектически», своими рассуждениями количество зла в мире (VIII, 56-58). Бог не нуждается в оправдании: Он не добро и не отнимает, как «этическое», а только одаряет. Вседержитель вселенной сам, по своей воле, творит и добро, и истину. Бог значит, что все возможно: Он может однажды бывшее сделать небывшим, обратить вспять бег времени; Он ожесточает сердца людей, как Он ожесточил сердце Фараона, но Он же уступает своему рабу Аврааму, когда тот молит Его не погубить нескольких праведников вместе с черной тучей нечестивых; Он возвращает Иову его детей и стада и приводит избранный Им народ, после мучительных странствований по пустыне, в землю обетованную, хотя этот народ «не знает», куда он идет и зачем он идет.

14

Не сотвори себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли.

Исход. XX, 4

...человек не может увидеть Меня и остаться в живых.

Исход. XXXIII, 20

Мы, евреи, обладаем сокровищем из сокровищ — Торой, но не исчерпали еще ее бездонной глубины, не раскрыли всех ее Тайн мышлением веры. Ангел Господний, о котором рассказывается в одной еврейской легенде, одарил Шестова «вторыми глазами», и творец «Афин и Иерусалима» увидел: если Бог не больше, чем разумное нравственное Начало, то Авраам погиб — ему не вернется его Исаак: Иов погиб — ему не вернутся его дети, его стада; все люди погибли жертвой Необходимости, Неизменности, Вечности — их воля порабощена: они не живые люди, созданные по образу и подобию Божьему, не вопящие из юдоли печали избранные существа, а одаренные сознанием камни, не плачущие, смеющиеся, проклинающие цари творения, а «понимающие, мыслящие вещи», «разум и воля которых имеет столько же общего с разумом и волей бога-субстанции, сколько пес, лающее животное, со созвездием Пса» ((Спиноза). В Библии надо искать не «благочестие и повиновение», а Истину и последнюю Тайну. Но мы «падшие» люди. Глубину своего грехопадения особенно сильно чувствуют «исключения», выпавшие благодаря трагическому опыту, из «общего», из «всемства»: вкусив в непобедимом вожделении от запретных плодов, они обессилели в страхе пред Ничто (Киркегор), потеряли первозданную свободу и возлюбили Фатум, «убив Бога» (Ницше). И чем гениальнее человек, тем мучительнее он переживает свое изгнание из рая, где не было различия между добром и злом, где все было «добро зело». Там, где «нормальный» человек пасует пред «стеной», «ретроградный джентльмен» из подполья подкапывается под самые основы нашего «знания»; он добивается утерянной свободы всякими дозволенными и недозволенными средствами, в «циничной», дерзновенной, бессмысленной форме: «Проклятие пустит по свету», лишь бы убедиться, что «он человек, а не фортепианная клавиша» (Достоевский), не «штифтик» в мировом механизме.

«Исключения» не хотят петь больше надзвездные «идеальные» песни, когда у них земля трещит под ногами: они не хотят быть ни «презреннейшими ослиами», осужденными умереть с голоду между двумя вязанками сена, ни пристреленными «благостной рукой Провидения» грешниками-собаками.

Бог-Добро есть идол, созданный нашими, все «понимающими» руками. Надо перебраться по ту сторону добра и зла, по ту сторону истины и лжи, преодолеть самоочевидности, чтобы при жизни проснуться от «догматической дремоты» к жизни, чтобы зажегся огонь Откровения. Бог может быть «несправедлив», по оценке автономной морали, Он может, вопреки Декарту, «обманывать» людей. Нет предела Его божественному произволу — для Бога все возможно. Он создал дивный мир — чудо из чудес, в котором все было «добро зело», сад Эдемский с его волшебными деревьями, но хитрый Змей-Разум соблазнил наших прародителей плодами с дерева познания добра и зла, соблазняет нас и теперь «гладкими устами» умозрительной философии, и дерево познания высосало все соки из дерева жизни. Мы — падшие люди, строящие вавилонскую башню «культуры», «цивилизации», «прогресса», не видим пропасти под ногами: мы променяли плоды с дерева жизни на плоды с дерева познания добра и зла и утерали мышление веры, библейского Откровения. Мы поклонились Идолу-Разуму, «убили Бога», и Бог ответил «вавилонским» смешением языков, «последними днями» разрушения Содома и Гоморры. Спасти мир могут только праведники, «живые верой», «искатели Господа». Они отведут карающую десницу Саваофа от грешного мира. Наш заступник пред престолом Всевышнего — Лев Шварцман-Шестов. Он, праведный, живет и будет жить в наших сердцах и умах, сильный мышлением веры: он пробудил в нас «жажду слушать слова Господни». Не кончилась последняя и величайшая борьба между Истиной Откровения и общеобязательными истинами умного зрения. В этой борьбе псалмопевец победил и победит Голиаф. «Господь Бог сил коснется земли, и она растает, и восплачут все живущие на ней» (Амос, 9,5), но их вопли, их крики скорби не будут напрасны: «на весах Иова» они перевесят песок морей, подымутся к Небу и будут услышаны Всевышним, волей Которого Л. Ш. был послан на землю.

Иерусалим

Г. Л. Ловцкий

ИЗ ЗАПИСНОЙ ТЕТРАДИ Н. А. БЕРДЯЕВА*

Кошмар — не только окончательное исчезновение человека, но также бесконечное перевоплощение, потеря личности в Божестве. Кошмар бесконечного существования в условиях нашей земной жизни.

Смысл Голгофы — увидеть в распятом и униженном Бога. Это — тайна свободы.

Для перехода к новой эпохе в христианстве нужен не уход от процессов в мире и гордое возвышение над ними, а вхождение в эти процессы, активное изживание судеб мира и человека при внутренней свободе от этих процессов, недопущении рабства миру, преодолении понимания христианства, как религии личного спасения и понимании христианства, как социального и космического преображения.

Воплощение и объективация не то же самое. Творец должен воплощать для мира и людей свои образы, свой экстаз, огонь, свое приобщение к иной жизни, но он принужден это делать по законам этого мира. Он терпит поражение. Его творчество обнаруживает себя в феноменальном мире, но в нем просвечивает нуменальный мир.

* Записи Н. А. Бердяева были присланы нам в 1954 г. Е. Ю. Рапп, близким человеком Бердяеву. Часть этих записей была нами опубликована в кн. 43 «Нов. Журн.». Все остальные записи мы публикуем в этой книге. РЕД.

Разрыв времени на настоящее, прошлое и будущее ранит человека и превращает каждое мгновение в средство для будущего мгновения.

Воля к могуществу создает призрачное царство.

Природа у Руссо — природа до грехопадения.

Надо сострадать всему способному страдать. Прежде всего миру животному, после мира человеческого, это обязанность в отношении космического мира.

Идея ада была бы не победой над злом, но увековечением зла.

Адские муки понятны с человеческой, а не Божественной стороны.

Три времени: время космическое, круговорот, время историческое — линия устремления к будущему и время экзистенциальное — точка-мгновение не есть часть времени, не атом времени, а атом вечности.

Бог приходит к пророкам, мистики приходят к Богу.

Во всей истории подготавливается второе пришествие Христа, конец Истории и Царство Божие. Это и есть мессианская тема, перешедшая к учениям о прогрессе.

Романы Достоевского — трагедия свободы. Свобода, как бунт и своеволие, безбожная свобода истребляет себя и переходит в тиранию, в необходимость.

Коммунисты последователи рационалистического мышления 19 века, при этом в самых грубых формах. Мистика пятилетки это обратная сторона религиозности.

19 в. был веком утопических мечтаний. 20 в. будет веком реальности.

Сартр хочет быть последним атеистом, более чем марксисты, которые еще верят в разум истории и смысл исторического процесса.

Спиритуализм не есть философия духа. Дух не противоположен телу и материи.

Отношение к Богу, как к застывшему трансцендентному метафизическому бытию — последняя форма идолопоклонства.

Учение о перевоплощении оправдывает социальную несправедливость.

«Я» есть фатум самого себя и фатум Бога. Отсюда распятие Бога (во сне).

Буржуазный мир совсем не есть какая-то нейтральная, натуральная сфера. Это сфера темная, злая, антихристова, социальная проекция и кристаллизация греха.

Зло есть путь человека и мира через свободу.

Не Бог, а сам человек в силу своего богоподобия не может простить себе низость и отпадение от Бога.

Жизнь духа есть трансцендирование, выход из замкнутого круга. Замкнутость в имманентном была бы рабством.

Бесконечная любовь Бога и ответная любовь человека раскрываются лишь в искуплении мира Христом Спасителем.

Идея общего спасения связана с космичностью Восточного христианства, с тем, что человек спасается не индивидуалистично, а со всем Божиим творением, соборно.

Естественно, натурально, чтобы люди ненавидели и убивали друг друга, сверхъестественно и духовно, чтобы они любили и помогали друг другу. Поэтому надо утвердить не естественное право, не естественную мораль, а неестественную мораль, не естественный разум, а духовное право, духовную мораль, духовный разум.

Смерть царит лишь в мире феноменов, подчиненных времени. В экзистенциальном времени она означает лишь опыт, прохождение через испытание.

Объективация и опустошение природы космоса (физика), объективация и опустошение истории (марксизм), опустошение души (Фрейд). Творец как бы уходит из творения. Он инкогнито. Смысл этого — подготовка открытия Духа. Прхождение мира через смерть и распятие.

Когда отдают последнюю рубашку, в мире увеличивается количество любви, когда отнимают рубашку, в мире увеличивается количество ненависти.

Людам трудно привыкнуть к состоянию побежденных. Они обыкновенно создают себе компенсацию, подымающую их в их собственных глазах, или склоняются перед победителями и переходят в их стан.

Свет начинает возгораться в той тьме, в которую погружается современное человечество, во всех сферах, от вершин познания и творчества до самых элементарных форм жизни.

В Православии органически сочетается свобода с церковным единством.

Революции на своем склоне всегда пожирают своих любимых детей.

Безмерная свобода заключена и утверждена в Тайне Голгофы. Религия Распятой Правды — религия свободы.

Свободно, подвигом свободы должен узреть человек в Распятом, Растерзанном и Униженном своего Бога, своего Спасителя и Испытателя.

Во Христе восстанавливается творческая природа человека. Новый Адам должен быть Творцом.

Христианство — религия Божественной жертвы, к которой мы приобщаемся в любви.

Христианство не знает отвлеченной идеи добра, какой-либо высшей идеи, которой приносятся человеческие жертвы, оно знает лишь Бога и ближнего, как живых существ.

Религиозным творчеством я называю ответное откровение человека Богу, человеческое творчество, вознесенное до религиозного смысла совершающейся божественной мистерии. В нем не Бог рождается в человеке, а человек рождается в Боге. Это творчество человека нужно Богу для завершения дела творения в свободе и любви.

Творческое развитие духа нельзя понимать нормативно, как осуществление нормы предвечного, застывшего порядка.

Интеллектуальное понимание духа делает невозможным развитие духа. Развитие понимается как количественная перестановка в материальном мире, как эволюция, но развитие — раскрытие, разворачивание скрытых сокровенных сил из глубины, а не перестановка. Духовное развитие — динамика, основанная на свободе, а не на необходимости. Для эволюционной теории развивается природная необходимость. Для теории прогрессивного развития человечества есть моральная необходимость поступательного осуществления нормы, цели.

Религиозные черты марксизма: догматичность системы, разделение на ортодоксию и ересь, ленинизм-сталинизм — Священное Писание, разделение мира на верующих и инако верующих, иерархическая организация, подобно церкви с папой во главе.

В марксизме манихейское деление мира на царство тьмы (капитализм) и царство света (коммунизм).

Соборность есть часть личности в ее духовности.

Свобода есть не только свобода выбора, но и самый выбор, самодействие.

Свобода не только искание истины, она основана на истине.

Франция погибает от скептицизма.

Когда благая цель осуществляется без благой, излучающей энергии в самих осуществляющих, то средства делаются дурными.

Ложь материализма в том, что высшее считается эпифеноменом низшего или иллюзией.

Высшие, качественные, творческие ценности нужны для осуществления Царства Божьего как на небе, так и на земле.

Уродство современной жизни есть показатель внутренней порчи.

Перед нами три исхода: 1) распадение космоса (капиталистический режим, атомная бомба). Разверзающийся хаос, не древний хаос до творения мира, а хаос созданный человеком после грехопадения, хаос рационализации; 2) насильственный порядок (коммунизм), предельная механизация коллектива; 3) внутреннее преодоление хаоса, духовное возрождение, эпоха творчества.

Христианство есть истина освобождающая.

Творчество связано со свободой, начало героическое, возложение на себя тяжелого бремени.

Против нового рабства коммунизма нельзя бороться скептической, формальной свободой, можно бороться лишь освобождающей истиной.

Церковь есть часть общества, но также общество и весь мир есть часть Церкви.

Если общество определяет личность, то общество скажет ты моя.

Личность призвана к социальному творчеству, а социальное творчество — один из путей к Царству Божьему.

Бог не управляет миром, как государством.

Официальная католическая философия — философия *du sens commun*.

Философия Фомы Аквината не религиозная философия, а научная и рациональная. Познание не просветляется верой. Проблема свободы и индивидуальности не разрешена, как и проблема истории.

Томизм признает гуманистическую активность, но не признает богочеловечества.

Тоталитаризм коммунизма взят у католиков.

Теософия есть натурализм и космизм, в которой исчезает и Бог и человек. Человек продукт космического сложения и разложения, многократность и повторяемость.

У Руссо античное понимание свободы, а не современное.

Социализм Луи Блана — социализм авторитарный и государственный.

Новая форма безбожия основана не на столкновении веры в Бога с необходимостью и научной закономерностью, а со свободой и творчеством человека.

Трудно верить в Бога без Христа распятого, взявшего на Себя страдание мира.

Во Христе обрел я свободу.

Подобно тому, как семя произрастает от солнечных лучей, и бытие просветляется и расцветает от солнечных лучей познания.

Когда я познаю, то совершается событие не со мною только, но и с самим бытием, в самых его недрах, потому что источник познания не во мне, как индивидуальном, психологическом существе, а в человеке, как онтологическом существе, в человеке-логосе, который я могу раскрыть в себе. Истинное познание богочеловеческое.

Лишь символ связывает два мира и говорит о неисчерпаемой тайне мира божественного.

Теологическая доктрина не говорит о последней тайне, она остается в середине. Она выдает за последнюю онтологическую истину то, что лишь символически выражает соборный духовный опыт.

«Свобода» есть великий символ творящего духа, «хлеб» же есть великий символ самой жизни. «Хлеб наш насущный даждь нам днесь» — значит — дай нам жизнь.

Золотой век, воспоминание об утерянном рае. Оно дано в искусстве.

Нравственная жизнь совсем не райская и в раю совсем не мыслимы нравственные усилия и оценки. Царство Божие не есть торжество добра, а есть сверхдобро.

Если рядом с раем будет ад, то блаженство невозможно.

Не может быть смысл мирового процесса между раем начала и раем конца в том, что злые и зло будут оттеснены в ад.

В раю космос возвращается внутрь человека, как и человек в Бога, в божественную жизнь.

Тысячелетнее Царство или Царство Св. Духа — третья сфера, не земля и не небо, это грань между посюсторонним и потусторонним миром. Расплавление затвердевшего падшего мира.

Ад — кошмарное сновидение, полу-жизнь, полу-бытие. Дезинтеграция личности при сохранении сознания. Ад — невозможность выйти из себя, из своей замкнутости, невозможность любить, победить эгоцентризм.

Трудность вопроса об аде в том, что невозможно детерминировать спасение и невозможно детерминировать ад в сознании Божьем.

Личность есть Божья идея и задание, которые осуществляются в индивидууме.

В основе христианства лежит не отвлеченная идея добра, а живое существо, личность, ее отношение к Богу и к ближнему т. е. бытие, а не норма. Существо выше отвлеченного добра.

Творческая эпоха предполагает бесконечность задач и конечность осуществления.

Ад есть лишь путь, духовный опыт.

Страх ада и наказания лишает всякой ценности нашу духовную и нравственную жизнь. Если раньше идея ада удерживала в церкви, то теперь она мешает остаться в Церкви и войти в церковь. Ад есть создание меонической свободы. Христос есть победа над адом. Христос сходит в ад, на дно темной свободы и побеждает любовью и жертвой, не насилующих свободы. Страшный Суд будет не судом Божиим, он не будет походить на суд человеческий, на нашу карательную справедливость, на наши казни и тюрьмы. Суд Божий стоит «по ту сторону добра и зла». Он будет обнаружением сверх-добра.

Мистика предполагает тайну, т. е. невыразимую глубину. Тайна, с которой возможно общение, т. к. есть родство, общность между человеческим духом и Божественным духом.

Мистика освобождает от природного и исторического мира, как внешнего для меня и **вбирает** весь материальный природный и исторический процесс в дух. То, что в религии символично, в плоти озаменованное, становится реальностью в мистике.

Природный человек часто творит не для Бога, а для себя, т. е. создает небытие.

Для христианского сознания человек не развивается из животного и не может эволюционировать в ангела или демона, но он вечно остается человеком.

Теософия стоит или на дохристианском индусском сознании или натурализирует Христа.

Мы заразили вечность нашей ограниченной греховой мыслью.

Вечность — победа над адом.

Проекция совершенной и блаженной жизни на земле во времени вызывает тоску и скуку, как подчинение бесконечного конечному.

В Царство Божие входит вся природа и вся культура, т. е. творческое дело человека, но преображенные.

В раю космос возвращается внутрь человека, как и человек в Бога, в божественную жизнь.

У Штейнера нет, как у Бёме, опьяненности божественной мудростью.

Теософия находит сравнительно легкий путь, эволюционный путь от современного безбожия, рационализма и натурализма к познанию духовных миров без жертвы, без подвига веры, человек перескакивает через бездну. В теософии человек временный синтез космических сил.

Наше христианство уже иное, новое; в него войдет и преодоленный гуманизм и пережитые бури революций и германский идеализм и испытание свободы и творчества. Наше христианство новое и вечное.

Наступил период, когда только в христианстве остался человек и творчество. Творчество раскрывается, как служение Богу, раскрывается, что творчество человека — соучастие в деле Божьего миротворения.

Еще предстоит эсхатологическое откровение нового эона, откровение не только Духа Святого, но космоса и человека.

Религия духовности — религия совершеннолетия человека.

«Я» (самость) — фатум самого себя и фатум Бога. «Я» терзаю самого себя и Бога. Отсюда распятие Бога (**во сне**).

Философия, метафизика есть не выражение объективной реальности, а изменение внутри человеческого существования, обнаружение смысла существования. Метафизика может быть лишь выражением существа.

В природе нет «ничто», небытия, есть лишь разложение, изменение и сложение.

В религии Духа, религии свободы все является в новом свете: нет авторитета, возмездия; не суд, а преображение.

Непонятно, как из доброй природы человека и присущей ему свободы могло получиться зло.

Культ Бога, как силы, есть идолопоклонство.

Н. А. Бердяев

Корпорация, редакция и ближайшие сотрудники «Нового Журнала» поздравляют проф. Николая Сергеевича Тимашева со днем его восмидесятилетия и от души желают ему всего доброго, а главное сил для продолжения его научной и публицистической работы.

КАК Я СТАЛ СОЦИОЛОГОМ

За долгие годы моей жизни в Америке мои друзья зачастую спрашивали, как это случилось, что я, подготовленный к академической работе в области правоведения, изменил своему призванию и перешел в область социологии, построенной на совершенно иных основаниях нежели юриспруденция. Мой ответ состоит из двух частей: переход был нужен, потому что правоведение в своей основе национально, и человек, воспитанный в недрах одной национальной культуры, напр. русской, оказывается профаном во всякой другой — германской, французской и в особенности англо-американской; даже общая теория права, рассчитанная на универсальность, в действительности приспосабливается к национальной системе лица, ее преподающего.

Во-вторых, для меня переход был менее труден, нежели для большинства моих коллег. Дело в том, что, еще будучи гимназистом, я заинтересовался социологией. Я внимательно прочел и перечел неоднократно труды М. М. Ковалевского и Н. И. Кареева; в старших классах Имп. Александр. Лицея (в котором я провел лишь два последних года, чтобы преодолеть почти полную остановку преподавания, вызванную политическими событиями) я слушал лекции Кареева, правда по истории, но на явно ощутимой социологической основе. А в области правоведения ни лекции проф. Покровского, ни книги Коркунова не давали мне ответа на мучивший меня вопрос: — что такое право? Выходило так, что право — это система самодавящих норм, регулирующих поведение людей. На этот вопрос как будто бы давал ответ самый оригинальный из русских юристов — Л. Петражицкий. Но его ответ — правовые нормы суть фантазмы, реальные только в психике переживающих их людей. Но почему же эти фантазмы одинаковы у всех (или почти у всех) людей, составляющих данную нацию? Тут Петражицкий призывал на помощь эволюционную

теорию, которая тогда (т. е. в начале 20-го века) почиталась незыблемым устоем и как-то приводила к единству правовых фантазм в пределах каждого национального общества.

В те времена в теорию Петражицкого верили многие, очень многие студенты (кроме убежденных марксистов, по тогдашнему жаргону — эс-деков). С поклонниками (именно поклонниками!) Петражицкого я спорил, но убедить их не мог, потому что не мог предложить другой теории.

В тот же период я подошел к ответу на мучивший меня вопрос — что такое право — в работах Коркунова. Его теория была собственно теорией не права, а государства. Он отрекся от господствовавшего взгляда, будто власть государства сводится к сознанию правителей, что они имеют право повелевать, и все подчиненные им **потому** обязаны повиноваться. Это учение я нашел господствующим среди германских юристов, с которыми я познакомился за год своего пребывания в Германии, опять-таки для того, чтобы наверстать время, терявшееся в России из-за продолжительной революции 1905-6 гг. Вместо этого господствующего мнения Коркунов предложил свою гипотезу — власть государства основана на сознании подчиненных масс населения. Это гипотеза меня интересовала, но не удовлетворяла; я спрашивал себя — откуда же берется это сознание подчиненности?

Еще один фактор сыграл крупную роль в моем последующем переходе к социологии. В Лицее уголовное право преподавал проф. А. А. Жижиленко, и он же был моим ментором при подготовке к магистерскому экзамену, которая потребовала 3 лет. Жижиленко принадлежал к социологической школе уголовного права, которая искала общественные причины преступлений и последствий наказания в складе данного общества. Эта идея сейчас общепринята, но тогда была достоянием лишь меньшинства специалистов по уголовному праву. Кстати сказать, в России социологическая школа завоевала много больший процент специалистов по уголовному праву, нежели где-либо. Превосходные лекции проф. Жижиленко завоевали меня, и я избрал темой моего курсового сочинения в старшем классе Лицея, а затем темой сочинения, благоприятная оценка которого в Университете давала право на присуждение мне диплома 1-ой степени, необходимого для всей дальнейшей академической карьеры. Эта же тема, в сильно измененном и расширенном виде, легла в основу моей магистерской диссертации

(«Условное Осуждение, СПб, 1914»), которую я с успехом защитил 9-го ноября 1914 г. в день моего рождения, (что было замечено многими лицами, присутствовавшими на диспуте). Диссертация эта рассматривала условное осуждение с исторической, с догматической и с социологической точек зрения. Работа над этой последней частью была моим первым упражнением по социологии.

Но совокупность факторов, необходимых для явлений, принадлежащих к той или иной сфере культуры (изучение которой входит в компетенцию социологии), недостаточна. Нужно было еще что-то вроде «толчка». Этот толчек состоялся осенью 1916 г.

В это время я был приват-доцентом Петроградского университета и «преподавателем» уголовного права в Петроградском Политехническом Институте. Неожиданно меня вызвал к себе проф. Гусаков, который был деканом экономического отделения (тогдашний термин вместо «факультета»). До тех пор я имел с ним очень мало дела, т. к. он был специалистом по торговому праву, которое меня мало интересовало. Гусаков принял меня очень любезно и сразу предложил мне читать, кроме уголовного права, общую теорию права, которую в предыдущие годы читал проф. Ельяшевич; как выяснилось, он от этого труда отказался. Проф. Гусаков прибавил фразу, которая в значительной мере предопределила мое будущее развитие. А именно он сказал, что было бы желательно построить общую теорию права на социологической основе, ибо как раз это нужно студентам-экономистам, а не изучение догматических тонкостей. Я стал было уклоняться, но Гусаков настаивал и указал мне на несколько книг русских юристов, в которых проступает социальная подкладка права. Я подумал и согласился, вспомнив о тех социологических «щупальцах», которые протягивались ко мне и были мне известны. Надо отметить, что в то время книга австрийского проф. Эрлиха, вышедшая по-немецки в 1913 г., до России еще не дошла, и что американская наука, во главе с проф. Р. Паундом (с которым мне довелось близко сойтись 20 лет спустя) просто игнорировалась русскими учеными.

Итак, я согласился. Началась для меня трудная пора. Нужно было создавать новую науку, исходя из уже имеющихся отправных пунктов. Студентов было мало — большинство были мобилизованы. Было 2-3 поклонника Петражицкого; с ними

приходилось спорить. Я уже не помню, что именно вошло в мой курс, но сознаю, что это было весьма неудовлетворительное произведение. Но по привычке, которая у меня удержалась на всю мою академическую жизнь (1913-63), я записывал довольно пространно свои лекции до их прочтения и на кафедре имел лишь несколько кратких конспектов с отметками времени, которое должно было быть отдано отдельным темам. Этот курс я повторял в следующие годы, — до 1921-го, когда моя академическая карьера в России закончилась: 8-го августа этого года я бежал в Финляндию с женой и младшим братом, студентом электротехнического отделения Института, ныне профессором электроники в университете Лаваль, в Канаде.

Само собой разумеется при бегстве мы не могли брать с собой «компрометирующий» материал. С великим прискорбием я оставил свои тетради у одного друга; в них были записаны мои лекции в пятой и последней редакции. Мой друг пытался переправить эти тетради за границу, но неудачно. По словам другого коллеги, с которым я встретился в Берлине, эти тетради хранятся теперь в особом отделении Петроградской публичной библиотеки, где сосредоточены труды «белых» ученых, бежавших за границу. Хотелось бы эти тетради увидеть...

* * *

И все-таки мои труды, выполненные еще в России, не пропали даром. Через год после «исхода» в эмиграцию, я получил приглашение дать научную статью для второго выпуска «Трудов русских ученых за границей»; это предложение я принял с радостью и избрал темой ту часть своего курса по общей теории права, в которой излагалось мое ученье о социальной подкладке права. Моя память всегда была превосходна, и я восстановил, именно по памяти, свои петроградские лекции, но в несколько измененном виде. Направленье моей переделки ясно проступает уже в заглавии статьи: «Право, как коллективно-психологическое явление». В ту пору я хотел только приблизить к истине ученье Петражицкого о праве; впоследствии я заменил слово «коллективно-психологическое» термином «социальное».

Забегая вперед скажу, что лет 40 спустя я к своему огорчению узнал, что несколько моих американских поклонников (они не многочисленны, но довольно влиятельны, как профессора разных университетов) перевели мою статью на английский язык и напечатали ее в одном журнале. Я не напечатал ни

«исправлений», ни «возражения» против своей давнишней системы. Но читатели моих последующих трудов не могут не увидеть разницы между моими взглядами тогда и теперь. А тогда обстоятельства сложились неблагоприятно для моего перехода от юриспруденции к социологии. В 1923 г. я начал читать курс по уголовно-судебному праву на русском юридическом факультете пражского университета, в состав которого я был избран на место проф. Гогеля, поссорившегося со своими коллегами из-за одной неудачной его фразы, произнесенной на съезде русских юристов; он сказал, что «все мы русские юристы за границей являемся государственными преступниками с точки зрения советского уголовного права». Я не считаю слова Гогеля предосудительными: но эти слова конечно были неуместны, ибо в то время самое существование советского права, **как права**, отрицалось многими благонамеренными эмигрантами.

За пражский период моей жизни (1923-8) я выпустил две объемистых книги: одну в сотрудничестве с 8 коллегами, но под моей редакцией, под заглавием «Право Советской России», почти немедленно переведенную на немецкий язык, и другую, посвященную уголовно-судебному праву. В подражание проф. Розину, я рассмотрел судебный процесс, как динамически развивающийся от стадии к стадии, при сохранении единства юридического отношения (суд и две стороны). Своей книге я придал однако сравнительно-правовой характер, сопоставив русские (до-революционный и советский) процессы с процессами, наблюдаемыми в германском, австрийском, французском и английском праве. Австрийский процесс был включен не только потому, что он был наиболее прогрессивным, но и потому, что большая часть Чехословакии продолжала в общем держаться австрийского права.

Кроме того я написал по-немецки книгу о государственном строе Сов. России, используя стенографические отчеты всероссийских (а потом всесоюзных) съездов коммунистической партии и сделав все возможное, чтобы отразить в моей работе борьбу внутрипартийных сил, в этих отчетах проступавшую.

Я возобновил свою преподавательскую деятельность в 1923 г., но скоро почувствовал непрочность положения русской профессуры в Чехословакии. Дело в том, что ее правительство пришло к убеждению, что коммунистическая власть

установилась надолго, и что благодеяния чехов в пользу русских профессоров и студентов заграницей окажутся чистой благотворительностью, к которой пражская власть не была склонна. Так думали почти все члены правительства, кроме Крамаржа. Молодым профессорам (а я был в их числе) дали понять, что им следовало бы поискать другую работу.

Я понял эту директиву и стал искать. Моя семья переселилась во Францию, куда я ездил несколько раз, начиная с 1925 г. В это время в газете «Возрождение» произошел переворот сверху: его редактор П. Б. Струве был устранен; с ним ушли и другие силы: открылась возможность занять их места. Я сомневался, этично ли будет пойти навстречу перевороту, и отправился в Берлин, чтобы посоветоваться с И. В. Гессеном — редактором «Руля». К моему изумлению он заявил, что никакого препятствия не видит, т. к. П. Б. Струве, крупный ученый и видный политический деятель, оказался очень плохим редактором; между прочим, он чуть ли не на полгода отсутствовал из Парижа и передавал ведение газеты мало подготовленным к тому молодым силам. Я отправился в Париж, занял ту вакансию, которая была мне предложена, тем более, что дело, мне поручаемое, было — вести русский отдел, т. е. давать ежедневно заметки о советских делах (по советским газетам, ежедневно приходившим по воздушной почте из Москвы). В Париже я был также приглашен читать лекции в Институте Славяноведения при Сорбонне и во Франко-Русском Институте (который еле влачил свое существование). Все заметки о России я аккуратно вклеивал в толстые тетради. Впоследствии я использовал их при составлении книги «Великое Отступление», изданной по-английски. Эта книга была моим первым успехом в сфере научной литературы: книга быстро разошлась и была два раза переиздана.

За парижские годы моей жизни произошло два факта, которые решили мою судьбу в смысле переустановки с правоведения на социологию. В 1932 г. я получил письмо от П. А. Сорокина, который эмигрировал в Америку в 1925 г. и быстро поднялся до ординарной профессуры в Харвардском университете, считаящимся первым среди высших учебных заведений США. Сорокин (с которым мы были в дружеских отношениях еще в петербургские дни) сообщил мне, что он получил значительную субсидию от Университета для написания монументального труда по динамике общества и культуры, и что ему

необходимо сотрудничество европейских коллег. Мне он предложил составить сводку данных об изменении состава преступлений и суровости наказаний в главных странах Европы, со времени падения римской империи до наших дней. Я с радостью согласился и при выполнении этой задачи применил те приемы, с которыми я был знаком по криминологии, в особенности по собственному труду об «Условном Осуждении». Я составил список 102 преступлений (как-то, убийство, изнасилование, разбой, кража, разрушение существующего строя и т. п.); в дальнейшем я применил не совсем законный прием (за неимением лучшего): я составил список 10 степеней строгости наказаний, в дальнейшем употребил эти порядковые числа в виде количественных. Собрав все данные, я выразил их в форме таблиц и послал Сорокину письмо, в котором выражал опасение, что мои выводы, а именно утверждения, что по мере роста культуры уменьшается строгость наказаний (Дюркгайм) не подтверждаются фактами, и что поэтому мой труд вероятно не будет использован. Через некоторое время пришла лаконическая телеграмма из Бостона — *All right letter follows*. В этом письме Сорокин сообщал, что он полностью принимает выводы, мною сделанные, и что они вполне соответствуют его гипотезе, согласно которой развитие культуры идет не прямолинейно, а зигзагообразно. Через некоторое время он предложил мне еще более трудную работу, а именно разработку данных о революциях, с V века по 1925 г. Эта работа заняла два года труда в свободное от газетной работы время.

В 1935 г. Сорокин приехал в Париж и как-то мимоходом сообщил мне, что президент университета предложил ему вызвать в Бостон одного из своих европейских сотрудников (их было около 20). А 21-го января 1936 г. пришла телеграмма, смысл которой был: правление Харвардского Университета приглашает вас на год для прочтения двух курсов со званием профессора-посетителя (*visiting professor*).

Я немедленно телеграфировал о согласии, несмотря на то, что сознавал большие трудности. Главною из них было мое неполное владение английским языком — я учился ему в отрочестве, а через несколько лет в Лицее; читал я английские книги без затруднения, но плохо произносил многие слова; главное, я часто не понимал быструю английскую речь. К счастью было время, если не одолеть, то уменьшить эти препятствия: до отъезда в Америку было 8 месяцев. Я поехал

на месяц в Англию, где выступил на научном собрании и даже прочитал несколько лекций. А по возвращении в Париж стал брать уроки, я думаю, тогда у самой лучшей преподавательницы — А. Шидловской.

Наконец, наступил день отъезда — на французском пароходе, а не на английском или американском: на нем было немало англичан и американцев; я пытался говорить с ними на их языках (ибо их два довольно различных, особенно в произношении!); но часто это было неудачно, они улыбались и переходили на французский, конечно, довольно скверный.

Но вот и Америка. Встретил меня Сорокин и с ним молодой преподаватель (убитый в самом конце 2-ой мировой войны). Он был приставлен ко мне, как «менеджер». Пришлось работать так усиленно, как никогда — весной хороший доктор нашел у меня что-то вроде нервного изнуренья, которое я преодолел, вернувшись на каникулы во Францию, где осталась жена и двое детей (ведь место было обеспечено мне только на один учебный год!) В учебный сезон я читал две лекции ежедневно, одну по социологии права и другую по социальным движениям нашего времени, которые я свел к коммунизму и фашизму; этот последний в моей концепции покрывал и национал-социализм. Кроме того я брал дорогие уроки по фонетике у рекомендованного мне Сорокиным опытного преподавателя.

В начале 1937 г. Сорокин сказал мне, что собрание профессоров социального отдела приглашает меня на второй год и президент университета утвердил это решение. Это был редкий случай; я почувствовал, что я утвердился на американской почве и начал писать английскую книгу, озаглавленную «Введение в социологию права». Книга была построена на основе записей прочитанных мною лекций, уже довольно сильно отличавшихся от русской редакции. Главное изменение было в том, что право трактовалось, как социальное, а не психологическое явление. Это была плодотворная мысль: она привела к употреблению нескольких общих понятий об обществе. В частности понятие власти, при том политической власти, территориальной (распространяющейся на определенную территорию) и при том высшей власти, т. е. не подчиненной никакой эмпирической власти и потому могущей быть исследуемой научными приемами; затруднения, возникающие вследствие су-

ществования федеративных государств, были устранены применением понятия системы, которое к тому времени все больше прививалось в социологии.

Книга была закончена в 1938 г. и принята к печати издательством Харвардского Университета. Оно, как почти все университетские издательства, очень мало заботилось о распространении напечатанного им труда. Но до выхода книги в свет мне удалось поместить в двух специальных журналах отдельные главы, как независимые статьи. Это сразу укрепило мое положение, как американского социолога.

На этом можно кончить мои объяснения — как я стал социологом.

С тех пор я написал несколько книг и много статей в сфере своего нового призвания. История моего перехода от правоведения к социологии интересна потому, что она почти что единична. До меня подобный прыжок был совершен П. А. Сорокиным, которому это было легче, потому что он еще в России учился не только в университете, но и в Психоневрологическом Институте, где социология занимала почетное место; ему было суждено стать не просто социологом, но первым среди американских социологов (что впрочем оспаривается профессором Т. Парсонсом и его учениками). Второй известный мне случай — это жизненный путь Г. Д. Гурвича, который окончил юридический факультет Юрьевского университета и получил магистерскую степень от русского юридического факультета в Праге; Гурвич был в сущности философом по призванию, в частности социальным философом; во Франции, где он окончательно утвердился, его считали первым из социологов Франции — так его назвал декан словенского факультета Сорбонны, в беседе со мной в 1956 г.

Наши три случая неповторимы, ибо в сов. России и юриспруденция, и социология сведены почти на-нет, а лицам, окончившим курс правоведения до коммунистической революции теперь под 80 лет и больше. Ученым же из других стран, окончившим курсы по этим предметам, нет ни смысла, ни надобности, да пожалуй нет и возможности, пойти по нашим следам.

Н. С. Тимашев

ЮБИЛЕЙНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

«Обреченный» старый мир встречает пятидесятилетнюю годовщину Октября без особой тревоги. «Призрак коммунизма» больше не бродит, ни по Европе, ни по другим континентам. Наоборот, в эту годовщину советский коммунизм предстает обремененным расколом и неуверенностью.

В этом смысле Октябрь казался гораздо более внушительным, когда он справлял свой, скажем, тридцатилетний юбилей. Тогда казалось, что коммунизм непосредственно борется за овладение и Европой и Азией. Захвативший, сразу после войны, страны Восточной Европы, коммунизм занял тогда чрезвычайно сильные позиции и в Западной Европе, особенно в Италии и Франции. Тот, кто жил в те годы во Франции, вероятно, помнит ту растерянность, которая охватила многих, когда в разгар забастовок и беспорядков, Морис Торрез недвусмысленно угрожал в своей речи в Лилле расправой всем тем, кто посмеет стать поперек дороги его партии. Теперь уже никто даже не вспоминает, что в те годы приход коммунистов к власти в Италии легальным путем, — путем получения компартией большинства на парламентских выборах, — считался весьма вероятным. Коммунизм казался тогда могущественным, монолитным и идущим уверенно к своей цели.

Через несколько лет, когда коммунистический натиск был кое-как (и, как многим казалось, «временно») отражен в Европе, коммунизм одержал «беспримерную» победу в Китае. Люди, претендовавшие на дар политического предвидения, тогда убедительно доказывали, что, если разлагающейся Европе временно удалось спастись, то триумф коммунизма в Азии неизбежен. Такой «проницательный» человек (назовем хотя бы его), как престарелый английский философ Бертран Рассель, предлагал тогда и Европе и Азии сдаться без боя. Через несколько сот лет, глубокомысленно говорил философ, когда коммунизм очеловечится, потомки будут нам за эту сдачу благодарны.

Д. АНИН

Коммунизм действительно казался тогда неотвратимым, по крайней мере, в Азии и Африке. В афро-азиатских странах, один за другим появлялись, если не совсем коммунистические, то дружественные коммунизму режимы, они клялись в дружбе Сталину и Мао. СССР и Китай были для них примером. А Сталин «прощупывал» Запад то блокадой Берлина, то бравировал своим атомным арсеналом.

Как далеки мы теперь от всего этого. Во Франции Жюль Мок, тогдашний министр внутренних и военных дел, олицетворявший непримиримое сопротивление коммунизму, теперь считает возможным заключать с коммунистами предвыборные соглашения. В Италии компартия, постепенно но верно разлагаясь, пытается спастись путем «диалога», т. е. соглашения с католиками. Левый социалист Пьетро Ненни, долгие годы союзник коммунистов в прошлом, теперь, порвав с ними, образовал вместе с несправимым «реформистом» Саррагатом единую социалистическую партию. В Италии спор идет не о возможности выздоровления компартии, а о том, кто унаследует ее голоса. Что же касается Азии и Африки, то большинство просоветских режимов там, связанные с именами Нкрумы, Бен Беллы, Сукарно и других, в результате внутренних неудач отошли в небытие. Похоже на то, что коммунистическая экспансия, казавшаяся еще недавно неотвратимой, теперь задержана и «тур революций и войн», долженствовавший большевизировать одну страну за другой, в наших шестидесятих годах закончился.

Этот весьма беглый и неполный перечень признаков и фактов, свидетельствующих об ослаблении коммунистического динамизма, должен бы нам позволить рассматривать Октябрь, и все от него исходящее, бесстрастно, «академически», как историческое событие, потерявшее острую политическую злободневность. Но в действительности это не так. Даже если исходить из положения, что приостановка роста коммунизма — явление бесповоротное, все же нельзя забывать, что в создавшейся мировой обстановке вышеупомянутые факты решающего значения больше не играют. В наши дни сила коммунизма измеряется вовсе не силой компартий в свободных странах и не количеством просоветских режимов в афро-азиатских странах, а военно-экономическим потенциалом тех стран, где коммунизм укрепился — в первую очередь, в России и Китае.

ЮБИЛЕЙНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Интернациональный аспект коммунизма с годами поблек и был подчинен целям и интересам национальным. В этом примате национального над интернациональным надо, мне кажется, видеть одно из главных поражений коммунизма. Интернациональное оказалось явлением призрачным, иллюзорным, национальное же — живучим и неискоренимым. В историческом плане коммунизм оказался, главным образом, средством, и весьма действенным, для перестройки государственной жизни; с помощью его идей и методов удалось «мобилизовать» миллионы людей на «социалистические» стройки. Результатом этих «мобилизаций» и «строек» оказалось, однако, создание обычной национальной промышленности, т. е. того, что в других странах было создано гораздо успешнее без мобилизаций и без «социализма».

Это теперь уже понимают многие. Интернационалистская болтовня в Китае только прикрывает националистические и «великодержавные» амбиции. Именно этим объясняется та «неурушимая» дружба, которая связывает Москву с Улан-Батором, ибо монгольские коммунистические правители боятся быть проглоченными коммунистическим Китаем. Это поняли и в коммунистической Северной Корее, руководители которой в последнее время все больше сближаются с Москвой и отдаляются от Пекина. Надо думать, что это вскоре поймут и в Ханое. Примат национального над интернациональным лежит в основе всего того движения, которое приняло разные формы в Югославии и Румынии, Венгрии и Польше и которое вошло в политическую литературу под названием полицентризма.

Интернационализм был когда-то «мотором» коммунизма. Новое мессианское движение привлекало, преимущественно, своей интернационалистической тотальностью. Но проделав известные нам метаморфозы, коммунистический интернационализм оказался иллюзией и выдумкой теоретиков и мечтателей. Показательно, что коммунистический национализм осознал и проявил себя именно тогда, когда Россия перестала быть единственной страной с коммунистическим режимом. До этого националистические уклоны, существовавшие подспудно в коммунистических партиях, сдерживались террором Сталина. Можно, конечно, возразить, что, одновременно с проявлением национализма, в мире наблюдается тяга к широкому объединению, к подчинению национальных учреждений сверхнациональным. Такой процесс несомненно имеет место в Европе, но с кризисом

коммунистического интернационализма он, конечно, не имеет ничего общего.

Раскол в международном коммунизме, вызванный национальными, территориальными и идеологическо-политическими причинами, к пятидесятилетию Октября принял острейшие и, повидимому, стабилизовавшиеся формы. Теперь уже трудно говорить о европейской и азиатской ветви в коммунизме. Китай до того преуспел в своей политике самоизоляции, что он теперь может хвастать поддержкой только одного, не очень значительного, но зато верного союзника — Албании. Так Китай облегчил кремлевским и прочим «ревизионистам» задачу сплочения распадавшихся партий под эгидой Москвы.

Внешняя самоизоляция Китая идет параллельно с новой «культурной» революцией внутри страны. Варварски-анархические формы этой революции, которые, могли бы, пожалуй, получить благословение Бакунина, но были бы осуждены Марксом, только подчеркивают ту огромную пропасть, которая отделяет китайскую от других компартий. Китай, как будто, сделал все возможное, чтобы усилить советские опасения и тем самым толкнуть Россию к еще большему «ревизионизму».

Вполне возможно, что Запад, по существу, знает очень мало о советско-китайском конфликте. При наличии только известных всем сведений, приходится поражаться китайской непоследовательностью. С одной стороны Китай требует от Советского Союза проявления более активной политики в отношении Вьетнама, прозрачно намекая, что СССР не должен пугаться перспективы войны с Америкой; с другой — Китай не менее прозрачно выставляет свои национально-территориальные требования в отношении Советской Центральной Азии и Сибири. В этих условиях, Косыгину ничего не остается, как напомнить Пекину, что Советский Союз не намерен «таскать горячие каштаны» для Китая, напоминание, которое, кстати сказать, накануне войны сделал, по адресу Запада, Сталин, когда он вел одновременные переговоры с Англией и Францией об образовании антигитлеровской военной коалиции, а с гитлеровской Германией тайные переговоры о разделе Польши.

Эти китайские территориальные претензии к России парализуют или, по крайней мере, ослабляют динамизм Советского Союза и в Европе и в Азии. С другой стороны, недоверие в отношении СССР мешает Китаю вести с надлежащей энергией ту «освободительную» войну, которую он бы хотел. Сло-

весный активизм Пекина и учиняемый им разгром «внутренних врагов», едва ли могут скрыть тот факт, что революционный и «рычащий» Китай вовсе не очень склонен кусаться и получать укусы.

Если бы, при наличии этого парадоксального положения, в России люди могли бы свободно размышлять и вслух и на бумаге о странных, десятилетиями вдолбленных им, понятиях и истинах; если бы люди там могли отрешиться от постылых директивных формулировок и взглянуть на изменившийся мир открытыми, «непредвзятыми» глазами, то в стране несомненно изродились бы интереснейшие споры на извечные темы о Востоке, Западе, Евразии, о предназначении пути, об ориентации страны и народа. В печати и на собраниях воскресли бы давно забытые имена Хомякова и Леонтьева, Герцена и Данилевского и даже малоизвестных в России Бердяева и Федотова. Проблемы, поставленные в девятнадцатом веке предстали бы теперь, в изменившейся обстановке, в свете всего пережитого и накопленного, в гораздо более усложненном и многогранном виде. Именно на этом новом фоне так нестерпимо бездарно звучат «проработанные» статьи официальных идеологов и «зачитывания» разных Громык и Федоренок.

II

В связи с предстоящим юбилеем, будут вновь сделаны попытки подведения итогов революционного режима, его успехов и поражений. Приступая к такому занятию, не следует, разумеется, ни упускать, ни преуменьшать его достижений. Такие были и есть. Тут и спутники, и Братск, и ликвидация безграмотности, и миллионы инженеров и миллионы тонн стали. Но может быть, наибольшим успехом советского режима надо считать самое его полувековое существование, его не раз доказанную способность выходить живым (если не сухим) из всех многочисленных внутренних и внешних опасностей. Это большое достижение, ведь режим, существующий в России, является единственным диктаторским режимом, удержавшимся так долго у власти. Ни фашистским, ни нацистским режимам, которые, по методам управления, одинаковы с коммунистическими, этого не удалось. Конечно, коммунизм держался и держится не только на силе, обмане и пропаганде, хотя и тем и другим и третьим он пользуется в чрезвычайно больших дозах. Он держится и на своих несомненных успехах, которые

часто действуют неотразимо на многих и внутри страны и за ее пределами.

Показательно, однако, что советские успехи исключительно материально-технологические. Тщетно пытаюсь вспомнить имя, мысль хотя бы одного человека **советской социалистической** формации, которая бы «взорвала», взбудоражила мир в области духовной, эстетической, душевной. После уничтожения некоторых ростков, которые в этих областях появились в двадцатых годах (и поныне являющихся каким-то «серебряным» веком коммунистического полстолетия), страна была закрыта для всего что превышало эстетические и духовные потребности сначала примитивного начетчика из семинаристов, а потом не сильно грамотного, но зато весьма развязного рабфаковца, типичного птенца «гнезда Сталина». Все это произошло в стране, которая до революции именно в областях духа и творчества была «ведущей»; в стране, где, по известному выражению Бердяева, появились люди «двадцать первого столетия».

Революционной власти, чьи духовно-творческие достижения вызывают за границей, в лучшем случае, улыбку снисхождения даже в кругах ей дружественных, не остается ничего другого, как продолжать некоторые дореволюционные традиции. Современный советский балет продолжает оставаться «императорским», а советский театр не перестает руководиться Станиславским, но в его вульгаризации. Бессильные противопоставить новое старому, советские литературные критики рекомендуют писателям учиться у классиков. Но эта «учеба» тоже вульгаризирована. Режим, вышедший из революции, которая, по ее трубадуру Маяковскому, призывала «не пилиться в старое», загнать «клячу истории», порвать с законом «даным Адамом и Евой» — эта революция и созданный ею режим давно уже превратились в самый настоящий оплот реакции и мракобесия.

На фоне эффектных советских технологических достижений, многие стали забывать некоторые элементарные марксистские положения, которым, именно в свете советского опыта, нельзя отказать в проницательности и в своевременности. Согласно этим положениям, применявшимся Марксом и его последователями (включая Ленина) к буржуазно-капиталистическому обществу, но которые в наши дни вполне применимы и к обществу «социалистическому», социально-экономическая

сущность и структура общественной формации не определяется ни ее техническим уровнем производства, ни ее юридическими «фикциями» или «надстройками», а ее реальными, общественными или «классовыми» отношениями.

За годы существования советской власти на тему о социально-экономической сущности социалистической системы написано много книг. Оставляя в стороне толкования этого вопроса в официальных источниках и у многочисленных попутчиков в западных странах, суть определений, объяснений и теорий, которые были высказаны западными и оппозиционными авторами, несмотря на свое обилие и кажущееся разнообразие, оказывается весьма однообразной. Действительно, какая по существу разница между, скажем, определениями Троцкого, считавшего, что при Сталине советский строй стал (по аналогии с французской революцией) термидорианским или бонапартистским (или тем и другим вместе) и Джиласом, считающим, что Советским Союзом, как и другими коммунистическими странами, правит «новый класс», состоящий, преимущественно, из партийной и государственной бюрократии. И Троцкий, и Джилас, и левый социалист Отто Бауэр, и Джеймс Бернхем, и Суварин, и советский невозвращенец Авторханов, и американский профессор Фейнсон и бесчисленные «эмпирические» исследователи — все они приходили к выводу, что **по существу** в пореволюционной России появился новый правящий класс. Бюрократия, идеократия, технократия, организаторы — все это уже частности. Одни авторы подчеркивали одно, другие другое. Но все они сходились на том, что власть пролетариата и крестьянства, именем которых революция была совершена, была узурпирована сначала высшей партийной бюрократией, потом единоличным диктатором, а потом вновь разновидностью бюрократии.

Можно, разумеется, спорить о характере и действительной роли этого нового класса в советской системе и о границах его власти. Предметом спора может быть также и вопрос о том, что следует понимать под правящим классом при коммунистическом режиме. Следует ли в этот класс зачислить всех материально-привилегированных советских людей или только тех, кто действительно решает и управляет партией, государством, экономикой. Часто это совпадает; правители обычно материально-привилегированы. Иногда этого совпадения нет. Крупный ученый, музыкант, даже хозяйственник могут полу-

чать огромные оклады и никаким правом решения и управления не обладать. Приходится также согласиться с тем, что, как и любой другой, советский правящий класс не является ни статическим, ни единым. Нет никакого сомнения, что по сравнению с тем, чем он был при Сталине и даже Хрущеве, правящий класс теперешней России во многом изменился. Увеличившийся численно и расширившийся социально, он теперь несомненно включает не только партийно-государственную, военную и полицейскую верхушку, но и многочисленных хозяйственных и технических администраторов, и настоящих специалистов, ученых и прочих «номенклатурных работников». Несомненно также и то, что после прекращения террора и чисток сталинского стиля, правящий класс становится более уверенным и в сегодняшнем и в завтрашнем дне.

Несколько слов о противоречивых интересах и конфликтах между разными группами правящего класса. Таковые несомненно имели и имеют место, особенно между партийно-идеологической и государственно-хозяйственной бюрократией. Очень возможно, что существуют также трения с некоторыми учеными и военными руководителями, хотя доказательств и даже намеков на это в советской печати за последние два года не было. Не следует, однако, преувеличивать значение этих конфликтов, ибо они не доходят до точки кипения. Со времени смещения Хрущева не было ни одного крупного удаления на «высшем уровне», т. е. на уровне политбюро и, если не ошибаюсь, даже ЦК. Предсказания об острой борьбе в недрах правящего класса и о ее возможных роковых последствиях для режима не сбываются, хотя сведения об этой борьбе были почерпнуты из безупречных советских источников, а предположения основывались, казалось, на безошибочных аналогиях и социологических законах.

Страной, пытавшейся построить бесклассовое общество, правит новый класс; сама попытка построения бесклассового общества, скосившая миллионы людей, оказалась только трагическим недоразумением. При этом обнаружилось, что новый правящий класс отнюдь не лучше уничтоженных старых классов. Не отличаясь жертвенностью, новый класс выделяется, согласно Джиласу (который сам принадлежал к этому классу), жадностью к материальным благам, невежеством нувориша, очень часто некомпетентностью в работе — короче говоря, чертами, которые превращают его в класс более паразитарный,

чем класс капиталистический. При всей его неприглядности, последний был классом созидającym и не только в областях материальных, но и духовных и культурных (так говорит Маркс). Джилас не клеветает на «новый класс». Похоже на то, что Дроздов, герой романа Дудинцева «Не хлебом единым», наделенный всеми вышеупомянутыми характерными чертами, является прототипом этого нового класса, что, надо думать, и вызвало гнев власти против автора. Новый класс узнал себя в этом зеркале.

При оценке этого явления — смены одного правящего класса другим — уместно, как рекомендовал Троцкий, руководиться правилом Спинозы: не плакать, не смеяться, а понимать. Действительно, новое советское общество с его новым классом явилось такой же «объективной неизбежностью», как узурпация власти партаппаратом и единоличная диктатура и культ личности Сталина. В наши дни когда позволительно сомневаться в жизнеспособности бесклассового общества в любой, даже очень развитой стране, едва ли нужно подчеркивать, что самая попытка построить социализм в отсталой России — была затеей заранее обреченной на провал. Странно поэтому, что бывший меньшевик Троцкий, который эту азбучную истину знал задолго до революции и который ознакомил своих читателей с вышеупомянутым советом философа, сам этому совету однако не последовал. В своих многочисленных памфлетах против Сталина, он очень «много плакал», но многого не хотел или не мог понять. Троцкий был лишен одного очень важного качества, а именно, мужества сознаваться в своих ошибках. Убедительно и правдиво характеризуя советское общество и новый правящий класс, Троцкий нигде, однако, не признает, что первопричиной сталинского развития революции и всего этого «трагического недоразумения» была роковая идея перманентной революции, которая постулировала захват власти русским «пролетариатом» для совершения в России «социалистической» революции. Вопреки тому, что пишут официальные историки, Троцкий был прав, утверждая, что в этом коренном вопросе Ленин во время войны и после Февральской революции приблизился к нему, Троцкому, а не наоборот.

Неумение следовать совету Спинозы поставило Троцкого в весьма непоследовательное положение. В случившемся он винил не свои и Ленина теории и планы, оказавшиеся утопическими, а субъективные «бандитские» черты Сталина, мало-

душие и усталость западного пролетариата и его «предательских» социал-демократических вождей.

«Авантюра в мировом масштабе» совершилась и, вопреки многим предсказаниям, удержалась и готовится к празднованию своего пятидесятилетнего юбилея. Прошлые метаморфозы революции стали теперь — уделом истории. В процессе своего развития, советская Россия стала в военном и промышленном отношении одной из двух крупнейших мировых держав. Недавний призыв президента Джонсона к России совместно перестроить мир, отнюдь не является риторическим приемом. В создавшемся положении, Россия действительно для такой перестройки необходима. Вопросы, которые имел в виду Джонсон, не исчерпываются соревнованием в космосе или в производстве молока и мяса «на душу населения». Речь идет о предотвращении войны, о разрешении проблем (пользуясь выражением Тойнби) «внешнего пролетариата», т. е. тех отсталых народов, которые, несмотря на обретенную ими национальную независимость, продолжают пребывать в нищете.

Китай призывает разрешить эти проблемы путем революций и «справедливых» войн. Запад и Россия могли бы, при наличии доброй воли, и при использовании имеющихся у них ресурсов, помочь разрешить эти проблемы мирным путем.

Именно в свете этой грандиозной задачи и обнаруживается то огромное несоответствие между нуждами и возможностями, с одной стороны, и устарелой бесплодной доктриной, — с другой. Именно эта отжившая доктрина все больше становится помехой для страны и внутри и во вне. Преодоление этого несоответствия может осуществиться только на пути изживания ложной доктрины.

Д. Анин

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

В. А. АЛЕКСАНДРОВА

1 октября с. г. в госпитале Св. Луки в Нью Йорке скончалась от сердечной болезни Вера Александровна Шварц. Читатели больше знали ее по ее псевдониму — Вера Александрова. Кончина В. А. тяжелая потеря для русской зарубежной литературы и для «Нового Журнала». В течение почти 40 лет В. А. писала литературные обзоры советской литературы и эту трудную и неблагодарную работу, я думаю, никто за рубежом не выполнял так тщательно, и добросовестно, как это делала В. А. В. А. была постоянным литературным обозревателем в «Социалистическом Вестнике» и в «Новом Русском Слове». И в «Новом Журнале» В. А. поместила ряд интересных литературных статей.

Родилась В. А. в 1895 г. в Ковно, где ее отец, офицер, служил в 1-м крепостном полку. В 1917 году отец ее вышел в отставку в чине генерала. Девичья фамилия В. А. — Мордвинова. Мать В. А. была русская немка Агнесса Францевна Урбан и происходила из помещицкой семьи. В 1913 г. В. А. окончила гимназию в Ковно с золотой медалью и поступила сначала на Высшие Женские Курсы в Одессе на историко-филологический факультет, а потом перешла на Высшие Женские Курсы Герье в Москве, где изучала славянскую филологию и литературу. В эти ранние годы В. А. была настроена религиозно и национально и была связана с религиозно-философскими кругами. В частности, будучи студенткой, она переписывалась с В. В. Розановым и знала о. П. Флоренского.

Работа В. А. в печати началась в 1915 г. в «Коммерческом Телеграфе», где она вела обзоры провинциальной жизни. После этого, уже перед революцией, В. А. работала в газете П. П. Рябушинского «Утро России», главным редактором которой был С. С. Раецкий. Но основная работа В. А. в то время была в «Известиях Московского Областного Военно-Промышленного Комитета». Здесь В. А. впервые встретила со многими социа-

листами, сотрудниками Военно-Промышленного Комитета, и во взглядах В. А. начался постепенный уход — к социализму.

По собственному признанию В. А., в революцию 1917 г. самой близкой ей газетой была «Новая Жизнь» М. Горького, в которой особенно созвучны ей были статьи Базарова и Рафаила Григорьева. После октябрьской революции В. А. начала работать в «Союзе Больничных Касс». Здесь, как пишет В. А. в своих воспоминаниях, — рабочие-меньшевики с которыми ей пришлось и часто встречаться и вместе работать «окончательно привлекли к себе мое сердце». В 1919 г. В. А. вышла замуж за известного меньшевика С. М. Шварца. В 1921 г. В. А. вступила в партию социал-демократов-меньшевиков, чему оставалась верна всю свою жизнь. В 1922 г. В. А. вместе с своим мужем С. М. Шварцем была выслана за границу.

В 1927 г. в Берлине В. А. начала сотрудничать в «Соц. Вестнике», где писала не только литературные обзоры, но и политические статьи (главным образом на тему о крестьянстве). Кроме сотрудничества в «С. В.», живя в Германии, В. А. писала изредка и в немецкой социалистической печати. А когда перед второй мировой войной заграничная делегация меньшевиков переехала в Нью Йорк, В. А. кроме русской печати стала сотрудничать в английской («Нью Лидер», «Проблем оф Коммунизм» и др.). С 1952 по 1956 год В. А. была главным редактором Издательства Имени Чехова в Нью Йорке. В 1963 году в известном американском изд-ве Доблдэй, в переводе М. Гинзбург, вышла по-английски книга В. А. о советской литературе «История советской литературы, 1917-64. От Горького до Солженицына». Книга эта имела успех и понадобилось второе издание «в мягком переплете». Сейчас готовится издание большой книги В. А. на русском языке, под заглавием «Литература и Жизнь. Очерки советского развития», куда войдут избранные статьи В. А.

За годы жизни в Нью Йорке, кроме литературной работы, В. А. отдавала много времени общественной работе и в частности Литературному Фонду, стараясь через эту организацию помочь всякому русскому интеллигенту, попавшему в беду. Все кто знали В. А. сохраняют о ней теплое воспоминание, как о необыкновенно добром, отзывчивом и хорошем человеке.

Роман Гуль

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИХ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

Эксплуатация в советских словарях определяется как «безвозмездное присвоение собственниками средств производства продуктов прибавочного, а иногда и части необходимого, труда непосредственных производителей».¹ По Конституции Советского Союза монопольным собственником средств производства является государство. Точнее сказать: правительство, осуществляющее в стране монопартийную диктатуру.

Есть ли в СССР эксплуатация, т. е. «безвозмездное присвоение продуктов труда непосредственных производителей»?

Рассмотрим, как обстоит дело в секторе государственной промышленности. Вся советская печать, от газет до энциклопедий, пропагандирует тезис о том, что «при социализме с ликвидацией частной собственности на средства производства и установлением общественной собственности на них происходит ликвидация эксплуатации человека человеком».² Но если в Советском Союзе «устранена всякая эксплуатация человека человеком», то может быть там она заменена эксплуатацией человека коллективным собственником фабрик и заводов — правительством, правящей партией?

На этот вопрос коммунистические теоретики, прежде всего экономисты и юристы, отвечают, что в советском социалистическом государстве устранена вообще всякая эксплуатация. Главный советский журнал по вопросам права утверждает: — в СССР «...никто не вправе присваивать результаты чужого труда», там «...покончено с любыми формами эксплуатации».³

¹ Е. Борисов, В. Жамин, М. Макарова (редакция) — Политэкономический словарь, стр. 300. Издательство политической литературы, Москва, 1964 г.

² Там же, стр. 301.

³ Журнал «Советское государство и право», № 11 за 1957 г., стр. 24.

Но мы знаем, что Ленин постоянно предупреждал своих последователей: «Кто верит на слово, тот безнадежный идиот». Памятуя это, мы не будем «верить на слово» коммунистическим теоретикам и проверим их утверждения.

Советское правительство вплоть до 1965 года засекречивало, скрывало статистические сведения о заработной плате рабочих и служащих. Но в Сообщении Центрального Статистического Управления о выполнении плана развития народного хозяйства за 1965 год были впервые опубликованы эти официальные сведения о заработной плате рабочих и служащих в СССР. *Средняя месячная заработная плата рабочих и служащих в 1965 году равнялась 95 рублям, а «с добавлением выплат и льгот из общественных фондов» (пенсий, медицинского обслуживания, просвещения и т. п.) — 128 рублям.*⁴

Для выяснения наличия и степени эксплуатации необходимо знать какова же стоимость той продукции, которую вырабатывает рабочий для своего хозяина-работодателя, советского правительства? Коммунистическая власть всячески скрывала и до сих пор скрывает сведения по этому вопросу. Но иногда тот или другой автор-специалист проговаривается и сообщает сведения, которые проливают свет на засекреченную область.

Недавно в юридическом журнале была напечатана статья очень осведомленного и авторитетного автора — профессора Харьковского Юридического Института, доктора юридических наук Мирона Иосифовича Бару. Автор статьи, разбирая вопрос о вреде для советского правительства «текучки», т. е. перехода рабочих из одного предприятия в другое, из одного района в другой, — приводит такие любопытные сведения: *«Статистические данные показывают, что из-за текучести рабочей силы ежегодные потери составляют около 100 миллионов человеко-дней, и это составляет утерю промышленной продукции на 3 миллиарда рублей...»*⁵

На основании этих статистических данных можно вычислить, сколько вырабатывается продукции в среднем за «человекодень». Каждый рабочий в Советском Союзе производит промышленной продукции ежедневно в среднем на 30 рублей, или ежемесячно, за 25 рабочих дней, на 750 рублей. А сам совет-

⁴ «СССР в цифрах в 1965 году», статистический сборник ЦСУ, стр. 125, 1966 г.

⁵ Журнал «Советское государство и право», № 9, 1965 г., стр. 42.

ский рабочий за свою работу от хозяина-работодателя, советского правительства, получает в среднем ежемесячно 128 рублей (даже с добавлением выплат и льгот из общественных фондов).

Распределение стоимости новой, произведенной за месяц, продукции в СССР между хозяином-правительством и наемными рабочими происходит в таких пропорциях: *рабочий получает в среднем 128 рублей, или 17 процентов произведенной им продукции, а хозяин средств производства, правительство, получает 622 рубля, или 83 процента произведенной продукции. Следовательно, монополичный хозяин (фабрик и заводов в СССР — правительство — получает из произведенной продукции в пять раз больше, чем рабочие.*

Эту степень эксплуатации можно выразить также и в отрезках рабочего времени, в соотношении необходимого и прибавочного труда. Рабочие на советских предприятиях при семичасовом рабочем дне ежедневно работают один час 12 минут на себя и 5 часов 48 минут — на своего хозяина, правительство. Стало-быть еженедельно рабочие в СССР один день работают на себя и пять дней — на правительство. Такова эксплуатация рабочих в коммунистическом «рабочем государстве», в котором буд-то бы «покончено со всеми формами эксплуатации».

Сравним теперь степень эксплуатации рабочих в Советском Союзе и в государствах некоммунистических. В советской энциклопедии приведены такие статистические сведения о распределении валового дохода между промышленниками-капиталистами и наемными рабочими в Соединенных Штатах Северной Америки: за период от 1929 до 1952 года доля капиталистов (прибыль) в среднем равнялась 53 процентам, а доля рабочих и служащих (заработная плата) — 47 процентам.⁶

В той же энциклопедии и в той же статье приведены также статистические данные о распределении валового дохода между промышленниками-капиталистами Германской Федеративной Республики и наемными рабочими и служащими: за период от 1936 до 1956 года доля капиталистов (прибыль) равнялась в среднем 57 процентам валового дохода, а доля наемных рабочих и служащих (заработная плата) в среднем равнялась 43 процентам.⁷

⁶ Малая Советская Энциклопедия, третье издание, том 2, стр. 661, Москва.

⁷ Там же, стр. 661.

Таким образом, эти статистические данные позволяют установить, что *доля рабочих и служащих (заработная плата) в валовом доходе промышленных предприятий в Советском Союзе — 17 процентов — почти в три раза меньше, чем доля рабочих и служащих (заработная плата) в некоммунистических государствах (43-47 процентов).*

Или, другими словами, степень эксплуатации рабочих в советском, коммунистическом государстве почти в три раза выше, чем в некоммунистических государствах, в странах «капиталистического рабства».

Советская печать шельмует частных предпринимателей-капиталистов только бранными кличками: «эксплуататоры», «грабители», «капиталистические акулы». Но умалчивает о том, о чем свидетельствуют факты, статистические сведения и сравнения. Оказывается, «коммунистические акулы» по своей прожорливости далеко превосходят «акул капиталистических».

Т. К. Чугунов

ВСТРЕЧА С Б. САВИНКОВЫМ

В конце 1904 года я возвращался в Россию из Женевы и ехал в Екатеринбург. В ожидании утреннего поезда я должен был остановиться на ночь в Киеве у моих друзей. Вместо одного гостя с фальшивым паспортом, в их квартире нас оказалось двое: вторым был скоро получивший большую известность Б. Савинков. Позднее я узнал, что он подготовлял в это время покушение на дядю царя — великого князя Сергея Александровича. Сопоставляя обоих главарей Боевой террористической организации, могу сказать, что насколько желтомордый провокатор Азеф (которого я один раз видел у Чернова в Женеве) был отвратителен, настолько был очарователен Савинков.

— Слушайте, обратился Савинков ко мне, наши хозяева мне поведали, что вы социал-демократ, а я, позвольте представиться, социалист-революционер. Обычно — когда эти две политические породы сойдутся, они изображают кошку с собакой.

Эти страницы о встрече Н. В. Вольского (Валентинова) с Б. Савинковым не вошли в его известную книгу «Встречи с Лениным». Они печатаются впервые. Мы получили их из архива Д. Н. Шуба.
РЕД.

Уверяю вас, это лишнее. Мы два путника, случайно попавшие вместе в одну лодку. Вылезем утром из нашей лодки на берег и больше никогда не увидимся. Зачем же нам спорить и ссориться? Давайте без диспутов говорить о чем-нибудь приятном и прекрасном. Так и ночь пройдет. Раздеваться и забираться под пуховик нам не гоже. Наши хозяева подозревают, что вы вели за собою шпиона. Я совсем не уверен, что тоже не вожу кого-нибудь за собою. Самым честным способом предупреждаю, что если здесь появится полиция, то будет баталня.

Вынув из кармана заряженный револьвер Савинков положил его около себя. Ночь мы провели, право, чудесно. Ни мы, ни наши хозяева ни на минутку не заснули. Кипящий самовар не сходил со стола. Говорили о стихах Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Майкова, Апухтина, Фета. Полонского. Открывали их сочинения (благо, они нашлись у наших хозяев) и выбирали, что каждому из нас в них нравится. Савинков знал наизусть множество стихов, их читал превосходно с благородной простотой, без той неприятной манерности и невыносимой театральности, с которой почему-то принято произносить стихи. Часа в 4 утра Савинков признался, что любит не только Майкова и Апухтина, но страшно сказать: — Надсона, чахоточного поэта, стихами которого, в первой половине 90 годов увлекались все сантиментальные, провинциальные девицы и, в том числе, в Моршанске мои сестры. И Савинков стал цитировать Надсона:

Только утро любви хорошо,
Хороши только первые, робкие речи,
Тренет девственно-чистой души
Недомолвки и первые встречи...

Через две недели этот очаровавший наших хозяев и меня, террорист, с тонкими, как у девушки руками, нежно читавший об «утре любви» и «первых встречах» влюбленных, будет сидеть в кафе на Тверской улице в Москве, ожидая убийства великого князя Сергея Александровича, вскоре разорванного на клочки бомбой, брошенной Каляевым, товарищем Савинкова.

Несколько лет спустя Савинков, под псевдонимом Рошнина, привлек к себе внимание романизированной документацией о психологии революционного подполья («Конь бледный» и «То чего не было»). Не отличаясь какими-либо большими литературными достоинствами, его вещи крайне интересны тем, что зафиксировали психологию двух основных типов революционеров. Они не выдуманы, а *взяты из жизни*, он писал портреты с

себя и своих товарищей и известно с каких. Наномнить о портретах Савинкова представляется не лишним потому, что его оба типа *присутствуют в мировом революционном движении*, варьируясь в зависимости от условий жизни и характера национальной среды и выражаясь то менее определенно, то более выпукло. Первый тип — образуют исповедующие, что цель, победа революции, оправдывает и узаконяет все ведущие к ней средства. С этой точки зрения: *«все позволено»*. Другой тип, отдаваясь всецело революции, в глубине своего морального сознания отталкивается от принципа *«все позволено»*, но, замечу от себя, *никогда* не обнаруживает последовательно свое отрицание этого принципа.

Принадлежащий к первому типу один из персонажей Савинкова говорит:

«У нас революция. Не будет, а есть. Не готовиться надо, а делать. Побеждают не книжкой, а кулаком. Не тем, что нюнят, Лазаря поют, а бомбами, пулеметами, кровью. Хотят революцию в белых перчатках сделать? Не понимают того, что кровь всегда кровь, как там ее не размазывать... Все дозволено! Все! Во имя народа нет колебаний, нет беззаконий».

Другой персонаж Савинкова (известно с кого он писал этот портрет) в отношении принципа *«все дозволено»* занимает уже крайнюю и странную позицию. Стремясь к цели он, конечно, не испугался бы применения и газовых печей в стиле Дахау и Бухенвальда и всяких других средств унижения, раздавливания и уничтожения человека:

«Есть, говорил он, две расы людей. Раса эксплуататоров и раса эксплуатируемых. Эксплуататоры наследственно злы, хищны и жадны. Сожительство с ними немислимо. Их надо истребить. Всех до единого, до последнего. Если их миллион, надо истребить миллион. Если их сто миллионов, надо истребить сто миллионов. Стесняться нечего. *Мы победим мир*. Большое несчастье, что люди не умеют *освободиться от предрассудков*. Сказки, что нужно думать о каких-то законах. Для успешности революции нужно дерзать на все. *Без исключения на все*».

Убежденный, что для пользы революции нужно «на все дерзать», и, как бы приоткрывая неностигнутую тайну Азефа, сей революционер считал, что в случае надобности можно и в охранку поступить.

«Работать в терроре и сотрудничать одновременно в охране. Знать всё, что делается по обе стороны баррикады. Знать,

что от тебя зависит судьба революции, судьба России».

Иная позиция у «совестливых» революционеров. Мы знаем, что такова была позиция самого Савинкова. О подобном типе один советский беллетрист с презрением писал, как о «страдающем женской болезнью».

«Нас расстреливают, вешают, душат. Мы вешаем, душим, жжем. Но почему если я убью Слезкина (жандармского полковника), — я герой, а если он повесит меня, — он мерзавец и негодяй. Ведь это готтентотство! Одно из двух: либо убить нельзя и тогда ни он, ни я, не герои и не мерзавцы, а просто люди, враги... Мы боремся за свободу, за справедливость, за правду. И лжем на каждом шагу. Во имя революции дозволена ложь? Обман? Во имя партии дозволён обман? Я теперь вижу, что не так это просто. Что же или цель, в самом деле, оправдывает все средства или в самом деле позволено все? Но ведь это заблуждение. Да, нужно лгать, обманывать, убивать, но не надо говорить, что это позволено, что это оправдано, что это хорошо, не нужно думать, что ложью приносишь жертву, убийством душу спасаешь. Нет, надо иметь смелость сказать: это дурно, жестоко, страшно, но неизбежно...»

Вкладывая эту тираду в уста Андрея Болотина, приговоренного к повешению, Савинков делает следующее заключение из своих мучительных переживаний:

«Я убил и меня убьют. Все правы и все виноваты. Нет правых и виноватых. Есть два смертельных, тысячелетних врага и никто на земле не судья над ними. Не дано знать».

Проблема, которой, перенеся ее в революционное подполье и значительно сжимая ее гигантский масштаб, касался Савинков — была тогда по преимуществу русской проблемой. Ее ставил Лев Толстой: не убий, не сопротивляйся злу насилем. Ее обсуждал Достоевский в «Преступлении и Наказании» и в «Братьях Карамазовых», спрашивая морально ли строить «мировую гармонию» на «слезинке» замученного невинного ребенка. В поисках разрешения этой проблемы профессор-экономист С. Н. Булгаков принял сан священника. Трагую ту же проблему, М. Горький пришел к выводу, что «нужно уничтожить того, кто мешает *ходу жизни*» и «*ненавидеть человека*, чтобы скорее наступило время, когда можно будет только *любоваться людьми*».

В эту громадную моральную дискуссию вступил в 1908 г.

и Г. В. Плеханов. Оставляя в тени вопрос, оправдывает ли цель средства, Плеханов возражал Савинкову, главным образом, на указание, что по эту и по другую сторону баррикады все преступают моральные законы и с этой точки зрения нет «героев» и нет «мерзавцев», а «все правы и все виноваты».

«Каждый искренний борец за свои убеждения, возражал Плеханов, прав по своему. С этой стороны он несколько не уступает своему противнику, если тот отличается такою же как он искренностью. Но одинаково с ним правый по своему, т. е. с точки зрения тех нравственных и правовых убеждений, в которых он воспитался, он может далеко уступить ему в правоте или превосходить его в ней с точки зрения общего хода культурного развития человечества. «Божественное право» защиты данного общественного порядка гораздо ниже «божественного права» его устранения всюду, где порядок этот отжил свое время и задерживая общество в его поступательном движении является для него источником многих и разнообразных бедствий».

В 1917 г. в эпоху Временного Правительства Керенского Савинков занимал пост заведующего военным министерством. Он был крайним противником ведомой Лениным революции. Одно время в некоторых кругах в нем видели фигуру, способную стать центром притяжения и организации активных сил, выступавших против Ленина. Конспиратор и террорист в последние годы царского режима, Савинков делается конспиратором и организатором восстаний против советского режима, который он ненавидит с такой же силою, как и режим самодержавия. Это он организует восстание в Ярославле. Заграницей, через Польшу, он входит в сношения с давно уже за ним следившими агентами Чeka, игравшими роль его сторонников, «подпольщиков». Но перейдя границу — арестованный чекистами — Савинков отдается в руки советского правительства. Его перевозят в тюрьму в Москве. Что через два месяца там произошло — неизвестно. Был слух, что вызванный на допрос, он оттолкнул сопровождавших его тюремщиков и разбился на смерть, бросившись с третьего этажа.

«Он принес покаяние пролетариату в своих грехах и преступлениях и покончил с собою».

Так объясняет происшедшее, коммунист Невский в предисловии к переизданному в 1927 г. советским издательством роману Савинкова «То, чего не было».

Н. Валентинов

НАЙДЕННОЕ ПИСЬМО П. И. ЧАЙКОВСКОГО

Года два тому назад моя приятельница как-то обмолвилась, что у ее старинной знакомой, вдовы когда-то довольно известного скрипача Эмилио Коломбо хранятся письма Чайковского. Я решила сделать все возможное, чтобы их раздобыть. Переписка с Италией, где проживает престарелая синьора Коломбо, длилась долго и по началу довольно безрезультатно. Два раза я побывала в Италии за это время, но встретиться с синьорой Коломбо мне не удалось, несмотря на все старания. И вот, наконец, я получила это «эпистолярное наследство»: письма нашего прославленного композитора к ее мужу, — тогда 18-летнему юноше. Это наследство состоит из трех документов, писанных собственноручно Петром Ильичем и заверенных впоследствии его братом.

Но сначала небольшое отступление. Мой покойный муж, Николай Николаевич Евреинов, кончил училище Правоведения (62-й выпуск), которое за сорок слишком лет до него окончил и Петр Ильич Чайковский (20-й выпуск). Но как это ни удивительно, у мужа и у Чайковского-правоведа был один и тот же учитель музыки (если не ошибаюсь, Бекер). Частенько муж, вспоминая Училище Правоведения, говаривал: «Просто диву даешься, как этот наш учитель музыки не убил в нас окончательно любовь к ней! Ты подумай только, играя какую-нибудь вдохновенную музыкальную вещь, вроде скажем мазурки Шопена, он заставлял нас разговаривать с ним о самых банальных вещах, прибавляя: «Вы будете вращаться в высшем обществе — дамы могут спросить вас о чем-нибудь во время вашей игры. Вот и надо привыкнуть отвечать даже играя...» Но такому «светскому воспитателю» не удалось убить любовь к музыке ни у мужа, поступившего после окончания Училища Правоведения в Петербургскую Консерваторию по классу Римского-Корсакова, ни, конечно, у Чайковского...

Итак, как я уже сказала, адресат писем П. И. Чайковского — молодой скрипач итальянец Эмилио Коломбо, игравший в маленьком оркестре своего отца, ездившем по всей Европе. По сведениям, сообщенным мне синьорой Коломбо, Чайковский познакомился с ним, когда юному скрипачу было едва 17 лет. Это случилось по ее словам в Берлине. Эмилио родился в Маджента в Италии в 1874 году, а встреча с Чайковским произошла или в 1890 или годом ранее. Чайковский сразу же настолько увлекся игрой юного скрипача, что настоял перед его отцом, чтоб тот

отдал мальчика серьезно учиться. И действительно отец Коломбо послал Эмилио в Брюссель к знаменитому скрипачу Исая. На экзамене в конце учебного года Эмилио играл знаменитый скрипичный концерт Паганини и получил первую награду.

Первым, хронологически, документом, писанным рукою самого композитора является высоко хвалебная рекомендация в Москву, с просьбой чтоб оркестр отца Коломбо пригласили туда на гастроль. Вот текст этого рекомендательного письма: —

«Сим свидетельствую, что труппа г. Коломбо (Colombo), которую я имел удовольствие неоднократно слушать в Зоологическом Саду в Петербурге, заслуживает величайшего внимания и способна в высшей степени заинтересовать Московскую публику. Репертуар труппы очень богат, а некоторые члены ее, в особенности молодой Эмилий (Emilio), отличаются необычайною талантливостью.

П. Чайковский, 5-го Июля 1 91 г. С.Петербург».

Точный перевод этого письма на немецкий язык сделан уже два года спустя, а именно 8-го декабря 1893 г., и засвидетельствован братом Петра Ильича следующими словами. «Сим свидетельствую, что настоящее письмо действительно писано собственноручно покойным братом моим композитором Петром Ильичом Чайковским.

Тайный Советник Анатолий Чайковский».

Между этими двумя датами — личное письмо Петра Ильича к юному Эмилио, (начало по-итальянски, потом по-французски). Вот его точный текст. (перевод мой, А. К.-Е):

«Казино Лечебного Учреждения (бланк). Виши.

Виши, 1-го июля 1892 года

Дорогой мой друг Эмилио,
сегодня утром получил Ваше письмо, которое доставило мне большое удовольствие. Хотел бы Вам написать по-итальянски, но для меня это трудно и потому продолжаю по-французски. Очень тронут, дорогой мой друг, что Вы помните обо мне и выражаете мне симпатию. Будьте уверены, дорогой Эмилио, что все это вполне взаимно и что я сохранил о Вас самое нежное и приятное воспоминание. Что меня очень огорчает, это то, что у Вас нет возможности работать, чтоб развить Ваш большой музыкальный талант. И я бы хотел, как и Вы сами, чтобы Вы нашли возможность остаться надолго в каком-нибудь большом музыкальном центре и посвятить все Ваше время ученью. Вот уже три недели, что я в Виши с моим племянником Бобом, которого

Вы знаете. Через три дня мы уезжаем в Россию и будем проездом в Вене. Как обидно, что мы будем там как раз после того, как Вы покинете этот город. Утешаюсь мыслью, что я Вас снова увижу этой зимой в Москве. Ваш друг, Саня Лютке мне только что прислал письмо. Он скучает в Петербурге и будет — я надеюсь — рад с Вами повидаться. Засим приветствую Вас, мой дорогой друг, и повторяю снова мою благодарность за Ваше доброе и очаровательное письмо.

(снова по-итальянски) До свиданья в Москве!

П. Чайковский.

Как здоровье? Вы все такой же худой, как были в Петербурге?»

Внизу письма заверка А. Чайковского: «Это письмо действительно написано собственноручно братом моим композитором Петром Чайковским. А. Чайковский».

Синьора Коломбо в дополнение к письмам прислала и карточку своего мужа того периода. Он снят в Копенгагене в 1894 году. Это милый лукаво смотрящий юноша в очень самоуверенно-развязной позе: одна рука в кармане, в другой трость, поднятая так, что подпирает элегантный цилиндр: очевидно мода того времени.

24 октября 1893 года Чайковский умер на 53 году жизни. А Эмилио Коломбо, женившись впоследствии на своей соотечественнице, прожил в России до 1917 года, когда проехав через всю Сибирь, вернулся к себе на родину. Синьора Коломбо до сих пор с нежностью вспоминает о своем многолетнем пребывании в Петербурге и о том, как исключительно гостеприимно принимали их русские. Муж ее Эмилио Коломбо умер в Лондоне в 1937 году, и он, до конца своей жизни с такой же любовью, как и она, вспоминал о России...

Анна Кашина-Евреинова

М. Н. МИХАЙЛОВ

Пятьдесят лет — «юбилей» революции — большой срок и вне всякого сомнения, что коммунисты постараются подкрепить свою юбилейную аргументацию ссылками на длительность своего пребывания у власти, на монолитность бесклассового общества, на единение партии и народных масс.

За последние годы два человека своим бесстрашным обличением коммунизма, как явления порочного и социально реак-

ционного, сильно подорвали убедительность этой советской пропаганды. Высказывания этих людей особенно ценны во время советских юбилейных торжеств.

Милован Джилас, прошедший в течение двадцати лет все стадии коммунистической иерархии — от рядового члена партии до председателя федерального Народного Собрания Югославии, своей книгой «Новый класс» развенчал партийную бюрократию, показав, что именно аппаратчики, став «новым классом», чудовищно эксплуатируют и угнетают народные массы. Бывшие соратники и единомышленники Джиласа поступили с ним так же как поступали со всеми «классовыми врагами» — Джилас изолирован, оплеван, присужден по разным пунктам обвинения к длительному сроку заключения. От смерти его спасли только значительная популярность среди партийцев и связи с западными социалистами.

Через десять лет после процессов Джиласа, внезапно на казалось бы безоблачном югославском горизонте появилась другая смелая фигура молодого интеллигента, который еще раз привлек внимание всего мира к проблеме так наз. «джиласовщины».

Михайло (Михаил Николаевич) Михайлов — сын русских эмигрантов. Несмотря на то, что его отцу было 17 лет, а матери 7, когда они приехали в Югославию, враги Михайлова не раз упоминали в печати о его «белогвардейском» происхождении. М. Михайлов и его родители относятся, повидимому, к той части русской эмиграции в Югославии, которая полностью ассимилировалась и прочно вошла в югославскую жизнь. Отец Михайлова окончил в Югославии высшее образование, во время войны принимал участие в анти-немецкой деятельности и одно время руководил научным институтом. Молодой Михайлов учился в сараевской гимназии и в университетах Белграда и Загреба: отбыл воинскую повинность и затем был избран лектором в университет в Задре, древнем городе на Адриатическом побережье. В жизни молодого литературоведа не было ничего необычного, предвещавшего события его жизни последних двух лет. Мир узнал о Михайлове после появления его очерков под названием «Московское лето 1964».

В 1964 году в рамках программы культурного обмена между Югославией и СССР, Михайло Михайлов провел месяц в Москве. По возвращении в Югославию он начал печатать свои впечатления и путевые заметки. Первая часть появилась в январском номере литературного журнала «Дело». Вторая часть

была напечатана в февральском номере того же журнала, но весь тираж журналов был немедленно конфискован и только несколько экземпляров попало за границу. Третья часть его очерков так и не увидела света. Конфискация журнала «Дело» привлекла внимание к статьям Михайлова. Западные и восточно-европейские литераторы и политические наблюдатели заинтересовались молодым автором. И к тому времени, когда по личному распоряжению Тито, Михайлов был привлечен к уголовной ответственности (март 1965), его имя уже было известно на Западе. Вероятно именно поэтому югославские органы, чутко реагирующие на нажим западного общественного мнения, решили тогда не применять к Михайлову «всю строгость закона». Международный Пенклуб дал тогда понять, что если Михайлов не будет освобожден, то съезд этой международной организации состоится не в Югославии, а в какой-нибудь иной стране. Михайлов был освобожден. Его книга была издана на нескольких языках.

Интересно отметить, что уже тогда, весной 1965 года, т. е. задолго до серии политических статей Михайлова, Тито говорил о появлении новых форм джигасизма (речь на собрании прокуроров в марте 1965 г.).

Я думаю, что «Московское лето» написано лучше и откровеннее чем обычно пишут многие западные туристы-исследователи опасаящиеся испортить отношения с советскими властями. Михайлов хорошо знает классическую и современную русскую литературу и прекрасно владеет русским языком. По этим ли причинам или потому, что заграничный гость прибыл из «братской, социалистической» страны, большинство советских писателей говорили с Михайловым довольно искренно, без шаблонных ответов и пропагандных реляций. Кроме того, то ли преднамеренно, то ли по счастливой случайности, Михайлову удалось встретиться как раз с теми поэтами и писателями, которых в то время на Западе почти не знали. В результате получился ряд исключительно интересных хоть и беглых зарисовок, перемежающихся с общими наблюдениями и выводами автора.

Когда Михайлов пишет о России, вы чувствуете, что пишет не иностранец, а человек любящий русских людей, стремящийся глубже понять русский народ, его страну, его судьбу, ход истории. Но при этой любви к России Михайлов явно не питает никаких симпатий к вождям КПСС. И вероятно именно это неприязненное чувство Михайлова к вершителям судеб СССР вызвало первую

реакцию советского посольства в Белграде и привело к первым столкновениям писателя с властью.

«Дело в том, писал Михайлов редактору белградского еженедельника «НИН», что я в стране, в которой все еще существует система рабства — поскольку крестьян загоняют в колхозы административными мерами». И дальше: «...я чувствую больше уважения к русскому народу, чем к советской власти...»

Такие признания коммунисты не забывают.

После освобождения из тюрьмы Михайлов был уволен из университета. Довольно скудные гонорары зарубежных издателей давали ему возможность как-то существовать. В польском журнале «Культура» (№ 1/2, 1966 г.) описаны очень скромные условия, в которых на окраине города живет Михайлов. Но ни бедность, ни угроза репрессий не заставили его отречься от своих убеждений или, по меньшей мере, воздержаться от публичных выступлений.

В конце 1965 года появляются новые статьи Михайлова чисто политического содержания. И если автор говорит только о возможности и необходимости выпуска одного не-коммунистического печатного органа, то для читателя и по эту и по ту сторону «железного занавеса» совершенно ясно, что дело идет о борьбе за политические права и что борьба предстоит со всей однопартийной и тоталитарной системой коммунистического государства.

В «Улаборате о возможности основания открытого оппозиционного органа в рамках законов С.Ф.Р.Ю.» Михайлов указывает, что менее 10% населения (компартия и все связанные с ней) имеют полный контроль не только над всеми общественными организациями, но и над всей печатью. Основываясь на букве закона и конституции Югославии, Михайлов доказывает, что создание независимого органа печати дело вполне законное, даже если содержание такого журнала будет расходиться с официальными установками партии. Такая тактика — борьба за соблюдение конституции, может показаться очень наивным приемом. Однако Михайлов явно обеспокоен тем, что на Западе не понимают сущности Союза Коммунистов Югославии и считают компартию чуть-ли не демократическим учреждением.

По плану Михайлова, партия поставлена перед неприятной дилеммой: разрешить издание не-коммунистического органа, что может оказаться первым шагом на пути к полному отступлению или раздавить оппозиционную группу и этим показать всему

миру, что у «черного кота» когти спрятаны только до поры до времени.

«Элаборат» показывает что за год Михайлов многое взвесил и многое продумал. Если летом 1964 года он с гордостью говорил советским писателям о той сравнительной свободе, которая была в Югославии и неизменно противопоставлял положение на своей родине полутюремному режиму в СССР, то в «Элаборате» в каждой строчке сквозит горечь и презрение к тем, кто на каждом шагу в Югославии ограничивает эту свободу. Михайлов теперь открыто признает свое расхождение с установившейся в Югославии системой, являющейся, по его мнению, полным извращением социализма.

В 1966 году те же мысли о необходимости свободного (т. е. оппозиционного) печатного органа были высказаны им в статье «Основание независимого демократического журнала». Статья появилась в заграничной печати и с тех пор внимание мировой прессы уже не покидало Михайлова вплоть до его ареста.

В мае 1966 года появляется статья «Джилас и сегодняшняя Югославия», в которой Михайлов все свои идеи и чаяния связывает с опальным лидером, рисуя его как единственного человека, пользующегося огромной популярностью в народе.

С несколько восторженным описанием Джиласа можно и не согласиться. Вполне возможно, что молодой (ему сейчас только 55 лет) и пламенный теоретик и революционный вождь может импонируют партийной молодежи. Но трудно себе представить, что на Балканах, где обиды забываются не скоро, Джиласу простятся его жестокие расправы с не-коммунистами в первые месяцы войны. И если ему не суждено умереть в титовской тюрьме, то очень возможно, что за ним до конца жизни будут охотиться братья-черногорцы, мстящие за погибших родственников.

Тем не менее Михайлов считает именно Джиласа наиболее популярной и колоритной личностью, вокруг которой могут объединиться если не все, то многие оппозиционные группировки.

В одной из своих статей о Югославии М. Е. Вейнбаум, редактор «Нового Русского Слова», перечислил ряд преимуществ которыми обладает Джилас по сравнению с Михайловым — громкое прошлое, мировая известность, большой политический опыт. Но дело в том, что Михайлов ни в коей степени и не претендует на место идеолога оппозиции. А кроме того при тщательном разборе, некоторые из мнимых преимуществ могут оказаться даже жерновом, тянущим к катастрофе.

Как бы там ни было, эта ода Джиласу прочно связала Михайлова с течением, которое по его словам, охватывает все более широкие слои народа. Со стороны, т. е. для постороннего наблюдателя, официальное принятие «джиласизма» как идеологического знамени может казаться рискованным шагом, но вполне возможно, что постороннему наблюдателю не известны глубинные течения в современной Югославии.

Летом этого года Михайлов с группой друзей приступил к последним приготовлениям, ведущим к основанию оппозиционного журнала «Свободный Голос». Не покладая рук («работает за десятерых», писал его знакомый) она разсылает обращения, вопросники и статьи. Намечен ряд наиболее интересных тем, подобраны сотрудники и в Югославии и вне ее. Пришлось преодолеть многие технические трудности: организацию самого печатания (в стране, где все типографии находятся под прямым или косвенным контролем Союза Коммунистов), финансирование (только на пожертвования поступающие из Югославии), созыв съезда основателей журнала для выработки устава и оформления, требуемого законом. С огромной энергией и мужеством Михайлов приближался к цели. Но диктатура не дремала.

В июне учащаются вызовы в полицию «на разговор» людей связанных с Михайловым. 6 и 7 июля Тито выступает на съезде ветеранов в Брионах и его речь направлена гл. обр. против оппозиционеров. 11 июля Михайлов публикует свое «Открытое письмо» Тито, в котором еще раз повторяет основные пункты своего мировоззрения — о порочности однопартийности, о необходимости свободной печати, о грозящем повороте назад — к сталинизму. В «Открытом письме» указывается дата предполагаемого съезда учредителей журнала — от 10 до 13 августа. За два дня до съезда оппозиционная группа подвергается разгрому. Михайлова вызывают на допрос, выпускают, арестовывают снова. Арестовываются его друзья и единомышленники в Задре, Загребе и других городах. Нескольким удалось бежать за границу. Группе нанесен тяжелый, быть может даже смертельный удар, но одна из целей Михайлова достигнута: диктатура не решилась допустить даже минимальной политической свободы и, к удивлению некоторых западных журналистов и «экспертов», еще раз показала свои когти.

Незадолго до ареста Михайлов написал статью «Что случилось в Югославии». В ней он высмеивает западных комментаторов, толкующих падение всемогущего Ранковича (начальника

полиции) как сигнал к либерализации режима. Указывая на подобные примеры в истории СССР, когда вина за преступления партии сваливалась на руководителей НКВД-МВД, Михайлов предсказывает дальнейшую централизацию партийного аппарата и, как только будет обеспечена помощь Запада, — политический креп в сторону СССР.

События последних месяцев общезвестны. Суд над Михайловым под улюлюканье подобранной аудитории и нелепые обвинения напоминали инсценировку суда над Синяевским и Даниэлем. Слово обвиняемого проникнуто убеждением в своей правоте и справедливости всех своих требований, предъявленных режиму. Ни сломать ни заугать Михайлова не удалось. Об этом молодом и смелом человеке мы наверное услышим еще, независимо от того будет ли он в тюрьме или на свободе. Идея арестовывать нельзя и в Югославии, где люди высоко ценят гражданское мужество, Михайлов и его друзья очень скоро приобретут ореол выдающихся борцов за свободу и справедливость.

Последние события таковы. В ноябре с. г. Верховный суд Хорватии отклонил апелляцию Михайлова, обжаловавшего постановление суда в Задре, приговорившего его к 10 месяцам тюрьмы за «распространение ложной информации, направленной к созданию чувства недовольства и неудовлетворенности у населения». А недели через две после этого началось новое расследование по делу приговоренного к тюрьме Михайлова. При чем окружная прокуратура приступила теперь к расследованию деятельности не только Михайлова, но и его пяти товарищей. Всем им вменяется в вину «антигосударственная деятельность».

Сергей Зацер

ЗАМЕТКИ

(О влияниях и совпадениях)

Вопрос влияний и совпадений идей, литературных мотивов и сюжетов интересен не только для специалистов, но и для многих читателей. Еще неутомимый Тэйлор указывал на самозарождение сходных сюжетов у разных народов, вследствие сходных жизненных условий и сходной в основе человеческой психики. Теория «Миграции сюжетов», во многом претерпела ряд изменений и уточнений.

Приведу несколько примеров совпадений. Представьте себе, что мы слышим две пословицы: «Кого змеи кусали, тот и ящерицы боится» и «Кого змеи кусали, тот и от червяка вздрагивает». Казалось

бы сходство разительное. Но первая поговорка сербская, а вторая из центральной Африки. С другой стороны есть такие общие черты у древних русских присловий с сербскими, что только диву даешься: «Ложкой кормит, а стеблем (ручкой) глаз колет», это — русская. А вот сербская: «Кусалом га закусе, држком очи вади». «Ложкой его кормит, а ручкой глаза выкалывает». Эти поговорки в обоих языках говорят о тех, кто попрекает куском, унижает того, кому помогает. Общий источник вряд ли византийская литература, хотя, как указал В. Ягич, много поговорок в Сербию попали из переводов с греческого. Другой тип совпадения почти до мелочей «Рассказа ямщика» А. Чехова и кровавого убийства в области Хомолье (Сербия) в двадцатых годах этого столетия. Как и в рассказе Чехова, в горах Хомолья нападают разбойники на телегу, в которой ехал ямщик (служащий) и его 7-летний сын. Отец отдал на всякий случай казенное золото сыну.* Разбойники-хайдукы по пути напали и требуя золото убили отца, а сын ускользнул в лес. Долго он плутал, блуждал по лесу пока не попал в лесную избушку. Там его ласково встретила жена лесника, а на самом деле жена одного из разбойников. Дальше все развивалось точно по Чехову. Разбойница уложила на кровать мальчика рядом со своим сыном. Ночью сын ямщика проснулся и услышал часть разговора. Он тихо стянул тулупчик с сына хозяйки на себя, а своей одеждой покрыл соседа-мальчика. Сам встал, натянул на голову тулупчик и прошел неопознанным во двор, откуда бросился бежать. Ребенок спасся, а разбойников арестовали и погнали в тюрьму. И вот, если бы читая протоколы этого дела в окружном суде города Пожаревца, кто-нибудь написал рассказ по горячим следам этого дела в 1926 г., то всякий мог бы обвинить автора в заимствовании, почти в плагиате, у А. Чехова.

С другой стороны, случается, что сами литературоведы допускают ошибки по небрежности. Др. Прохаска, доцент Кар. оуниверситета в Праге, человек заслуженный, открывший неизвестное письмо Яна Гуса, автор ряда книг и т. д., написал любопытную книгу о Достоевском. Я написал на нее большую рецензию. В ней я обратил внимание на тот факт, что при всем сходстве ряда мотивов в упомянутом Прохаской произведении Ч. Диккенса и Достоевского, это произведение было издано Диккенсом годом-двумя позже, чем произведение Достоевского («Неточка Незванова» и др.) Влияние было невозможным, был лишь факт совпадения некоторых мотивов.

Теперь укажу на одно место в «Мыслях врасплох» Синявского и его возможную связь с Достоевским. В «Сне смешного человека. Фантастический рассказ» (Дн. Пис. 1877 г.) читаем «Сны, как известно, чрезвычайно странная вещь: одно представляется с ужасаю-

* У городка Майдан-Пек были рудники золота. Его отливали в особые формы и посылали в Белград.

ицею ясностью, с ювелирски-мелочною отделкой подробностей, а через другое перескакиваешь, как бы не замечая вовсе, например, через пространство и время... Мой брат, например, умер пять лет назад. Я иногда его вижу во сне: он принимает участие в моих делах, мы очень заинтересованы, а между тем, я ведь вполне, во все продолжение сна, знаю и помню, что брат мой помер и схоронен. Как же я не дивлюсь тому, что он хоть и мертвый, а все-таки тут подле меня и со мной хлопочет? Почему разум мой совершенно допускает все это?..»

А. Синявский говорит очень сходное (я слегка сокращаю): «Иногда (очень редко) умершие снятся во сне совсем по-другому, чем снятся обыкновенные люди. То-есть они говорят и выглядят, как живые, но это не сон о прошлой их жизни с нами, а сон о нашей теперешней встрече с ними, вдруг ожившими и пришедшими к нам повидаться... *Мы несколько не забываем*, что перед нами умершие, но их появление происходит как бы в нарушение смерти...» Не кажется ли, что в этом пассаже о снах А. Синявского как эхо откликнулся сходный по ряду мыслей пассаж из одного из удивительнейших рассказов Достоевского?

Р. П.

БИБЛИОГРАФИЯ

ДВЕ КНИГИ О ДОСТОЕВСКОМ

DONALD FANGER. *Dostoyevsky and Romantic Realism*. Harvard. 1964.
ROBERT L. JACKSON. *Dostoyevsky's Quest for Form*. Yale. 1966.

Недавно на страницах «Нового Журнала» Д. Чижевский, разбирая два труда советских ученых, заметил, что не все еще изучено и разработано в творчестве Достоевского. Этюды американских литературоведов Д. Фангера и Р. Джэксона свидетельствуют о продолжающемся интересе к Достоевскому в США — интерес, который заставил одного критика в Нью-Йорке сказать, что «мы все вышли из-под полы подпольного человека».

Обе отчетные книги ценны и богаты интересными наблюдениями. Авторы в одинаковой мере исследуют, как детали, так и большие «проклятые» вопросы, используя при этом методы точного анализа, но также и не боясь высказывать собственные впечатления. Фангер занимается вопросом реализма у Достоевского, а Джэксон изучает его эстетические направления.

В своей книге Фангер разбирает общие черты творчества Бальзака, Дикенса и Гоголя в связи с Достоевским. Объединяющее начало его метода — это понятие «романтический реализм», т. е. переходный этап от романтизма к реализму. Автор связывает этот исторический момент «романтического реализма» с проблемой большого города. С одной стороны, он ставит себе задачей определить, что такое романтический реализм, а с другой, старается показать, что такое мир или «миф» большого города (например, Петербург в творчестве Достоевского).

На наш взгляд, с первой задачей Фангер справился менее удачно. Впрочем, «определить реализм», говорит известный американский критик Гарри Левин, «также трудно, как ответить на вопрос Пилата». Фангер пытается разобраться в различных понятиях, — «высокий реализм», «чистый реализм», «реализм гротеска», и т. п. Однако, убеждает только его идея реализма, как исторической обстановки — как определенный «момент» в истории литературы 19 в. Реализм родился, говорит он, в буржуазной Франции эпохи Стендаля и Бальзака. Уже в 1826 г. слово «реализм» появляется в парижских журналах. Реализм вышел из романтизма. Он является продолжением и как бы «поправкой» к романтизму. Отметим, что Гарри

Левин, выводами которого пользуется Фангер, определяет реализм, как историческую и «стилистическую поправку», освобождение от условностей и иллюзии романтического течения.

Из этой связи между романтизмом и реализмом Фангер выводит свой промежуточный момент «романтического реализма». Но грани этого понятия весьма расплывчаты. В конце своей книги автор противопоставляет ему «нормативный» реализм или то, что Левин называл бы «банальным» реализмом. Но дело в том, что у Достоевского (как и у Дикенса) романтическое и банальное, фантазия и реальность совмещаются. Можно назвать этот синтез как угодно, но главное — этот синтез показать. И это Фангер делает в своем воспроизведении мифа большого города.

Большой город — это мир уродливый, унылый, и все же волнуемый. Фангер показывает, что Достоевский отнюдь не фотографирует Петербург своего времени. Его Петербург — это творение. Точно то же Фангер говорит и о Лондоне Дикенса. В этом новом, небывалом мире герои реализма живут и страдают. Они тонут, гибнут — но и живут — в атмосфере желтого тумана, «мокрого снега» и многолюдного одиночества. Город — это их фатум с которым они борются, но который их и питает. Здесь их жизнь, их крест, здесь они должны найти себя, воссоздать свой человеческий образ.

В тщательном анализе «Преступления и Наказания», Фангер показывает, как Достоевский развил это видение города, как страшное, вопиющее противоречие. Миф города, созданный Достоевским, представляет собой угнетающую картину. Фангер исследует все передвижения Раскольникова, все его «хождения по мукам» в бесконечных и бесцельных странствованиях по улицам города — Петербурга. Фангер считает, что Достоевский описал город с точки зрения «проблемы»; как могут «мыслящие человеческие существа найти свое достоинство» в нем? Город — это не место позора, а театр жизни и *подвига*. В самом глубоком смысле Достоевский и его герои принимают город, именно «принимают» (говорят: «да будет») также, как они принимают страдания. «В большом городе», пишет нью-йоркский литературовед С. Маркус, «раскрывается мир Евангелия, мир хромых, слепых и увечных». И Раскольников принимает «вавилонское столпотворение» Петербурга, когда он падает ниц, целуя мостовую городской улицы. В таком глубоком и полном любви отношении к «низкой действительности» замечательный критик Э. Ауэрбах видит «христианский реализм», вклад христианства в европейскую литературу. Фангер говорит о других видах реализма, но отмечает и христианские и евангельские элементы мифа большого города.

Проблема религии и идеализма в творчестве Достоевского является темой другого американского автора Р. Джэксона. Он исследует эстетику Достоевского. С помощью материала из писем, статей и романов Достоевского, Джэксон дает образ писателя, как худож-

ника трагически ищущего «гений чистой красоты», т. е. идеал классического совершенства. Но путь этих исканий трагический, ибо Достоевский в своих романах создает совершенно другую красоту: это красота *не* классическая, *не* платоническая, *не* «высокое и прекрасное». Это в своих статьях Достоевский, подобно пушкинскому бедному рыцарю, служит всю жизнь идеалам высшего совершенства. Если судить только по ним можно прийти к заключению, что в лице Достоевского мы имеем дело с весьма прекраснодушным идеалистом, мыслящим в упрощенных, классических категориях («винкельманновских» категориях). Здесь мы находим обожание Пушкина, Моцарта, Рафаэля, Аполлона Бельведерского, Венеры Медицейской...

В творчестве Достоевского эта красота воплощена в образе Алеши и в пейзаже «золотого века». Это красота благовидная по Платону, красота, как совершенство, как вечный покой. Но напрасен этот покой, напрасно это совершенство! Джэксон совершенно справедливо утверждает, что Достоевский раскрыл красоту в уродстве, красоту в унижении — проблематичную красоту. При этом Джэксон развивает мысли интересной книги Л. Крестовской («La Laideur dans l'Art»). Этот новый вид красоты проблематичен, поскольку он может охватить и «Содом» Дмитрия Карамазова и обезображенное тело гольбейновского Христа в доме Рогожиных. По словам Дмитрия Карамазова красота — это поле битвы, где Бог с дьяволом борются.

По Платону все, что красиво, это отображение вечной красоты, «мимолетное видение» высшего Абсолюта, единого Совершенства. Но у Достоевского красивое конкретно, оно *воплощение*. Не отражение действительности, а конкретное творчество, создание из действительности. Такую предельную конкретность можно бы было назвать «христианской», по определению Ауэрбаха или В. В. Вейдле и по словам самого Достоевского. Христианство — гарантия конкретности. Так, Федор Карамазов называет старца Зосиму «сенсуалистом», Мышкин говорит о себе что он материалист, и в каком то смысле они правы.

Показав красоту уродства Достоевский «искупил» его, утвердил ценность материи (городской улицы, мокрого снега). В его романах эстетика включает понятия проблемы, борьбы, двусмысленности и конкретности.

Естественно, что Джэксон подчеркивает *платонизированную* эстетику Достоевского. Такова его тема — «Достоевский в поисках формы». Из его книги мы многое узнаем о вкусах писателя, о его преклонении перед «божественными идеалами», о попытках раскрыть божественный образ «человека в человеке», о попытках найти ту красоту, которая преобразует человечество. Достоевский стремится к гармонии. Он пытается убедить обликом старца Зосимы. Но спокойный голос старца не допускает эстетических конфликтов в мире

Достоевского, а фактически — «философская истина — это противоречие, а жизнь — это воздействие противоречивых элементов». Официально, Достоевский провозглашает ортодоксальную, но не православную доктрину невозмутимой чистой красоты, идеал высшего «вдохновения искусства», символизированный для него Пушкиным.

«Частным образом, можно наслаждаться раздирающей душу красотой и поэтичностью обезображенного Христа Гольбейна, как можно наслаждаться красотой в Содоме, но в сфере теории эстетики и религиозных убеждений нужно принципиально всю эту красоту полностью отвергнуть».

Джэксон заключает, что по педагогическим соображениям Достоевский выбрал «высшую красоту», условную и упрощенную эстетику — образ Мадонны — несмотря на то, что не мог отрешиться от более конкретной и сложной эстетики, выраженной в диалектике Мадонны и «Содома».

Герои Достоевского эту диалектику понимают, а сам Достоевский, как показывает Джэксон, вечно тоскует по гармоничным категориям «прекрасного и высокого» платонизма. Все же, когда Достоевский уверяет, что его идеализм более реален, чем обыкновенный реализм, когда он пишет, что он — «реалист в высшем смысле», то подобно подпольному человеку, он разоблачает все условности «классического» идеализма.

В конечном итоге, своеобразный «реализм» Достоевского, о чем пишет Фангер, и усложненный «идеализм», который Джэксон находит в его романах, в какой-то плоскости сходятся. Можно спорить об определениях, но размышления американских критиков безусловно обогащают наше понимание писателя. Каждый по своему показывает, как ответить на проблему, поставленную еще К. Леонтьевым, когда он обвинил Достоевского в создании «уродливых романов... где все дурнолицое, бедное и грубое...» Уродливое — как сам человек, по меткому слову Ортеги и Гассета, — *это задание*.

Колумбийский У-т

А. Небольсин

ЮРИЙ АННЕНКОВ. *Дневник моих встреч*. Цикл трагедий. Т. 2. Международное Литературное Содружество. Вашингтон. 1966.

Международное литературное содружество выпустило второй том воспоминаний Юрия Анненкова — «Дневник моих встреч». Этот том является продолжением той своеобразной галереи словесных портретов, которую автор начал в первом томе. Во второй том входят очерки о В. Мейерхольде, В. Пудовкине, Н. Евреинове, А. Толстом, Б. Пастернаке, А. Бенуа, М. Ларионове и Н. Гончаровой, С.

Маковском, К. Малевиче и В. Татлине, В. Ленине и Л. Троцком. В этой книге Ю. Анненков представлен и как график-иллюстратор собственных словесных портретов. Даны портреты его работы: Н. Альтмана, П. Анненкова, Антонова-Овсеенко, Н. Балиева, Жана Луи Барро, А. Бенуа, Гоголя, Шарля Дюллена, Н. Евреинова, Г. Зиновьева, М. Истмена, Жана Кокто, Ф. Комиссаржевского, Л. Красина, М. Ларионова, Луначарского, Мейерхольда, Пастернака, Н. Петрова, Пудовкина, Пуни, Равеля, А. Раннита, Витторио де Сика, Е. Склянского, Эренбурга, Толстого, Эйзенштейна и др.

Выполненные Анненковым портреты Ленина и Троцкого так же, как и портреты Григория Зиновьева, Склянского, Антонова-Овсеенко одно время красовались и на советских плакатах и на страницах советских периодических изданий. И вот, взгляды в эти портреты теперь, поражаешься тому, что Ленин и Троцкий у Анненкова напоминают живых идолов. В то же самое время политические деятели меньшего калибра показаны Анненковым живыми, но мало примечательными людьми. Все эти портреты написаны с натуры. И сам Ленин и другие представители ленинской гвардии лично позировали Анненкову в их рабочих кабинетах для его зарисовок к портретам.

И во втором томе «Дневника моих встреч» наблюдательный художник сочетается в Анненкове с умным и тонким психологом. Однако есть у него и неубедительные очерки. В целом характеристика Троцкого, например, которую дает Анненков, слишком односторонняя и чрезмерно апологетична. Троцкий вряд ли обладал эдаким рыцарством, каким наделяет его Анненков.

О Мейерхольде существует многочисленная литература. Но та характеристика этого режиссера, которую мы находим в «Дневнике моих встреч», принадлежит по-моему к числу самых лучших. Особенно удачна и интересно документально обоснована история постановки Мейерхольдом «Балаганчика» Александра Блока. «Теперь Мейерхольд 'реабилитирован', — пишет Юрий Анненков, — но, увы, от этих посмертных реабилитаций ни маршалы, ни политические деятели, ни писатели, ни люди театра не воскресают». Большое достоинство обоих томов «Дневника моих встреч» — в том, что в них убедительно показано уничтожение русской культуры бесовщиной большевизма.

Юрий Анненков — художник со смелым, независимым подходом к искусству. Очень хороши его характеристики Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой. В характеристиках Казимира Малевича и Владимира Татлина тоже много яркого и нового. В частности, совершенно правильно, что то, что на Западе сравнительно недавно получило распространение как «оп-арт» (оптическое искусство) и «поп-арт» (популярное искусство), было независимо друг от друга придумано Малевичем и Татлиным примерно лет сорок тому назад.

Жаль что характеристики Малевича и Татлина несколько фрагментарны, в них чувствуется какая-то спешка, незавершенность. Это же относится и к очерку о Всеволоде Пудовкине, наименее удачному из всех.

Очень хорош очерк об А. Толстом. Только напрасно Анненков «напирает» на «графство» Толстого. Давно известно, что графство это было случайное. Сводные братья Алексея Толстого не признавали его «графом Толстым» и настоящая фамилия писателя должна была бы быть — Бистром. Об этом писал и Бунин в своих воспоминаниях.

Чрезвычайно интересны разговоры Анненкова с Лениным в то время, как Ленин ему позировал в своем кабинете. Вообще в этой талантливой книге много ценного материала. И она будет нужна и литературоведу, и историкам революции, и просто широкому кругу читателей. И поэтому особенно жаль, что во втором томе «Дневника моих встреч» довольно много ошибок, неточностей, опечаток. Так, постановку фильма «Аэлита» Анненков приписывает Юрию Желябужскому. Это неверно. Желябужскому ее не доверили. Работу предполагал начать К. Эггерт, но этому воспротивился А. Толстой, не захотевший, чтобы его «гримировали под Леонида Андреева». Тогда постановка перешла в руки Я. Протазанова. Другая неточность иного характера. Перечисляя русских писателей, эмигрировавших из России за границу (Бунин, Зайцев, Шмелев, Мережковский, Гиппиус и др.) Анненков почему то в этот же список включает зарубежных писателей «незамеченного поколения» — Иваск, Раевский, Гингер, Ладинский, Присманова и мн. др., которые покинули Россию совсем молодыми людьми, в России ничего не писали и начали писать только в эмиграции. Кстати, Ладинского звали Антонин, а не Анатолий, как пишет автор. Строка из известного стихотворения Пастернака должна читаться: — «в кашне, ладонью заслонясь», а не «завторясь», как напечатано в книге. Неверно, что Маклаков и Савинков были членами правительства Керенского. Маклаков был послом Временного Правительства в Париже, а Савинков — управляющим министерством при военном министре Керенском. Из досадных опечаток отметим «татизм» вместо «ташизм». Есть и еще кое-какие досадности, но мы обрываем их перечень. В подобного рода работах окончательно избавиться от неточностей и ошибок, а в особенности от независящих от автора опечаток, трудно. В целом же это не уменьшает ценности воспоминаний Ю. П. Анненкова и для современников и для истории. Это нужная, талантливая книга.

Второму тому «Дневника моих встреч» предпосланы две интересные статьи: известного эстонского поэта А. Раннита (по-английски) о рисунках Анненкова и Е. Замятина «О синтетизме», говорящая об Анненкове-художнике.

Вяч. Завалишин

ВЕНИАМИН КАВЕРИН. *«Здравствуй брат. Писать очень трудно...»*

Портреты, письма о литературе, воспоминания. Москва. Советский писатель. 1965.

В современной советской литературе воспоминания приобретают особую ценность: они не только говорят о более живых литературных периодах чем сегодня, но часто и заменяют утерянные материалы. Эта последняя мысль приходит в голову при чтении очерка Вениамина Каверина о Юрии Тынянове, где описывается их встреча в 1937 г. В то время Тынянов был огорчен тем, что не мог найти письма Горького: «Его мучила мысль, что он сжег его нечаянно вместе с другими бумагами, в которых, разумеется, не было ничего преступного, но как это делали многие, почти все, не зная, что может случиться в ближайшую ночь... И он заговорил о невозвратимой гибели архивов, свидетельств истории, собиравшихся десятилетиями, — бесценных коллекций, в которых отразилась вся частная жизнь России... Не только люди, память гибнет, — сказал он».

Книга Каверина как бы посвящена сохранению памяти. Большинство из его очерков (21) относится к первым годам советской литературы. Эти очерки были написаны от 1928 г. до 1965 г. и печатались в свое время в разных журналах и сборниках (только 2 или 3 появляются впервые). Многие из них Каверин написал в 1957 г.: в этом году он тяжело болел, и не мог ни читать, ни писать, ни разговаривать: «мне оставалось только одно», пишет он: «вспоминать».

В первой части книги («Портреты») Каверин записывает свои воспоминания о близких ему писателях, пользуясь их ненапечатанными произведениями и анализируя их творчество. Несомненно некоторые из этих статей очень живы, теплы и интересны («Юрий Тынянов», «Булгаков», «Евгению Шварцу»). Они связаны общей темой: «борьба за право самовыражения в искусстве». С одной стороны, Маяковский шумно боролся за «право на сложность в поэзии, право на своеобразие, отказ от нарочитой простоты, если эта простота не помогает поэту». С другой стороны, Шварц писал сказки, надеясь, что критика их не заметит и о них не заговорит. Тынянов, Булгаков, Заболоцкий, Всеволод Иванов по-своему противодействовали господствующему направлению советской литературы, стараясь выразить свое «новое зрение».

Особенного внимания заслуживает очерк «Маяковский». В нем автор намекает на изменения в литературной атмосфере 20-х годов. Летом 20-го года, пишет он, требование простоты казалось почти смешным, зато несколько лет спустя «с ним нельзя было не считаться». И автор вспоминает вечер у Тихонова: «Спор у Тихонова не мог не задавать Маяковского, потому что за этим требованием уже тогда постепенно вырисовывалась фигура мещанина, любителя тех «кудреватых митреек», против которых впоследствии Маяковский выступил в своей последней поэме. Это была уже та простота, ко-

торая «хуже воровства», как говорит русская пословица, близкая к тому, чтобы вот-вот превратиться в пароль для входа в поэзию. Но Маяковский молчал... Потом я узнал, что в этот день Маяковский встретился с читателями на одном из ленинградских заводов, где его снова — в тысячный раз — упрекнули в ненужной сложности, в неумении или нежелании выразить свои мысли просто, ясно и доступно для всех».

Вторая часть книги («Письма о литературе») касается вопроса о технике письма. Здесь Каверин призывает советских писателей учиться композиции и осуждает те произведения, в которых «материал главенствует над искусством». В анализе русских и западных произведений автор иногда прибегает к неожиданным сопоставлениям: «Хулио Хуренито» он сравнивает с древними русскими жителями, Хемингуэя — с Чеховым, Дикенса — с неудачником-актером. Но во всех статьях о темах советской прозы Каверин пишет вяло и не приходит ни к какому заключению.

Многие очерки в книге отличаются от текстов ранее напечатанных в журналах, но изменения в них не очень часты. Все-таки любопытно, что некоторые очерки из второй части книги появляются в переделанном виде в 6-ом томе «Собрания сочинений», вышедшем почти одновременно с этой книгой. Например, в очерке «Читая Хемингуэя» (в «Здравствуй брат») мы находим такие строки: «Искреннее, трагическое, немногословное искусство Хемингуэя близко русской литературе, потому что оно взрывает пошлую стихию ограниченности и отвечает подлинному лицу жизни». А то же самое место в 6-ом томе «Собрания сочинений» звучит иначе: «О ненаписанных книгах, о ложно прожитой жизни (героев Хемингуэя) подчас приходится думать и нам!» (стр. 597).

Последняя часть книги («Воспоминания») относится к тем людям и событиям, с которыми связана долготелная работа Каверина. Здесь автор рассказывает забавную историю из своей юности «Как я не стал поэтом», воскрешает литературную группу «Серапионовы братья», которые приветствовали друг друга шутливыми словами «Здравствуй брат, писать очень трудно...»; восхваляет роль Горького, как учителя молодых писателей, и говорит о некоторых своих главных произведениях. Самое новое мы находим в очерке «Гости и годовщины», в котором автор рассматривает серапионовские газеты, афиши и фотографии, сохранившиеся в его личном архиве: «Это фотографии весьма известных деятелей русской и мировой культуры и литературы, отдаленно напоминавших членов нашей группы, причём как-то очень забавно напоминавших... Изящный, тонкий, с офицерской выправкой Зощенко был изображен в виде добродушного, почтенного, умильно улыбающегося старичка с седой бородкой, в очках, — кажется, какого-то известного немецкого

химика. Под портретом Гёте, вырезанным, очевидно, как и другие, из старой «Нивы», стояла подпись: «К. Федин».

Воспоминания Каверина, конечно, интересны, но есть в них и некоторые недостатки. В очерках о себе, молодой Каверин всегда представлен слишком простым и наивным. О Серапионах Каверин пишет сердечно, но объяснить их популярность только тем, что это были «десять молодых людей, решивших посвятить свою жизнь новой советской литературе» значит не сказать почти ничего. (К тому же, он мало пишет о Замятине, Пильняке, Шкловском и других писателях, связанных с группой). Наконец, очерки о Горьком не убеждают читателя в том, что «нужно было влияние Горького, чтобы во весь рост [советской литературы] был поставлен вопрос о простоте стиля, о его народности». Вышеупомянутый очерк о Маяковском явно противоречит такому заявлению.

В целом «Здравствуй брат» занимательная, информационная книга. Вместе с мемуарами Федина, Эренбурга, Чуковского и др., она содержит ценные воспоминания о 20-х годах.

Г. Керн

АРХИЕПИСКОП ИОАНН САН-ФРАНСИССКИЙ (ШАХОВСКОЙ).

Листья древа. (Опыт православного духоведения). Нью-Йорк, 1965, стр. 408.

«Листья древа» — собрание трудов архиепископа Иоанна Сан-Францисского и Западно-Американского, написанных им, главным образом, в Европе в тридцатых и в начале сороковых годов. Книга эта, как указано в ее конце, является I томом собрания религиозно-литературных трудов архиепископа Иоанна. Все вошедшие в книгу произведения издавались, причем некоторые из них неоднократно, а также выходили в переводах на английском, немецком, сербском и японском языках.

Для пишущего эти строки наибольший интерес в данной книге представляет ее первый раздел, посвященный философии православного пастырства и занимающий весьма значительную часть книги. Надо сказать, что вопросы, поднятые в ней, их трактовка, постановка и разрешение лишены какого бы то ни было налета формализма и строятся исключительно на чисто духовной основе. Духовность книги является исключительной особенностью не только ее, но и многих других трудов ее автора. И, повидимому, не случайно на первое место в ней выдвигается проблема «злого пастырства», как один из наиболее трудных и жгучих вопросов современного бытия Церкви. Подмена благодатного пастырства безблагодатным жречеством, замена благодатных духовных реальностей Церкви чем-то

внешним, не уходящим в глубины того водоема благодати, каким является подлинное пастырство, такова одна из сложнейших проблем нашей современности. И совершенно прав автор, указывая, что никакой безбожник не может принести Церкви столько вреда, и внести такое опустошение в Церковь, сколько внесет в нее злой, бездуховный иерей. Некоторые признаки такого «злого пастырства» приводятся в книге.

Не менее, если не более внимания уделяет автор и доброму пастырству. Примечательно указание автора на то, что священство может стать настоящей солью земли, если оно не будет замкнутым сословием или кастой. Пастырей Церкви должны давать все социальные слои общества, но пастырь должен быть духовно выше своей паствы.

Владыка Иоанн пишет также о недопустимости обмирщения пастыря в смысле вхождения его в различные светские организации и партии, о его необходимом освобождении от бушующих страстей мира сего, о воздержании и о многом другом.

Речь идет также и о пастырском призвании, призвании подлинном, о котором не могут свидетельствовать никакие дипломы или ученые степени, или иные внешние данные, не говорящие ничего о внутренней подготовке пастыря.

Все эти проблемы автор рассматривает, если так можно выразиться, с точки зрения реальной духовной их значимости, отводя вопросы формального значения на второстепенное место. Признавая несомненную обоснованность такой постановки проблемы, мы, вместе с этим не можем не отметить, что в отдельных своих местах книга архиепископа Иоанна содержит и некоторые спорные положения, а также иногда несколько умаляет роль и значение некоторых, быть может, даже и формальных церковных установлений но совершенно необходимых с точки зрения церковного единства и самодисциплины. Но это замечание отнюдь не изменяет нашего общего суждения о правомерности постановки многих вопросов в книге архиепископа Иоанна, и мы не можем не согласиться с его положением, утверждающим, что цель пастыря — не исполнение правил, но исполнение молитвы.

Не менее интересен и поучителен раздел, посвященный пастырской пневматологии, а также раздел о молитве пастыря и о всем, что связано с ней, о неистинном эзотеризме и о ряде других, не менее интересных вопросов.

Вторая часть книги содержит ряд более ранних трудов автора, как «Белое иночество», «Философия игры», «Апокалипсис мелкого греха», «О перевоплощении» и др.

Архиепископ Иоанн Сан-Францисский известен не только своими богословскими и религиозно-литературными трудами, но и своей многолетней миссионерской деятельностью, обращенной к России по

радио-станции «Голос Америки». Неоднократная реакция на его выступления советской печати свидетельствует о том, что его голос там слышен.

В краткой рецензии невозможно даже бегло разоб-
раться во всяком случае, основные темы и мысли автора. Но нельзя не отметить, что эта книга насыщена глубоким духовным содержанием, и почти каждый, поднятый архиепископом Иоанном вопрос может послужить темой серьезного обсуждения, а иногда и полемики.

Прот. Д. Константинов

НИКОЛАЙ ТУРОВЕРОВ. *Стихи*. Книга пятая. Париж, 1965, стр. 222.

Конечно, можно было бы сравнительно легко «отписаться» более или менее добросовестной рецензией. Прочертить линию развития. Указать влияния и даже «учителей» (ведь сам автор подсказывает: Лермонтов, Гумилев) и т. д. Но вот перечитывая, останавливаясь даже не на циклах, — напр. прекрасная «Гурда» — а на совершенно отдельных *писсах* (как говорилось в старину и как по-старинному выражался Владислав Ходасевич), видишь, что все это было бы «не то».

Стихи Николая Тuroверова уже давно притягивали внимание любителей поэзии, как-то минуя и т. н. «влияния», и «учителей». Притягивали непосредственно, ибо любитель поэзии чувствует и знает, что настоящая поэзия возникает вне официальной терминологии и вне выдуманной табели о рангах. В таких, сравнительно редких, случаях, как отзыв о стихах Туроверова, рецензию хотелось бы оборвать дружеским советом читателю: просто обратиться к источнику, к книге и ее автору.

Но все-таки возникает потребность высказать какие-то мысли, впечатления, догадки. Хотя бы уж потому, что автор книги — эмигрант, («старый»), и непосредственный фон книги, все-таки, — литература эмиграции и современность, в которой поэзия претерпевает тягостные испытания и — почти на глазах — умирает. Стихотворение все более изощряется, технизируется, и поэзия все яснее превращается в «стихи», теряя порыв, признаки творчества, и даже — признаки дыхания (астматическая аритмия «модерна»).

А ведь, что бы ни говорили литературоведы, настоящая поэзия существует, как растение, дерево, камень, река, ветер, цветочная пыль... Вот это-то ощущение дает ключ любви к стихам Туроверова, и к не менее примечательной личности поэта, в его стихах неуко-
снительно присутствующей. Личности, связанной с землей (не

только в размерах эмигрантского цветочного горшка), с «почвой», а не существующей в воздушных более или менее остроумных абстракций.

Талантливая поэзия Туруверова конкретна, *вещна*. Словом своим (крепким и даже «донским») автор владеет так, как, наверное, в военной своей молодости владел шашкой: без промаха.

Приморские деревни
Над камнем и водой.
И веет ветер древний,
А свиду молодой.
Очаг. Мерцает пламень.
Застывшие года.
И допотопный камень,
И вечная вода.

(«Стихи о Бретани»)

К «генеральной линии» русской (бывшей) литературы Туруверов, повидимому, не принадлежит. В эмиграции он, видно, тоже одинок: об этом свидетельствует и его поэтический словарь, почти начисто лишенный инерции донныне обязывающего стихотворцев общепозитического «койне».

И уж если искать «линии» у Туруверова, то, очень приблизительно говоря, это будет м. б. Алексей Толстой (правнук гетмана К. Разумовского) и, может быть, Бунин-поэт. С одной существенной поправкой. Блок когда-то обмолвился, что стихи нельзя писать перед зеркалом. Бунин-поэт (да и Бунин-прозаик) в этом отношении, все-таки, был не без греха. А вот в ясных и прекрасных стихах Туруверова «зеркало» отсутствует начисто.

Сотник

А. В. КОКОРЕВ. *Хрестоматия по русской литературе XVIII века.*

Изд. 4-ое, М., Изд-во «Просвещение», 1965. 848 стр. с илл.

Эта хрестоматия предназначена как учебное пособие для студентов филологических факультетов университетов и литературных факультетов педагогических институтов и написана, как видно из предисловия к первым трем изданиям (1952, 1956, 1961) в соответствии с программой и учебником «История русской литературы XVIII века» Д. Д. Благого.

Кроме текстов художественных произведений, в книгу в ограниченном количестве включены отрывки публицистики и теоретических высказываний писателей XVIII века, а также образцы устной народной поэзии, народной сатиры и книжных бытовых и лирических песен.

Наряду с хрестоматийным материалом в книге даются краткие биографии писателей. В конце книги — два приложения: 1) источники хрестоматийного материала с комментариями текстологического характера и 2) словарь с объяснениями устаревших, иностранных и мифологических слов и имен, упоминаемых в хрестоматии.

Так как многие старые издания давно уже стали уникалами, настоящая хрестоматия является полезным и нужным пособием для студентов при прохождении ими курса истории русской литературы. В ней собран большой материал, расположенный в хронологическом порядке и с учетом жанровых различий.

К сожалению, многие авторы XVIII в. почему-то не включены в хрестоматию, например: Екатерина II, М. Веревкин, В. Левшин, Н. Курганов, М. Комаров, Н. Львов, А. Клушин и др. Не все эти авторы одинаковой значительности, но их включение в хрестоматию было бы желательно уже хотя бы потому, что они все же представляют историко-литературный интерес. Кроме того, все они упоминаются и рассматриваются до некоторой степени Д. Благим в его «Истории русской литературы XVIII века», в соответствии с которой и составлена настоящая хрестоматия.

Хрестоматийные тексты большей частью взяты из прижизненных изданий сочинений авторов, а остальные — из рукописей или из академических изданий. В случае разночтений в прижизненных изданиях одних и тех же произведений, в хрестоматии воспроизводится текст, исправленный или дополненный самим автором. Все это положительная сторона рецензируемой книги. Но имеются в ней и серьезные недостатки.

Самым серьезным недостатком хрестоматии является языковое и орфографическое редактирование текстов, которые, как говорится в предисловии, «по своему написанию приближены к современной орфографии и пунктуации...» При перепечатке внесены коррективы и в фонетическую и в морфологическую системы языка писателей. Во многих случаях допущены искажения написаний отдельных слов и произвольная трактовка текста. Для примера приведем только некоторые наиболее характерные отклонения хрестоматийных текстов от их оригиналов.

Напечатано в оригинале:

Перепечатано в хрестоматии:

Ф. П. «Слова и Рѣчи», I, СПб 1760
аще бо могли быхомъ удивитися
(185)

аще бо могли быхом удивитесь
(52)

коихъ тяжкихъ случаевъ чрезъ се-
бе не препущаетъ? (185)

Коихъ тяжкихъ случаевъ чрезъ себе
не пропускает? (53)

обаче нитакъ изнемогаеть (185)

обаче нитакъ взнемогает (53)

Что бо была Россія, прежде такъ
не долгаго времени? (110)

Что бо была Россія прежде так
недолго времени? (53)

Примеров таких отклонений от текста и даже искажений текста мы могли бы привести множество.

Весь 4-ый отрывок в хрестоматии на стр. 53-54 как будто бы целиком взят из одной «речи» или «слова» Прокоповича, так как употреблены одни только кавычки и ни одного многоточия. В действительности же отрывок взят из двух разных «слов» и при том в сокращенном и произвольно исправленном виде. Часть отрывка, которая начинается словами «Когда слух пройдет...», взята из «Слово въ день страстей Христовыхъ» (Ф. П. «Слова и Рѣчи», III, СПб 1765, стр. 34), а часть, которая начинается словом «Найдет...» — из «Слово похвальное в день Святыя Великомученицы Екатерины» (Ф. П. «Слова и Рѣчи», I, СПб 1760, стр. 221-222).

В исправлениях оригинальных текстов, которые допущены в хрестоматии, нет никакой последовательности. Получается впечатление, что при исправлении не было выработано определенных критериев или принципов языкового и орфографического редактирования. Наиболее заметно это в текстах, взятых из литературных памятников Петровской Эпохи.

Особенно показательны своей непоследовательностью исправления оригинальных написаний с буквой **ѣ**, которая, например, у Прокоповича часто в соответствии с украинским произношением означает (і). Составителя хрестоматии надо похвалить за его смелую попытку восстановить произношение **ѣ** в текстах Прокоповича, но в хрестоматии эта буква передается без всякой мотивировки в одних и тех же корнях или основах то буквой **и**, то буквой **е**, и таким образом приписываются автору такие фонетические особенности, которых у него никогда не было.

Даже в случаях рифмы в хрестоматии не соблюдено никакой последовательности при передаче оригинальной буквы **ѣ**. Например, оригинальные рифмы **не имѣть** — **разумѣть** (Сб. Н. С. Тихонравова «Рус. драм. произв. 1672-1725 годовъ», т. II, СПб 1874, стр. 292. Дальше будут указаны только страницы), **зѣла** — **тѣла** (294), **дѣти** — **совѣти** (324), **владѣет** — **довлѣет** (324) и др. передаются в хрестоматии как **не имест** — **разумиет** (61), **зела** — **тила** (63), **дити** — **совети** (64), **владиет** — **довлеет** (64).

Интересно отметить, что в первом издании хрестоматии (1952) во всех этих примерах **ѣ** передавалось буквой **и**. Следует отметить также непоследовательность или просто ошибки в хрестоматии и в передаче написаний с буквами **ы**, **и** и **і**, которые у Прокоповича в соответствии с украинским произношением означают (у) и потому смешиваются. В большинстве случаев буквы **ы**, **и** сохранены в текстах хрестоматии, а буква **і** передается буквой **и**, но все же часты случаи отклонения от этого. Например, вместо написаний **подзем-**

нихъ (281), **убыша** (282), **Твары** (283), **вашихъ** (286), **слишу** (287) и др. в хрестоматии напечатано **подземных** (55), **убиша** (56), **Твари** (56), **ваших** (58), **слышу** (58) и др.

В то время как произношению Прокоповича уделено все же внимание при редактировании его поэтических текстов, украинизмы в книжных песнях и других памятниках литературы Петровской эпохи остались без внимания составителя книги. Наоборот, составитель счел нужным удалить из последних трех изданий своей хрестоматии заметку, которую находим в первом издании, а именно: «Появление в петровское время украинизмов в языке песен объясняется тем, что при Петре I в Россию наехало много образованных украинцев, которые осели в России» (стр. 30).

Кстати, в каждом из последних трех изданий хрестоматии были сделаны некоторые исправления, изменения или дополнения, но об этом нет никаких заметок в предисловии. Что касается рецензируемого издания, тексты в нем остались те же, что и в первом издании, за исключением 14-ой строфы стихотворения «Победославная песнь на победу Полтавскую», которая исключена из последнего издания, так же как и из второго и из третьего. В хрестоматию издания 1965 г. составитель внес ряд дополнений или исправлений в очерки жизненного и творческого пути таких писателей как Кантемир, Ломоносов, Сумароков, Новиков, Фонвизин, Княжнин, Державин и Радищев.

Резюмируя, можно сказать, что приведенные выше недостатки, количество которых можно было бы значительно увеличить, говорят в основном о необходимости выработки определенных критериев языкового и орфографического редактирования для изданий, подобных настоящей хрестоматии. Но студентам, а на них и рассчитана хрестоматия, гораздо лучше было бы иметь фототипическое издание памятников литературы 18-го века с точным воспроизведением особенностей языка, орфографии, пунктуации и графики того времени, так как на изучение последних можно смотреть как на один из составных элементов в изучении истории литературы.

Сиракузский университет.

Яков Гурский

EDMUND KOSTKA. *Schiller in Russian Literature*. University of Pennsylvania Press, 1965.

Внешне прекрасно оформленная, интересная и содержательная книга профессора Эдмунда Костки, «Шиллер в русской литературе», разделяется на вступление, восемь глав и заключение. Каждая глава снабжена небольшой, но исчерпывающей библиографией; заканчи-

вается книга полным указателем фамилий, заглавий произведений, названий различных литературных, политических и философских течений.

В примечании издательства подчеркивается, что «Эдмунд Костка успешно заполнил пробел в изучении Шиллера, разбирая воздействие Шиллера на русскую литературу — от Станкевича до В. Иванова». Профессор Костка сосредоточил свое внимание на Станкевиче, Лермонтове, Белинском, Бакунине, Герцене, Огареве, Достоевском и В. Иванове. В виду обилия материала доктор Костка ограничился разбором творчества перечисленных писателей, исходя из того, что интерес к Шиллеру таких авторов, как Жуковский, Блок, Горький и др. уже в достаточной мере исследован. Каждая глава книги представляет собой самостоятельный очерк. В восьми очерках проф. Костка подробно анализирует влияние шиллеровской поэзии, драматургии или философии на того или иного русского автора. В книге много цитат из личной переписки писателей, замечаний критиков, мнений литературоведов. Все русские цитаты прекрасно переведены на английский, а немецкие оставлены в оригинале.

Для литературоведа самые интересные главы — о Лермонтове, Белинском, Достоевском и Иванове. Разбирая творчество Лермонтова, доктор Костка систематически прослеживает неоспоримое влияние Шиллера на раннее творчество Лермонтова-драматурга. Путем сопоставления цитат из лермонтовских драматических произведений — «Испанцев», «Странного человека», «Двух братьев», «Маскарада» — и из шиллеровских «Разбойников», «Коварства и любви» и других, доктор Костка убедительно показывает насколько Лермонтов был близок Шиллеру в своих драматических произведениях. В «Герое нашего времени» влияния Шиллера уже нет, ибо «русская история и грандиозный мир Кавказа стали главными источниками вдохновения Лермонтова в последние годы его жизни», говорит Э. Костка.

Увлечательно написана глава о «неистовом Виссарионе». Здесь ясно представлена «кривая» увлечения Белинского Шиллером: обожествление шиллеровского идеализма — полное разочарование в «прекраснодушных» принципах — возврат к боготворению.

Говоря о Достоевском, профессор Костка замечает: — «он [Достоевский] в долгу у Шиллера больше, чем у какого-либо другого русского или западно-европейского писателя. Многие из его произведений, включая последний, может быть самый значительный роман «Братья Карамазовы», были интерпретированы как отражение его упорной борьбы с шиллеровским эстетизмом».

Интересующиеся русскими философскими и социально-политическими идеями XIX века найдут обильную пищу во многих главах книги. «Станкевич-философ», пишет Э. Костка, «отверг эстетизм

Шиллера логически, но Станкевич-романтик принял его поддаваясь эмфатическому влечению». Автор указывает также, что анархические идеи Бакунина исходили не в малой мере из «революционного духа шиллеровских драм течения 'бури и натиска'». Добровольные изгнанники, Герцен и Огарев видели в Шиллере «прогрессивного поэта» и «глашатая прогрессивной Германии».

В IX-ой главе книги Э. Костка дает некий итог результатов своего анализа, и касается также вопроса о подходе к Шиллеру советского литературоведения. Тут Э. Костка очень удачно разграничивает официальную «диалектическую» интерпретацию творчества Шиллера и чувства, которые он пробуждает в русском читателе. Искусной подтасовкой, делая упор на шиллеровское понимание труда, его «страстную любовь к труду», марксистские толкователи исключают из творчества Шиллера Бога, который у этого великого немецкого поэта неотделим от плодотворного труда. В «Песне о колоколе» Шиллер говорит:

Von der Stirne heiss
Rinnen muss der Schweiss,
Soll das Werk den Meister loben;
Doch der Segen kommt von oben.

Доктор Эдмунд Костка, профессор современных языков в Колледже Св. Елизаветы, во время второй мировой войны прошел через кошмар сталинских концентрационных лагерей и хорошо знает советскую действительность. Он верит, что творчество Шиллера может еще «воспламенить сердца молодого поколения».

Книга «Шиллер в русской литературе» должна заинтересовать не только западного, но и русского читателя. Несмотря на то, что эта книга переработана из докторской диссертации, она совершенно лишена сухости, присущей большинству работ такого рода. Автору удалось собрать огромное количество интереснейшего материала, выраженного легким и живым языком.

При желании можно оспаривать некоторые обобщения и выводы автора, выбор им именно этих, а не других русских писателей, а также несколько вводящее в заблуждение заглавие книги, ибо Шиллер в русской литературе представлен в книге далеко не полностью, но в целом это не уменьшает ценности книги профессора Костки.

Оберлин, Огайо.

Сергей Крыжницкий

ТАРСИС И ЭМИГРАЦИЯ. Изд. СБОРН. 1966.

Появление в русской эмиграции, выпущенного КГБ за границу, писателя Тарсиса вызвало в зарубежной печати много откликов. На-

помним, что В. Тарсис прилетел в Лондон 9 февраля 1966 года, а 10-го начался процесс Синявского и Даниэля. В брошюре большого формата — «Тарсис и эмиграция» — даны 22 статьи, письма в редакцию, заметки. Все это — перепечатка откликов русской зарубежной печати на выступления Тарсиса за границей и на его произведения, опубликованные зарубежом. Редакционное вступление говорит, что этот материал выпущен для информации читателей, которые не имеют возможности выписывать все выходящие русские издания. В связи с проявляемым к Тарсису интересом среди русской эмиграции, выпуск такой брошюры оправдан. Большинство статей этой брошюры дают весьма нелестную оценку и произведений Тарсиса и его выступлений. Авторами статей подчеркивается полная неправдоподобность многих заявлений Тарсиса и необъяснимость многих фактов, сопровождавших его необычное прибытие на Запад. Отмечаются: странность интервью Тарсиса данного им в нью-йоркском отеле советским журналистам, которые эту беседу записывали на магнитофонную ленту; появление Тарсиса в Англии вместе с его близким другом, советским коммунистом Виктором Луи, который сопровождал Тарсиса из Москвы в Англию. Много места отводится заявлениям Тарсиса, что в Сов. Союзе вот-вот произойдет революция и ее произведут друзья Тарсиса — 200 человек поэтов-«смогистов», при чем революция эта будет «за Святую Русь против Антихриста». Подобных загадочных заявлений Тарсиса приводится очень много. И они не без основания вызывают у авторов статей о Тарсисе чувство недоверия.

При разборе произведений Тарсиса, опубликованных журналом «Грани», некоторые авторы подчеркивают удивительную безвкусицу автора. «Мне нельзя сфальшивить. Мир мне не простит ни малейшего малодушия», «Когда-нибудь люди сорвут цепи с моих страшных слов и будут ими причащаться, как христиане кровью Спасителя», «Я чувствую себя чем-то вроде Бога. Я вездесущ, все вижу и все знаю» и т. д. и т. п. Естественно, что такая пошлая писанина отталкивает читателя от произведений этого борца за святую Русь. При чем в некоторых статьях, как напр., в статье Б. К. Ганусовского «Осторожно... Тарсис!» (газ. «Русская Жизнь») высказывается даже крайнее мнение, что Тарсис «препарированный агент».

Среди всех этих материалов в брошюре перепечатана и биография Тарсиса, данная им журналу «Грани» и опубликованная еще тогда, когда Тарсис был в Москве (№ 57, 1965 г.). Однако после проверки ее по советским источникам эта биография оказалась во многом фальсифицированной, на что указал в письмах в редакцию «Нов. Рус. Слова» Ю. Сречинский («Тарсис и Грани», 19.X.66 и «Тарсис и его биография», 17.XI.66).

К. Вершинин

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

О ДНЕ АРЕСТА Н. С. ГУМИЛЕВА

Дорогой Роман Борисович,

В связи с интересной рецензией И. В. Одоевцевой на собрание сочинений Н. С. Гумилева, напечатанной в «Новом журнале» кн. 84, позвольте мне привести в ясность ту путаницу, которая произошла в связи с днем ареста Гумилева в различных мемуарах о нем.

Все, бывшие в Петербурге в то время, помнили, что *Гумилев был арестован 3-го числа*. Но может быть он был арестован после полуночи? Тогда это уже будет 4-ое число!

Ходасевич пишет, что он уехал в среду 3-го из Петербурга и что видел Гумилева накануне вечером. Из этого ясно, что последняя возможность (что Гумилев был арестован в ночь со среды на четверг) — ошибочна. В моем письме к Б. А. Филиппову я сделала эту ошибку. Я помнила, что собрание «Звучащей раковины» было перенесено с понедельника на другой день и не сверила дни по календарю. Теперь мне все стало ясно. Вот календарные даты: Понедельник, 1 августа. Собрание «Звучащей раковины» не состоялось. Вторник, 2 августа — состоялось собрание в 4 часа (или около этого). Часть студистов (в том числе и я) осталась с Гумилевым в «Доме Искусств» часов до шести. Часов до десяти мы гуляли с Н. С. Г. по городу (где-то закусывали). Около 10-ти он вероятно вернулся домой. Когда он вернулся, к нему зашел Ходасевич и просидел у него почти до двух часов ночи (т. е. уже 3 августа).

Среда, 3 августа. Видимо, около 3-4-х часов ночи Гумилев был арестован. Ходасевич, пришедший утром (часов в 10?) перед своим отъездом в Псковскую губернию, увидел, что Гумилева нет. Он узнал об аресте от жителей «Дома Искусств». Он уехал из города в то же утро.

Если предположить, что Гумилев был арестован не «под утро», а в «тот же вечер», *то это окажется не 3 число, а 2-ое*. Что касается памяти Ходасевича, то он 1) уже говорил в Петербурге о своем последнем свидании два месяца спустя и 2) писал свои воспоминания в 1926 г. (они были в первый раз напечатаны в газете и только через 12 лет вошли в его книгу «Некрополь»), — т. е. не мог забыть и перепутать событие, которое было тогда совсем недавним. Относительно засады на квартире Н. С. Гумилева я ничего не знаю.

Принстон.

Н. Берберова

ОБ ОДНОЙ БИОГРАФИИ

Многоуважаемый г-н редактор,

Не откажите в любезности поместить на стр. Вашего уважае-

мого журнала нижеследующие строки в связи с выпущенными Архивом Осв. Движ. Нар. России бюллетенями №№ 10, 11 и 14. Эти бюллетени дают некоторые дополнительные сведения о биографии приехавшего из Москвы, с разрешения сов. правительства, писателя В. Тарсиса. Его биография напечатана в № 57 журнала «Грани» (январь 1965 г.) Бюллетень № 10 на основании советских источников сообщает, что писателя Тарсиса зовут не Валерий (как указано в «Гранях»), а Вениамин (см. «Словарь псевдонимов» И. Ф. Масанова, изд. Всесоюзной Книжной Палаты, т. 4, стр. 465). Этот же словарь устанавливает псевдоним Тарсиса в Сов. Союзе — В. Тверской, о чем биография не упоминает. Бюллетень № 11 устанавливает, что сообщенные в биографии в «Гранях» сведения о жене Тарсиса, Розе Яковлевне Алкснис, дочери Якова Алксниса, брата известн. командующего сов. авиацией, — не соответствуют истине. Советская книга К. Меднис «Яков Алкснис. Жизнь в авиации» (Латв. Гос. Изд. 1961, стр. 9) говорит, что у Якова Алксниса был единственный брат Янис, умерший в пятилетнем возрасте. Таким образом сведения сообщенные в биографии в «Гранях» о жене Тарсиса являются неправдой. Далее, в биографии Тарсиса в «Гранях» сказано, что Тарсис в 1924 г. «поступил на историко-филологический факультет у-та в Ростове на Дону, который и окончил в 1929 г.». И это оказывается неправдой. Советская книга «Очерки истории Ростовского Университета» С. Е. Белозерова (изд. 1959 г.) указывает, что в годы 1924-29 историко-филологического факультета в Северо-Кавказском У-те (как назывался У-т в Ростове на Дону) вообще не существовало. Факультет был расформирован в 1921 году и вновь организован только в 1941 г. Бюллетени указывают также на несообразность дат рождения Тарсиса, окончания им университета и выпуска им первых книг. Биография в «Гранях» говорит, что первую книгу «Современные иностранные писатели» Тарсис выпустил в 1930 г. (написал в 1929). Но бюллетени Архива указывают, что в том же году вышла еще одна книга Тарсиса — «Современные русские писатели». Выходит, что будучи еще студентом Тарсис уже выпустил две книги. Эта несообразность ставит под сомнение дату рождения Тарсиса (1906 г.). Было бы желательно, чтобы журнал «Грани» и Тарсис разъяснили, почему уезжая из Москвы за границу он превратился в Валерия, женился на дочери несуществовавшего Якова Алксниса и окончил несуществовавший «историко-филологический» факультет.

С. Лачинов

В КОРПОРАЦИИ «НОВОГО ЖУРНАЛА»

13 ноября состоялось заседание корпорации «Нового Журнала», на котором было оглашено письмо проф. Н. С. Тимашева, в этом письме Н. С. сообщает, что по состоянию своего здоровья он вынужден от-

казаться от звания председателя корпорации Н. Ж. и члена редколлегии. При чем Н. С. остается членом корпорации и постоянным сотрудником и другом Н. Ж. Отказ проф. Н. С. Тимашева был принят с глубоким сожалением. Председателем корпорации избран А. А. Гольденвейзер, секретарем З. О. Юрьева. Р. Б. Гуль утвержден редактором «Нового Журнала», секретарем редакции избрана проф. З. О. Юрьева.

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

- С. САТИНА. *Образование женщины в дореволюционной России*. Нью-Йорк. 1966.
- М. В. ШАТОВ. *Материалы и документы ОДНР в годы 2-ой мировой войны*. (1941-65). Том 2-ой. Всеславянское Издательство. Нью-Йорк. 1966.
- В. ОСОКИН. *Андрей Андреевич Власов*. Всеславянское Издательство. Нью Йорк. 1966.
- Н. ГУМИЛЕВ. *Собрание сочинений*. Под ред. проф. Г. Струве и Б. Филишова. Том третий. Изд. В. Камкина. Вашингтон. Вступ. статья проф. В. М. Сечкарева. 1966.
- СТРАНИИК. *Книга лирики*. Париж, 1966.
- SIMON KARLINSKY. *Marina Cvetaeva. Her Life and Art*. University of California Press. Berkeley. 1966.
- HELMUT KÖLLE. *Farbe, Licht und Klang in der malenden Poesie Derzavins*. Wilhelm Fink Verlag. Muenchen. 1966. Herausgegeben von D. Tschizewskij.
- PETR M. BICILLI. *Anton P. Čechov. Werk und Stil*. Wilhelm Fink Verlag. Muenchen. 1966. Herausgegeben von D. Tschizewskij.
- The New Russian Poets: 1953 to 1966*. An Anthology. Selected, Edited and Translated by GEORGE REAVEY. October House Inc. New York, 1966.
- ARCHBISHOP JOHN SHAHOVSKOY. *The Orthodox Pastor*. Outline of Pastoral Theology. St. Vladimir's Seminary Press. N.Y. 1966.

НОВАЯ КНИГА:

ЕЛЕНА ИШУТИНА

НАРЫМ

ДНЕВНИК ССЫЛЬНОЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ РОМАНА ГУЛЯ

ЦЕНА 2 ДОЛ. 25 Ц.
ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ
В «НОВЫЙ ЖУРНАЛ»

ИЗДАНИЕ «НОВОГО ЖУРНАЛА» Нью Йорк 1965

**PRODUCED BY RAUSEN LANGUAGE DIVISION
150 VARICK STREET. NEW YORK, N. Y. 10013**



“Н О В Ы Й Ж У Р Н А Л”

под редакцией

РОМАНА ГУЛЯ

ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ



В 1967 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ



Подписная цена 9 долл. в год (за 4 книги)

Цена одной книги — 2 долл. 50 цент.

Во Франции — 8 франков.



ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

The New Review, 2700 Broadway

New York, N. Y. 10025

Телефон редакции и конторы: МО 6-1692.

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме
праздников и суббот, от 5-ти до 6-ти час. дня.
